

А. Синявский



ОСНОВЫ
СОВЕТСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ

НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ, БДИТЕЛЬНОСТЬ И ЗОРКОСТЬ

Речь тов. Павле Яшвили

37

Это те фамилии, которые прокли-
нают во всех уголках Грузии, на ка-
ждом перекрестке, в каждом доме
и од-
нору-
бада т. Ве-
лодежь от
к. Каждого
общаешься,
проверить
к каждому
Если вор-
обращен к
которым он об-
будет разга-
писателя —
бдительным и
великая пар-

Не случайно, что т. Ставский начал свой доклад при-
зывом к большевистской бдительности. К тем престу-
плениям, которые вскрывались на процессе агентов
фашизма, террористов и вредителей, при-
соединяется еще гнусная деятельность тех врагов гру-
зинского народа и всех народов СССР, чья причаст-
ность к троцкизму, к блоку Зиновьева и Каменева, к
блоку Пятакова и других была выявлена процессом.
Фамилии их нам известны — это Мдивани, Тороше-
лидзе, Кавтарадзе, Окуджава, Гогоберидзе, Агниашви-
ли, Джикия и др.

Это те фамилии, которые проклинаят во всех угол-
ках Грузии, на каждом перекрестке, в каждом доме
Грузии, ибо эти люди готовили покушение на велико-
го Сталина и одного из лучших его учеников — руко-
водителя грузинского народа т. Берия.

Я хочу предостеречь молодежь от повторения на-
ших ошибок. Каждого человека, с которым ты об-
щаешься, надо проанализировать и проверить. Нужно
быть бдительным к каждому его шопоту и поступку.

Хочу предостеречь молодежь от увлечения божес-
ким, потому что эта традиция уводит всегда к врагам,
ведет к отказу от тех высших идеалов, которые
создает сейчас наша советская действительность.

Ставский

Бухарин и Радек на всесоюзном
съезде писателей в своих докладах
брасывали пролетарское крыло ли-
тературы за рубежом, пролетарскую
эпизику у нас и заявляли, что время
литературной поэзии прошло. Они
идентифицировали всю поэзию на тот
момент, который рисовался Бухариным
в виде пути Пастернака. Они хот

Нужно сканать о группе фашистско-
вой молодежи — о Смелякове и Ва-
сильеве. Горький в 1934 г. вместе
с нами находились в этих
лугах. Но
В. Ставский

от огромную работу и как граж-
дан. И как понятна была вчера
такой, в которой он обратился к поэт-
ам, оставшим на его до-
машнем

5/11-37

Выжечь до ко

Ф. ЛЕВИН

Художественная литература — ост-
рое оружие классово-политической борьбы. Есте-
ственно, что и сам процесс развития
и становления литературы есть про-
цесс классово-политической борьбы.
Нам

Всем памятна и меньшевистская
культура-социологическая
мещина об Иване

Всем известно, что клеветническая "Повесть о не-
погашенной луне" была буквально продиктована
Б. Пильняку врагами партии...

Участком завладевать
ради писателя и поэта и протестом.
Всем известна та борьба
пришлось места на про-
лекар против
выте

Однако, враг еще стро-
жить как враг гонимый
в анти-

В. Ставский

Пильняку
Вороцкого,
В. Ставский
Почтительно признаю
опущенную поность «О
лучше ему подсказали
Радек.

В этих стихах Пастернака
идем такие «перлы»:
Откос пути равнин
И вкнутый Арагви
Неслась, сорвав башмак
С болтающейся драгвой!

Пояди я догадился, что поэт
в этих строках говорит о рыцар-
я бедете!

С опорением приходится призна-
что поэту не пошла вырок ни мин-
осия поэтический плеснул, ни жаркая
дискуссия о формализме, ни пуш-
кинские дни! Эти великодушные пуш-
кинские дни, отмеченные всеми пуш-
родами нашей великой родины.
Это же факт, товарищи, что жи-
вой великий Пушкин одержал сеп-
час еще победу над форма-
лизмом в русской литературе. Ибо
доклад т. К. П. Тынянова
Пушкина — это оком
гим формализма

Андрей Синявский

Абрам Терц

ИЗБРАННОЕ



///АГРАФ

Андрей Синявский

**ОСНОВЫ
СОВЕТСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ**

///ГРАФ

2002

ББК 84(2)6

С 389

Художник
Пакино Инфантэ

В основу книги положен курс лекций,
читанный в Сорбонне в 1978-1984 гг.



Информационный спонсор –
радиостанция «Эхо Москвы»

Синявский А.Д.

С 389 Основы советской цивилизации. — М.: Аграф,
2002. — 464 с.

В своей книге, в основу которой был положен курс лекций, прочитанный А. Синявским в Сорбонне в 1978–1984 годах, автор исследует не столько историю советской цивилизации, сколько её теорию и даже, скорее, «метафизику» (по его собственным словам).

Подробно рассматриваются основные постулаты или краеугольные камни советской цивилизации, такие как «революция», «государство», «новый человек» и т.д.

Параллельно писатель смотрит на советскую цивилизацию глазами её художественной литературы. «Ибо художественный образ, помимо зоркости, наделен чертами символа, а в данном случае нас всего более интересуют именно символы, остающиеся величавым памятником эпохи» (А. Синявский).

Книга увидела свет во многих странах и на многих языках. Теперь наконец она выходит на родине автора.

ББК 84(2)6

© Издательство «Аграф», 2001

© Розанова М.В., 2001

ISBN 5-7784-0177-9

I

ОСНОВЫ СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Предисловие

Эта книга — результат моих выступлений перед западной аудиторией в 70–80-е годы. Мне, выходящему из Советской России, задавали много вопросов о прошлом и настоящем моей страны. Но главный вопрос был — почему *так* получилось и как долго *это* может продолжаться? Такие вопросы, разговоры и споры заставили меня пристальнее взглянуть в знакомые черты Родины — лица чрезвычайно притягательного, а вместе с тем пугающего и отталкивающего.

Слово «*цивилизация*» предполагает, помимо прочего, длительность и устойчивость существования форм давно сложившихся и отточенных временем. Советская же цивилизация не имела длинной истории, хотя и за короткое время успела проявить себя как прочная, стабильная, расширявшаяся в мировом пространстве структура.

Советская цивилизация возбуждает интерес и внимание мира как, может быть, самое необыкновенное и грозное явление двадцатого века. Грозное, потому что претендует на будущее всего человечества и захватывает все новые и новые страны или сферы влияния, рассматривая себя как идеал и закономерный итог всемирно-исторического развития. Она настолько активна, сильна и необычайна, что порою даже людьми, которые выросли в ее недрах и являются, по сути, ее детьми,

воспринимается как чудовищное образование, как нашествие марсиан, к которым мы сами, однако, уже принадлежим. Сложность и трудность изучения советской цивилизации и состоит прежде всего в этой новизне и близости ее к нам. У нас отсутствует спокойно-удаленный взгляд на вещи. Мы же не просто историки, но современники и свидетели (а иногда и участники) процесса, который еще не окончился и неизвестно, чем и когда завершится. Единственное наше преимущество — конкретное и непосредственное знакомство с вещами.

Материал огромен. В понятие цивилизации входит и быт, и психология людей, и государственный строй, и политика, и прочее, и прочее... По всем этим вопросам существует колоссальная литература. Я же здесь намерен заняться не столько историей советской цивилизации, сколько ее теорией и — я бы сказал даже — метафизикой. Я хочу обсудить некоторые основные постулаты, или стороны, или краеугольные камни (называйте как хотите) советской цивилизации. Такие, как — *революция, государство, новый человек* и т.д.

Объем работы вынуждает меня отказаться от слишком уж громоздкого справочного аппарата. Ссылки на отдельные книги, теории, документы, журналы и газеты — даются в самом тексте. Параллельно я решил посмотреть на советскую цивилизацию глазами ее художественной литературы. Ибо художественный образ, помимо зоркости, наделен чертами символа, а в данном случае нас всего более интересуют именно символы, остающиеся величавым памятником эпохи.

«Если символ есть концентрированный образ, — писал Троцкий (пока что непревзойденный историк русской революции), — то революция — самая великая мастерица символов, ибо все явления и отношения она преподносит в концентрированном виде».

То же самое — в революционно-концентрированном виде — преподносит нам попутно художественная литература.

Эпиграфом к моей книге могли бы послужить строки Радищева, написавшего в конце XVIII века оду «Осьмнадцатому столетию». Для меня это не просто эпиграф, но точка зрения на незабываемый предмет:

**Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро,
Будешь проклято во век, в век удивление всех.
Крови — в твоей колыбели, припевание — громы сраженьев;
Ах, омоченно в крови, ты ниспадаешь во гроб...**

*Глава первая***РЕВОЛЮЦИЯ**

Под словом *революция* в данном случае имеется в виду не только Октябрьский переворот, но целый комплекс идей и событий, который его вызвал, подготовил, а затем и продолжил вплоть до окончательной победы советской власти в ходе гражданской войны. Революционный процесс предполагает короткую, бурную и самую радикальную ломку почти всех институтов и исторических традиций, перестройку всей жизни общества и самого образа мыслей. И не только внутри России, но и во всем мире, поскольку Октябрьская революция рассматривалась ее творцами лишь как первый шаг в цепи других революций и обязательно должна была перерасти в мировую революцию, самую универсальную и решительную в истории всего человечества.

Даже сейчас, когда от революции в первоначальном значении не осталось, кажется, и следа в жизни советского общества, силы ее, направленные на универсальный, глобальный охват, продолжают действовать — в иных формах. В формах, допустим, идейной, военной и политической экспансии, которую советская цивилизация неуклонно осуществляет и в Европе, и в Азии, и в Африке, и в Америке. Так что в идеале весь земной шар должен оказаться под красным знаменем, которое Октябрьская революция водрузила как символ власти победившего нового общественного порядка. Это продолжение тех же революционных задатков, пускай в совершенно других, искаженных формах. Поначалу же эти задатки выражались куда более прямо и искренне. Александр Блок в поэме «Двенадцать» передавал эти настроения ритмом уличных частушек:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
Господи, благослови.

Тенденция к широчайшему, мировому охвату сочеталась с глубиной и тотальностью переворота, означавшего разрыв со всей предшествующей мировой историей. Ведь по Марксу все дореволюционное развитие человечества было лишь предысторией. А настоящая *история* начинается с пролетарской социалистической революции, какой осознал себя Октябрьский переворот. Отсюда слова Маяковского:

Да здравствует революция,
Радостная и скорая,
Это
единственная
великая война,
Из всех,
какие знала история.

Претензии — невероятны. Единственная-великая и — последняя. Последнее насилие и последняя война, предпринятые ради того, чтобы с лица земли навсегда исчезли (вы представьте — навсегда!) все насилия и все войны и чтобы все человечество, наконец, стало — навсегда — свободным и счастливым.

Религиозные корни русской революции

Похоже на Апокалипсис. История как бы кончилась, и начинаются — «новое небо и новая земля». Царство Божие, Небесный Иерусалим сходят на землю, обещая рай на земле. И не Божьим произволением, а усилием самого человека. И это не мечта, а научно доказанная Марксом историческая закономерность, которая неизбежна, которая все равно явится — неза-

висимо от нашей воли. Так что нам, современным людям, остается лишь одно — осуществить это путем революции, радостной и скорой.

В этих логических посылках происходит соединение самой точной исторической науки (марксизма, как он сам себя понимает) с извечными религиозными устремлениями человека. Вот почему Революция так напоминает Апокалипсис, но — Апокалипсис, обоснованный с позиций диалектического материализма, без Божественного вмешательства. Идея «Божьего Промысла» превращается в историческую закономерность, заповеданную Марксом. А коммунист или пролетарий, как самое крайнее звено в истории человечества, как самый «чистый человек», которому нечего терять, кроме своих цепей, осуществляет эту научную закономерность, этот Апокалипсис Двадцатого столетия.

Понятно, почему лозунги, написанные на знамени Октябрьской революции, завораживали массы. Понятно, почему они до сих пор увлекают и притягивают людей в других странах. Ведь это чаще всего великие библейские и евангельские формулы, переведенные на язык самой актуальной, революционной современности. Без имени Бога, но от имени человека, поставившего себя на место Бога.

В Апокалипсисе, в библейских пророчествах и в пророчествах других религий говорится, что когда-нибудь все — в один момент — изменится и все человеческое, общественное устройство так перевернется, что «последние будут первыми, а первые последними» (как сказано в Евангелии). Перифразом библейской строки звучат слова «Интернационала», который производит впечатление Коммунистической Литургии:

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья. А затем

Мы наш, мы новый мир построим;
Кто был ничем, тот станет — всем.

Времена — кончаются. Наступает — путем Революции — советская цивилизация. Новая эра.

Почти все лозунги Революции заимствованы из Библии, но так заимствованы, что и Библии нет, и Бога отменили, а прекрасные слова остаются: «*Мир — хижинам, война — дворцам*», «*У пролетариев — нет отечества*». Ведь последняя максима «у пролетариев нет отечества» (и, соответственно: «пролетарии всех стран, соединяйтесь») — это переделанная на новый лад известная христианская формула: «нет ни эллина, ни иудея» — перед лицом Бога, перед лицом новой религии...

Можно было бы написать большое исследование о словесных совпадениях и заимствованиях на тему: «Коммунизм и Библия», поскольку и коммунизм и революция пытались воплотить в жизнь высшие запросы, содержащиеся в душе человека, и коренным образом переделать мир, отменив всю предшествующую историю человечества как неправильную и несправедливую. Коммунизм входит в историю не только как новый социально-политический строй и экономический уклад, но и как новая великая религия, отрицающая все другие религии. В ее предвестию Петр Верховенский говорит в «Бесах»: «Тут, батюшка, новая религия идет взамен старой, оттого так много солдат и является...»

Марксизм-ленинизм называет себя единственно научным мировоззрением, единственно научной философией. Это как бы самая научная наука, владеющая законами природы и общества, законами истории. Но подчеркнутая научность коммунизма не исключает его религиозной природы. Большая или меньшая опора на науку обязательна для современного человечества.

ва. Без науки не обойтись, из науки уже не выскочишь. Поэтому даже религиозные стимулы коммунизма облекаются в научные формы и формулы.

Сама научность коммунизма — религиозна. Открытые марксизмом силы и закономерности (производительные силы, производственные отношения, борьба классов) играют роль божественного Провидения или рока, действующего с неизбежностью. Хочешь не хочешь, а тебя загонит в рай эта научно доказанная марксизмом историческая необходимость. Причем, достигнув идеального состояния в коммунизме, история перестанет развиваться качественно и даже в самом отдаленном будущем не предполагает смены этого общественного строя каким-то другим. Нельзя поставить вопрос: что будет *после* коммунизма? — как нельзя спросить: а что будет после Вечности? После коммунизма как идеального общества будет только коммунизм еще больший и еще лучший в своей коммунистичности. И никакой другой науки применительно к истории и обществу коммунизм не допускает. Все другие науки в этой области либо недостаточно научны, либо лженаучны. И эта исключительность, эта единственность, эта претензия на святость также роднят коммунизм с религией. Высказывания классиков марксизма-ленинизма так же не подлежат сомнению и критике, как в религиозной системе идей не подлежат критике тексты Святого Писания и учение Отцов Церкви. Таким образом, в самой научности коммунизма дает основания сравнивать его с религией.

Своеобразие религии коммунизма состоит в том, что свою доктрину она осуществляет на практике, охватывая все области жизни, все сферы человеческой жизнедеятельности. Этот переход вероучения в реальное и повсеместное делание нуждается в насилии. А для того чтобы осуществить насилие в самых широких

масштабах — нужна власть. Нравственно-социальные идеалы коммунизма, самого справедливого общества на земле, в ходе реализации претерпевают заметные изменения в сторону аморальной и бесчеловечной практики. Однако и здесь мы наблюдаем религиозную окраску этих служебных, по отношению к высшему идеалу коммунизма, институтов. Само насилие принимает образ сакральной искупительной жертвы. А роль всеповелевающего Бога, требующего жертвы, играет все та же Историческая Необходимость. Причем в жертву надлежит приносить не только себя: в жертву приносятся другие, так называемые эксплуататорские классы и, вообще, очень многое. Если определить это многое, то в жертву, можно сказать, приносятся — прошлое. Это очень похоже на религиозное действие, которое в своих истоках восходит, быть может, к первобытным, доисторическим культам заклания и сожжения прошлого, к древним религиозным обрядам периодического обновления земли и жизни.

Расставание с прошлым сопровождалось революционной вакханалией. Участники этой драмы выступали в роли «святых убийц» или «святых грешников» (как мы это видим у Блока в «Двенадцати», или в рассказах Бабеля и других ранних свидетельствах о русской революции). А заправилы этой драмы — вожди и палачи — принимают черты Первосвященника, а не просто политического руководителя. Отсюда только шаг до обожествления личности революционного диктатора, захватившего высшую власть и осуществляющего насилие. В самой идее насилия и власти коммунизм и революция принимают подчас сакральный, религиозный и даже мистический оттенок. Сам разрыв с прошлым, в том числе разрыв с религией, приобретает порою религиозную окраску.

Революция совершалась под знаком: «все — заново».

во». Отрицание прошлого было столь радикальным, что уничтожению или угрозе уничтожения подвергались безусловные всечеловеческие ценности. Поэтому, кстати сказать, революции пришлось в пору призывы футуристов: сбросить классиков с парохода современности. Широкую известность приобрели стихи пролетарского поэта Кириллова, написанные в 1917 году и носившие название «Мы», звучавшие как сокрушение идолов:

Мы во власти мятежного, страстного хмеля;
Пусть кричат нам: «вы палачи красоты»,
Во имя нашего завтра — сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы.

«Прошлое» и «старое» было синонимом дурного, «новое» — синонимом прекрасного. Недаром до сего дня продержалось характерное для советской цивилизации понятие «пережитки прошлого». Все плохое в жизни — либо действие врага (который тоже является олицетворением прошлого), либо — как остатки прошлого, которые подлежат постепенному искоренению. Допустим, пьянство, или воровство, или грубость в быту не припишешь классовому врагу, но все это — «пережитки», или, как часто говорили, «наследие проклятого прошлого». Особым нападкам и особому отрицанию подвергались национальное прошлое и национальные традиции России, будь то старые сословия (дворянство, духовенство, купечество), или самодержавие, или церковь, или великие имена и герои прошлого, вроде Александра Невского или Суворова, которые были реабилитированы (и то частично) лишь много позднее. «Пальнем-ка пулей в Святую Русь», — сказано у Блока в «Двенадцати». В этом пафос революции. Сами слова «русский», «Россия» исчезли со сцены. Революция утверждала себя не как русское, а как ин-

тернациональное явление. Согласно этой логике Революция произошла именно в России потому, что Россия в прошлом была хуже других стран — здесь и гнет сильнее, и власть прогнила, и звено в цепи мирового капитализма оказалось слабее из-за российской отсталости.

Соответственно, и враги революции склонны были рассматривать ее как ненациональное явление. В обывательских кругах (и не только в обывательских) широко ходило мнение, что революцию сделали евреи и немцы. К тому же, действительно, в руководстве и в ударных отрядах революции было много нерусских — евреев, поляков, латышей и даже китайцев. Разумеется, их было ничтожное меньшинство сравнительно с русскими силами, но, как всегда, инородцы резче бросались в глаза и привлекали недоброе внимание. Так сложилась теория, что революция не русское, а привнесенное явление, не имеющее ничего общего с русским народом и национальной почвой. Россия, говорят сторонники этой теории, это оккупированная страна. Оккупанты же пришли с Запада, поскольку марксизм занесен к нам извне. Эта теория существует до сих пор и даже в последнее время вновь набирает силу. Я решительно расхожусь с этой теорией. Но трудно согласиться и с другой, противоположной точкой зрения, в соответствии с которой Октябрьская революция и советская цивилизация это исключительно русское, национальное порождение. В революции, мне представляется, сплелось то и другое — национальное и интернациональное, локальное и мировое. И тот факт, что она свершалась как разрыв с национальным прошлым, с национальной стариной и даже с национальным лицом России, не исключает ее принадлежности к родной земле, хотя революция далеко выходит за эти пределы.

В религиозности русской революции проявилось одно из ее характернейших национальных качеств. О религиозности революционеров первым со всей страстью заговорил Достоевский, а в начале XX столетия к этому мнению присоединились и некоторые другие русские мыслители, весьма далекие от революционных идей. Сошлюсь, например, на статью Бердяева «Русская Жиронда», написанную в 1906 году, в разгар первой русской революции. В этой статье Бердяев сравнивает партию кадетов, т.е. либералов, сторонников конституции и демократии, с жирондистами. Кадетская политическая программа — рациональная, передовая и в то же время умеренная, как бы средняя между крайностями левых и правых, — лично Бердяеву очень нравится. Но он видит ее бесперспективность в России, причем именно из-за отсутствия религиозного пафоса. Он полемизирует с Петром Струве, который был сторонником кадетской платформы.

«Социал-демократия дает религиозный пафос, который заражает сердца народных масс, увлекает молодежь. Сама политика для социал-демократов есть религия, религиозное делание. Что могут противопоставить этому конституционные демократы? У них нет никаких идей, кроме той несомненной, но куцой идеи, что конституция, гарантирующая права и свободы, лучше самодержавно-бюрократического режима. И молодежь, и рабочие массы не пойдут за конституционными демократами, так как они не дают им пищи духовной, а насчет желания дать пищу материальную находятся на подозрении.

Струве недооценивает реального значения религиозного пафоса социал-демократии, которому недостаточно противопоставить голые и формальные принципы либерализма, так как никого ими не увлечешь. Россия отдана уже волею судеб во власть крайностей,

черные и красные цвета господствуют, и тут не бледные теории нужны, умеренные и бестемпераментные, а новые, пламенные идеи.

Таковыми идеями могут быть только идеи религиозные, не менее радикальные, чем социал-демократические или черносотенные. Пока Струве этого не сознает, все заложенные в нем потенции приведут к малому. Он ведь скептик, и поэтому не знает секрета власти над сердцами, который знают люди красного и черного цвета».

Бердяев был прав, как ни парадоксально это тогда звучало: социал-демократы, т.е. будущие большевики, в своей политике религиозны.

А вот что тогда же писал на эту тему другой религиозный писатель Мережковский, анализируя опыт революции 1905 года:

«Русская революция — не только политика, но и религия — вот что всего труднее понять Европе, для которой и сама религия давно уже политика... Русская революция так же абсолютна, как отрицаемое ею самодержавие... Еще Бакунин предчувствовал, что окончательная революция будет не народной, а всемирною. Русская революция — всемирная. Когда вы, европейцы, это поймете, то броситесь тушить пожар. Но берегитесь: не вы нас потушите, а мы зажжем вас».

В качестве величайшего пророка русской революции Мережковский называет Достоевского. Достоевский, по его словам, «страшится и ненавидит революцию, но не может представить себе ничего вне этой и страшной и ненавистной революции. Она для него абсолютная, хотя и отрицательная мера всех вещей, всеобъемлющая категория мышления. Он только и думает, только и говорит о ней, только и бредит ею. Ежели кто-нибудь накликал революцию на Россию, как волшебники накликали бурю, то это, конечно, Достоев-

ский. От Раскольниковца до Ивана Карамазова все его любимые герои — политические и религиозные мятежники, преступники законов человеческих и Божеских, в то же время атеисты, но особого русского типа, атеисты-мистики, не простые безбожники, а богоборцы».

Это рассуждение может показаться странным: как это можно быть атеистом религиозного склада и даже атеистом-мистиком? и какая разница между атеистом-безбожником и атеистом-богоборцем? Но в том-то и дело, что русские атеисты, тяготеющие к богоборчеству, нередко принадлежат к религиозному психологическому типу, и потому-то они богоборцы, а не просто безбожники. Атеист-безбожник, рационалистического, западного образца, хорошо знает, что Бога нет, и поэтому он спокоен и равнодушен ко всей этой проблематике — и к Богу, и к религии. Ведь если Бога нет, то чего же тревожиться и зачем с Ним бороться? Но русский атеист-богоборец в глубине души, подсознательно, допускает, что Бог есть, и начинает его испытывать, провоцировать, либо вступает с Богом в мысленный диалог, в состязание на тему, кто лучше, кто справедливее или кто сильнее. Этим, в частности, объясняются дикие выходки против церковных святынь. Когда, скажем, иконы не просто снимали, но делали из них полы в деревенской бане, даже не обстругав и не счистив лики. Или выстраивали иконы в ряд у стены и расстреливали из винтовок. Как если бы для этих народных богоборцев-атеистов иконы были живыми людьми.

В романах Достоевского мы встречаем богоборцев высокого интеллектуального и нравственного уровня, вроде Раскольниковца («Преступление и наказание»), Ипполита («Идиот»), Ивана Карамазова («Братья Карамазовы»). Это атеисты, нигилисты и бунтари, и в то

же время натуры добрые и чуткие — преувеличенно добрые и преувеличенно чуткие. Они ранены насмерть сознанием несправедливости, мирового зла и исполнены чувства глубокой любви и сострадания к людям. Отсюда их отрицание Бога, который недостаточно благ и милосерден, если допускает такие страдания на земле. Знаменитая реплика Ивана Карамазова есть своего рода формула русского богоборчества: «Не Бога я не принимаю... я только билет ему почтительнейше возвращаю».

Отсюда, говорит Достоевский, и ведет свое происхождение русский социализм — следствие русского атеизма, который принимает формы богоборчества. Согласно этой богоборческой логике, если Бога нет, то я, человек, становлюсь Богом и в этом человеческом качестве желаю построить рай на земле, исключая зло и страдания. Поэтому «русские мальчишки», сидя в трактире, разговаривают непременно о Боге, либо о социализме, что, впрочем, добавляет Достоевский, почти одно и то же. Ибо все это поиски Бога, поиски религии, хотя бы путем отрицания и Бога, и религии.

Сходные черты нетрудно обнаружить в духовном облике русских революционеров. Наилучшую и наиболее острую характеристику этому психологическому типу дает Маяковский. Уже будучи признанным советским поэтом, Маяковский провозглашал:

У лет на мосту
на презренье,
на смех,
земной любви искупителем значась,
должен стоять,
стою за всех,
за всех расплачусь,
за всех расплачусь.
(«Про это», 1923 г.)

Крест, на котором он распинает себя как носитель всечеловеческой боли и любви, становится постоянным символом его жизненного пути и поэтического искусства. А заодно с крестом и распятием через его произведения проходят другие навязчивые идеи и образы — Рождества, Чудотворения, Воскресения из мертвых, апокалиптические мотивы страшного конца света и установления Царства Божия на земле. И это не стилизация: это — сознательное или бессознательное усвоение религиозной идеи, резко пересмысленной вместе с тем в сторону богоборчества, в отрицание всех прежних религий, которые не принесли миру чаемого обновления.

В ранний период религиозное мессианство Маяковского достигает кульминационной точки в поэме «Облако в штанах» (1915 г.), которая называлась первоначально — «Тринадцатый апостол». Это кратчайшая самохарактеристика Маяковского, реального человека и поэта, который ставит себя в двусмысленную связь с Евангелием. Связь эта характеризуется и крайним отталкиванием и крайним притяжением. Само словосочетание «тринадцатый апостол» звучит почти как «Антихрист»: «апостол» применительно к себе самому, да еще помеченный дурным, нечистым числом «13», — кощунство. И в то же время этот лишний, «дополнительный» и непризнанный апостол, Маяковский, претендует на то, чтобы следовать по пути религиозного преображения жизни дальше и смелее, чем двенадцать апостолов, и даже реальнее, чем это предусмотрел и сумел осуществить Сам Господь Бог. Религия превращается в революцию, которая начинается с отрицания Бога, но тем не менее остается для Маяковского религией высшей любви.

Пастернак говорил, что молодой Маяковский больше всего напоминал ему «младших героев» Досто-

евского, нигилистов и бунтарей.

В поэме «Облако в штанах» «тринадцатый апостол», Маяковский, подобно Ивану Карамазову, возвращает Богу билет в Царство Небесное, только делает это крайне непочтительно и резко, как нигилист уже новой формации. Но за сго богохульствами мы слышим и боль, и любовь, и жажду Бога — здесь, на земле, немедленно, в полном и реальном Его виде. А если нет, то — берегитесь!..

Всемогущий, Ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова, —
отчего Ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!..

С этим колоссальным запасом страсти и отчаяния, с этой жаждой в один миг перекроить мир, с готовностью совершить неслыханный религиозный подвиг, покусившись на самого Бога, — Маяковский подошел к революции и стал ее ведущим поэтом.

Роль народной стихии

И сторонники, и противники революции сравнивали ее с каким-то природным катаклизмом — с мировым потопом, с колоссальным землетрясением, с пожаром, с бурей, с циклоном.

И действительно, Россия в этот период пришла в слишком стихийное, сумбурное, хаотическое состояние для того, чтобы из этого хаоса родилась другая, неизвестная цивилизация. Можно спорить о том, откуда начался обвал. С падения ли монархии в момент Февральской революции 1917 года. Или с дальнейшего развязывания каких-то новых стихий, проявивших себя уже в период Октября и после, в гражданскую вой-

ну. Я лично склоняюсь к тому мнению, что самые главные удары по иерархии, которая составляла старую цивилизацию, были произведены на фронте, в ходе последних актов войны с Германией. Когда армия — массами — начала дезертировать или брататься с немцами в знак прекращения войны, и солдаты стали убивать офицеров, которые мешали идти по домам и делить землю. Старая, царская Россия была построена на субординации высших и низших чинов, высших и низших сословий. И вот субординация эта была прорвана в самом крепком иерархическом звене, в армии.

Лозунги большевиков были тактически крайне удачными и своевременными: «Долой войну!», «Мир — народам!», «Хлеб — голодным!», «Земля — крестьянам», «Заводы — рабочим!», «Грабь — награбленное!» или «Экспроприация — экспроприаторов!» Это и было социалистической революцией.

Большевики и выиграли, развязав стихию и нарушив иерархию, лишив тем самым старое общество возможностей к настоящему сопротивлению. Сопротивление родилось потом, в ходе гражданской войны, но было уже поздно.

В русской литературе наиболее высокое и адекватное выражение революционной стихии дано в поэме Александра Блока «Двенадцать» (1918 года). В этой поэме воплощена бушующая стихия, которую Блок называл музыкой революции. При этом он имел в виду не только и не просто музыку, звучащую на улицах, но звучание, как он говорил, «мирового оркестра», которое исходит из высших, запредельных сфер. Так что революция, в понимании Блока, началась как бы на небе, а потом уже произошла на земле. «Музыку революции», развязывание ее стихии, Блок уловил еще до ее начала, будучи своего рода сейсмографом, отмечавшим приближение этой мировой катастрофы,

с которой он внутренне породнился, как с источником собственной лирики и как с исторической судьбой. С точки зрения Блока, «стихия» — это всегда обновляющееся, творческое, музыкальное начало, таящееся до поры до времени в недрах природы, в глубине народной и космической жизни. «Стихия» — это необузданный и неупорядоченный дух музыки, из которого рождается космос и гармония, а в истории человечества рождается и зацветает культура. «Стихия» иррациональна и органична. Она может быть ужасна и гибельна, но в ней залог будущего, и поэтому она всегда права, даже в разрушениях, которыми она грозит миру. Противостоять стихии так же бессмысленно, как пытаться противодействовать буре или землетрясению. Дело поэта — быть послушным стихии и резонировать ей в ответ, пусть это и сулит ему персонально гибель.

Мы не обязаны разделять взгляды Блока, но они нам крайне интересны и полезны — и не только потому, что Блок величайший русский поэт начала XX-го столетия. Эти взгляды важны также потому, что мы сейчас имеем дело, собственно говоря, с той же проблематикой, с соотношением «стихии» и «цивилизации» в их противоположности.

А цивилизация, по Блоку, противоположна не только стихии, но и культуре. Ибо цивилизация — это холодная, мертвая корка, застывающая на поверхности жизни и культуры и не дающая им развиваться дальше. Но под этой коркой так же, как под земною корой, вечно кипит и бунтует стихия, которая в один прекрасный момент прорывается и сметает цивилизацию, чтобы на неостывшей еще, стихийной почве породить новую жизнь и новую культуру. Всемирную историю, в этом понимании, и составляют в первую очередь периодические взрывы или извержения стихии, подобные

извержению вулкана, после чего внешняя кора вновь застывает, образуя омертвевшую, безмузыкальную цивилизацию.

И вот эту громадную роль стихии, все переворачивающую и все преображающую, и передает нам Блок в поэме «Двенадцать». Ибо революция, которую Блок принял не столько политически, сколько метафизически и музыкально, и была для него сильнейшим, вершинным выражением стихии, апофеозом стихии. И таким же апофеозом стала его поэма «Двенадцать».

А когда взрыв и буря революционной стихии пошли на убыль, когда вступили в действие начала государственности, организации, порядка (то есть цивилизации), Блок перестал слышать эту музыку революции и как поэт замолчал. Он не отрекся от поэмы «Двенадцать», но с концом стихии для него наступила эпоха немоты и удушья, и он вскоре умер, как бы выложив всего себя — физически и творчески — в этой поэме, конгениальной революции.

Оправдывая революцию как стихию, Блок не пошел обычным путем ее идеализации, восхваления, славословия. Напротив, он ввел самое темное и мрачное, что видел в ней тогда, в начале 18-го года, — убийства, грабежи, разгул пьяной или опьяненной собственным торжеством толпы, бессмысленные выстрелы по невидимому врагу... И закрутив это вихрем, прорезав темноту ночи белым снегом и вспышками огней, представил ее как игру светотени и, в конечном счете, в виде блика или контраста увенчал Иисусом Христом, который, как двусмысленный призрак, появляется впереди революции:

Трах-тах-тах! — И только эхо
Откликается в домах...
Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах...

Трах-тах-тах!
Трах-тах-тах ...

... Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Иисус Христос.

Эта подмена абсолютных принципов всепереворачивающей иронией, а действительности — искусством или карнавалом означает, что революция как стихия — самоценна. И с нее нечего спрашивать — права она или не права? Она — такова.

Образ Христа в финале знаменует, безусловно, нравственно-эмоциональное приятие революции. Это, я бы сказал, мистика эмоции, которая имеет отношение не к одному Блоку с его «Двенадцатью», но и к революции в целом как стихийному проявлению. Ведь стихийный эмоциональный взрыв даже у отдельного человека, доколе этот взрыв сам по себе велик или значителен, не нуждается ни в доказательствах, ни в оправданиях. Более того, этот взрыв иррационален и алогичен.

Поясню это примером из «Братьев Карамазовых» Достоевского, из центральной и знаменитой главы этого романа — «Бунт». Как раз в этой главе Иван Карамазов и возвращает Богу билет в Царство Небесное. Глава эта интересна не только доводами атеиста-богборца Ивана, но и реакцией на них Алеши Карамазова. Ведь Алеша Карамазов — это нравственный идеал Достоевского, это живой, практический носитель Христа и христианства в современном мире. И вот

Иван Карамазов рассказывает своему брату Алеше историю о том, как какой-то старый генерал-помещик затравил своего дворового, крепостного мальчику — собаками. И собаки разорвали ребенка на глазах у его матери. А далес Иван Карамазов спрашивает у Алеши, что нужно было бы сделать с этим генералом? Что нужно сделать, как поясняет Иван, *«для удовлетворения нравственного чувства»*? И Алеша — отвечает:

« — Расстрелять! — тихо проговорил Алеша, с бледною, перекосившеюся какою-то улыбкой, подняв взор на брата.

— Bravo! — завопил Иван в каком-то восторге, — уж коли ты сказал, значит... Ай да схимник!»

А далес Алеша как истинный христианин добавляет, поправляется:

« — Я сказал нелепость, но...»

Ответ Алеши нелеп, с точки зрения «моральных правил христианства», которых он придерживался и придерживается. Но существует какая-то непосредственная, эмоциональная реакция человека, которая говорит: «расстрелять!» вопреки его логическим и даже нравственным доводам. Это и есть сила непосредственной эмоциональной реакции.

Если переложить эту реплику Алеши Карамазова на события и на эпоху Октябрьской революции, то мы поймем, почему практика расстрелов и само слово «расстрел» вдруг приобрели такой возвышенный и даже романтический смысл. А что можно еще сделать, спросим себя, с вышеупомянутым генералом, который затравил ребенка собаками на глазах у матери. И мы ответим, вероятно, — одно, как Алеша Карамазов: «расстрелять!»

Это и есть эмоция, составлявшая душу стихии, показанной и оправданной Блоком в поэме «Двенадцать». И потому само слово «революция» звучало для многих и многих как некая высшая справедливость.

Аргументы в пользу стихии предлагает нам и Борис Пастернак в романе «Доктор Живаго», уже отнюдь не увлеченный революцией и оценивающий ее во многом отрицательно (включая проявления ее стихийных сил). Тем не менее Пастернак счел необходимым описать революцию как самое возвышенное и вдохновляющее мгновение творчества истории и природы:

«Поразительное зрелище... Сошлись и беседуют звезды и деревья, философствуют ночные цветы и митингуют каменные здания. Что-то евангельское, не правда ли?»

Все это отразилось в книге стихов Пастернака «Сестра моя — жизнь», написанной летом 17-го года. Но, может быть, спросим себя, все это порождение лишь февральской революции, но не революции октябрьской. Так нет, и в революции Октябрьской Пастернак видел продолжение той же стихии. Кстати, в его романе «Доктор Живаго» представлен пейзаж сродни пейзажу Блока в «Двенадцати», только в ином, реалистическом ключе:

«Юрий Андреевич загибал из одного переулка в другой и уже утерял счет сделанным поворотам, как вдруг снег повалил густо-густо и стала разыгрываться метель, та метель, которая в открытом поле с визгом стелется по земле ...»

Поразительно, как почти через полстолетия, с противоположных точек зрения Блок и Пастернак пересекаются в этой положительной эмоциональной оценке — «стихии». И в ее метафизическом, и в ее чувственном образе. Видимо, давление и очарование этой «стихии» было настолько значительным, что два очень разных поэта, независимо друг от друга этому голосу повиновались.

Стихия в собственном ее — народном — осмыслении

Иной социальный срез той же революционной, эмоциональной стихии дает поэзия Сергея Есенина. Есенин принял революцию с тем же, примерно, восторгом, что и Блок, но более, так сказать, почвенно, национально, с расчетом на мужика, на крестьянство и на крестьянскую революционную силу. Россия, по преимуществу, была страной крестьянской, и от революции была прямая выгода крестьянству — земля. Есенин и развернул, полнее других, этот аспект — собственно крестьянской, мужицкой стихии, включившейся в революцию.

Но именно на Есенине мы можем наблюдать столкновение этой стихии с новой государственностью, с новой цивилизацией. Стихия произвела революцию и в конечном счете осталась не у дел. И была подавлена новым порядком.

У Есенина очень рано, в 19-м году, уже обнаружилось противоречие между революционной крестьянской стихией и революционной же властью, которая в его стихах приняла облик «города». Этот «город» в устах Есенина знаменовал еще нечто другое — наступление новой цивилизации:

Город, город! ты в схватке жестокой
Окрестил нас как падаль и мразь.
Стынет поле в тоске волоокой,
Телеграфными столбами давясь.

Жилист мускул у дьявольской выи
И легка ей чугунная гать.
Ну, да что же?
Ведь нам не впервые
И расшатываться, и пропадать.

О чем идет речь? О наступлении города на деревню? Внешне — да. Но по существу речь идет о наступлении

новой, безжизненной цивилизации на революционную стихию, которая сама же эту цивилизацию породила. Это борьба государства со стихией, которая, не ведая того, и помогла воздвигнуть это государство.

В поэме Есенина «Сорокоуст» 1920 г. есть замечательная сцена, списанная с природы: жеребенок бежит по степи, пытаясь обогнать поезд. Это — состязание живого коня с конем железным — имело для самого Есенина широкий символический смысл. И вот как он комментировал этот же эпизод в письме того же года (Е. Лившиц):

«Вот вам наглядный случай ... Ехали мы от Тихорецкой на Пятигорск... Видим, за паровозом что есть силы скачет маленький жеребенок. Так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он очень долго, но под конец стал уставать, и на какой-то станции его поймали. Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень много. Конь стальной победил коня живого. И этот маленький жеребенок был для меня наглядным, дорогим, вымирающим образом деревни и ликом Махно. Она и он в революции нашей страшно походят на этого жеребенка тягательством живой силы с железной».

Поразительно это сопоставление жеребенка с Махно. Ведь Нестор Махно — это стихийное анархическое крестьянское движение в революции. То движение, которое родственно Есенину. Оно участвует в революции и практически помогает ее победе. И в то же время вступает в конфликт с новой государственной властью и поэтому, в конечном счете, подлежит ликвидации.

И вот конечная судьба этой стихии в изображении того же Есенина. В его стихотворении 1923 г. — из цикла «Москва кабацкая»:

Снова пьют здесь, дерутся и плачут
Под гармоника желтую грусть,
Проклинают свои неудачи,
Вспоминают московскую Русь...

Что-то всеми навек утрачено.
Май мой синий! Июнь голубой!
Не с того ль так чадит мертвячиной
Над пропащею этой гульбой...

Что-то злое во взорах безумных,
Непокорное в громких речах.
Жалко им тех дурашливых, юных,
Что сгубили свою жизнь сгоряча.

Жалко им, что Октябрь суровый
Обманул их в своей пурге.
И уж удалью точится новой
Крепко спрятанный нож в сапоге...

Нет! таких не подмять, не рассеять.
Бесшабашность им гнилью дана.
Ты, Рассея моя... Рас...сея...
Азиатская сторона!

Пропойцы в кабаке поминают *московскую* Русь, гулящую, разбойную стихию старого Московского царства, и одновременно свое недавнее революционное прошлое. Это все люди разуверившиеся в революции, наподобие Есенина, и готовые на новое стихийное движение, но уже в бандитском, в хулиганском его виде. Это и разложение, и гниль, и одновременно память о первом, прекрасном порыве юности. И когда им жалко юных, погубивших свою жизнь в революции, это им жалко самих себя. А те, кто «ушел далече» (в том же стихотворении), это коммунисты, позабывшие о своих старых товарищах, о народной стихии, на которую они когда-то опирались.

Комментарием к этому пониманию кабацкой сти-

хии, как к стихии революционной, хотя уже и подпорченной, гнилой, может служить письмо Есенина к его бывшему товарищу по имажинизму Александру Кусикову от 7 февраля 1923 года. Есенин в это время находился за границей, а Кусиков фактически эмигрировал из России, и вот Есенин, находясь на Западе, пишет ему письмо, которое в Советском Союзе никогда не было опубликовано. Есенину не понравился Запад, и он тянулся домой. Но и дома, в России, его не ожидало ничего хорошего, и Есенин это понимал. И вот он пишет Кусикову:

«Сандро, Сандро! тоска смертная, невыносимая, чую себя здесь чужим и ненужным, а как вспомню про Россию, вспомню, что там ждет меня, так и возвращаться не хочется. Если бы я был один, если б не было сестер, то плюнул бы на все и уехал бы в Африку или еще куда-нибудь. Тошно мне *закошному* сыну российскому в своем государстве пасынком быть. Надоело мне это блядское снисходительное отношение власть имущих, а еще тошней переносить подхалимство своей же братии к ним. Не могу! Ей-Богу не могу. Хоть караул кричи или бери нож и становись на большую дорогу!

...Злое уныние находит на меня. Я перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только одно, что ни к февральской, ни к октябрьской, по-видимому. В нас скрывался и скрывается какой-нибудь ноябрь...»

«Ноябрь» означает какую-то третью, будущую революцию, уже против нового государственного стандарта. Отсюда и стихотворные строчки Есенина: «И уж удалью точится новой крепко спрятанный нож в сапоге». Расчет на какую-то новую пугачевщину, которая ушла в кабаки и поминает свою былую вольницу. Это, конечно, уже не революция, а ее жалкие остатки, ушед-

шие в кабаки и слившиеся с другой, очень широкой уголовной и полууголовной стихией — со стихией бандитизма, воровства, хулиганства... Однако Есенин и эту новую среду ставит в связь с Октябрьской революцией, которая, воспользовавшись стихией, обманула ее, подавила, рассеяла, вопреки надеждам поэта, что таких, как мы, бесшабашных, не подмять и не рассеять...

Стихия и власть

Поэтические образы не передают всей сложности процессов, протекавших в действительности, но показывают их в обобщенном, как бы в идеальном виде. Чтобы представить ту же революционную стихию более конкретно, исторически реально, обратимся к повести Фурманова «Чапаев» (1923). Произведение это с художественной точки зрения не высоко. Но в данном случае недостатки Фурманова-писателя оборачиваются для нас определенным достоинством. Перед нами очень важный в фактическом отношении документ, где лица и события говорят сами за себя. И порою говорят больше, чем хотел бы этого автор.

Нам интересна здесь фигура Чапаева, фигура очень колоритная, как бы призванная со дна самой жизни восстать, с тем чтобы вершить историю. В выдающиеся революционные полководцы Чапаев вышел из низов, из крестьян. Он полон ненависти к прежнему строю, к помещикам и купцам, к царской армии, и готов за революцию сложить голову. Но он полон также злобы и недоверия к красным штабам, которые его ограничивают и, с его точки зрения, даже мешают воевать по-настоящему. В прошлом он успел сойтись с анархистами, которые, вероятно, лучше отвечали его стихийной натуре. Теперь же на фронте Чапаев, как его описывает Фурманов в роли полководца, — большевик, но большевик, что называется, стихийный,

первозданный, необученный и неотесанный. Чапаев, например, перед боем украдкой крестится, что, конечно, не пристало настоящему коммунисту и что встречает у Фурманова сожаление и осуждение.

В характере Чапаева нетрудно увидеть его нутряную, кровную связь с историческими личностями типа Стеньки Разина и Емельяна Пугачева. Под рубрикой «Биография Чапаева» Фурманов включает запись: «— Знаете, кто я? — спросил меня сегодня Чапаев, и глаза у него заблестели наивно и таинственно. — Я родился от дочери казанского губернатора и артиста-цыгана...»

Этому сообщению сам Фурманов не придает большого значения и приводит его просто как лишний факт характеристики самобытной и фантастической личности Чапаева. Но этот факт, независимо от того, правда это или вымысел, очень интересен. Ибо в собственном сознании Чапаев — что-то вроде Самозванца на Руси, то есть народного царя, имеющего внутреннее право притязать на власть и всенародную любовь. Эта деталь лишний раз связывает имя и личность Чапаева с традиционной русской стихией разинщины и пугачевщины...

При этой стихии, в роли, я бы сказал, осведомителя и надсмотрщика, выступает посланец партии Федор Клычков, в котором нетрудно распознать самого Фурманова. И начинается новая тема повести Фурманова, тема, о которой сам Фурманов, я думаю, не очень подозревает. Это *тема борьбы за власть*, борьбы, которую ведет Клычков-Фурманов, а в его лице партия и государство, пытаясь взять под свой контроль стихийного, народного, партизанского вождя — Чапаева.

Об этом сказано с самого начала и довольно определенно: Федор Клычков (т.е. Фурманов) послан к Чапаеву, чтобы следить за ним, доносить о нем и испод-

воль, не подавая вида, им управлять и командовать. В стихию революции, которая становится опасной для новой государственной власти или, во всяком случае, неуправляемой, посылается комиссар, то есть соглядатый государства. Чапаев для Фурманова — не столько предмет восхищения, сколько объект наблюдения и покорения. И поэтому Фурманов правдиво и протокольно фиксирует все недостатки в характере Чапаева, как, впрочем, и его достоинства, которые могут еще пригодиться Красной Армии и новому государству. В данном случае Фурманову-писателю помогла его роль стороннего и прикомандированного к Чапаеву соглядатая. Он Чапаева нигде не прихорашивает, но трезво оценивает, как бы взвешивает на весах государства и партии.

Фурманов много думает, он в основном только об этом и думает, как подчинить себе Чапаева. Для этого — нужно прежде всего приобрести авторитет в глазах Чапаева. И поэтому он — как человек умный — не вмешивается в боевые операции, в которых он все равно ничего не понимает, но старается давить на Чапаева своей ученостью, своим знанием общегосударственной политики. И вот он пишет — вполне откровенно — о себе и о своих заботах:

«Чем же завоевать авторитет? Надо взять его, Чапаева, в духовный плен. Разбередить в нем стремление к знаниям, к образованию, к науке, к широким горизонтам... Здесь Федор знал свое превосходство и убежден был заранее, что лишь только удастся *пробудить* — песня Чапаева, анархиста и партизана, будет пропета, его исподволь, осторожно, но упорно будет можно отвлечь и к другим мыслям, пробудить интерес и к другим делам. Веры в свои силы, в свою способность у Федора было много. Чапаев из ряда вон, он не чета другим — это верно, его трудно будет обуздать, как дикого степного коня, но... и диких коней обуздывают!

Только надо ли? — вставал вопрос. Не оставить ли на произвол судьбы эту красивую, самобытную, такую яркую фигуру, оставить совершенно нетронутой? Пусть блещет, бравивирует, играет, как многоцветный камень!

Мысль эта у Клычкова была, но она показалась и смешной и ребяческой на фоне гигантской борьбы».

Мысль о том, чтобы фигуру Чапаева оставить нетронутой, потому что она сама по себе замечательна и достойна любования — эта мысль писателя, художника мелькнула у Фурманова и тут же исчезла под напором политического здравого смысла. Фурманову главное — переделать Чапаева в партийном духе и подчинить его себе...

Повесть интересна как саморазоблачительный документ, показывающий хитрую и тотальную тактику партии по отношению к человеку и человечеству. Чапаев для Фурманова, при всем его добром к нему отношении, лишь сырой материал, из которого он хочет вылепить наиболее полезную государству фигуру. Чапаев для Фурманова — одаренный ребенок, но именно ребенок, нуждающийся в воспитании и управлении.

Однако власть рождается и в самой стихии, а не только навязывается ей извне. Это — сложные процессы перехода одного в другое.

Формированию цивилизации внутри самой стихии посвящен рассказ Бабеля «Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионовича» из цикла «Конармия». Жизнеописание это представляет собой стилизацию рассказа самого Павличенки, — как бы он мог рассказать собственную биографию. Но в основе этой литературной личности вполне реальное историческое лицо — Апанасенко. И по рассказу Бабеля мы можем судить довольно объективно, как революция превращает последних в первых, вчерашних рабов в новых господ.

Павличенко — герой рассказа Бабеля — не простой боец, а крупный военачальник, красный генерал. И самого себя он рассматривает как некий пример или образец, показательный для всего угнетенного человечества, которое теперь, с революцией, пришло или приходит к власти. Вот он и стал генералом, а был простым свинопасом, и в своей судьбе он видит судьбу всего трудового народа. Кстати сказать, Чапаев в детстве и отрочестве тоже был пастухом. Так что жизненный путь Павличенко — из свинопасов в генералы — это типичная биография военачальника в период революции. И одновременно это дитя стихии, но уже вышедшее в люди, в большие начальники. И об этой стихии в рассказе Бабеля говорится языком, несколько напоминающим поэму Блока «Двенадцать». В жизнеописание Павличенко на один момент, на один абзац вторгается как бы кусок народного эпоса или песни во славу революции.

«И что же, ребята вы ставропольские, земляки мои, товарищи, родные мои братья... пять пропавших годов пропал я, покуда мне, к пропащему, не прибыл в гости восемнадцатый годок. На веселых жеребцах прибыл он, на кабардинских своих лошадаках. Большой обоз вел он за собой и всякие песни. И эх, любя ж ты моя, восемнадцатый годок! неужели не погулять нам с тобой еще разок, кровиночка ты моя, восемнадцатый годок...»

Вот чем притягательна была революция для многих и многих тысяч. Не только тем, что она провозгласила какие-то новые идеи и социальные установления. И не только тем, что сулила в будущем золотые горы. Революция для масс ее совершавших была, помимо прочего, самоцелью. Это тот же праздник, который мы видели у Блока в «Двенадцати». Поэтому революция и представлена как какой-то сказочный пир жизни — пир на весь мир.

Тогда же Павличенко является к барину Никитинскому и говорит, что привез письмо от Ленина. Тот удивлен:

— Мне письмо, Никитинскому?

— Тебе, — и вынимаю я книгу приказов, раскрываю на чистом листе и читаю, хотя сам неграмотный до глубины души. «Именем народа, — читаю, — и для основания будущей светлой жизни, приказываю Павличенко, Матвею Родионычу, лишать разных людей жизни согласно его усмотрению...» Вот, — говорю, — это оно и есть, ленинское к тебе письмо...

Зачем понадобился этот мнимый мифический ленинский приказ? Что, Павличенко не мог бы расправиться с барином безо всякого приказа свыше? Разумеется — мог бы. Но перед нами ситуация последнего суда, Страшного Суда, и для этого, соответственно, понадобились верховные, чуть ли не божественные распоряжения, идущие от самого Ленина. Герою мало утолить свою месть, ему необходимо почувствовать себя каким-то верховным хозяином, имеющим в запасе высшие санкции самого Ленина...

С другой стороны, эти фантастические, сказочные полномочия, якобы полученные от самого Ленина, вершить суд и расправу по собственному усмотрению и разумению, вполне соответствуют конкретно-исторической правде того момента, реальной судебной практике тех лет. Ведь судили тогда не по закону, а, как официально утверждалось, «по голосу и долгу революционной совести». Голос совести, классовое нутро подсказывают Павличенко, что барин Никитинский должен быть ликвидирован. Значит — это и есть закон, это и есть приказ, полученный от самого Ленина...

Расправа Павличенки над барином предстает у Бабея как бы в двойном освещении. С одной стороны, бывший пастух имеет какое-то моральное оправдание.

Это не беспричинная злоба, а мотивированное личное и классовое возмездие за нанесенные прежде оскорбления — за жену Настю, за пощечину, которая горит на лице Павличенки и будет гореть, сказано, до Страшного Суда, за годы и годы рабского, бесправного существования.

Но, с другой стороны, Павличенко в момент своего торжества и расправы над бариним не возбуждает у нас симпатий. Потому что, хотя он имеет какое-то моральное и эмоциональное оправдание своему поступку, он действует подло и страшно. Его расправа над бариним чудовишна:

«...Тогда я потоптал барина моего Никитинского. Я час его топтал или более часу, и за это время я жизнь сполна узнал. Стрельбой, — я так выскажу, — от человека только отделаться можно: стрельба — это ему помилование, а себе гнусная легкость, стрельбой до души не дойдешь, где она у человека есть и как она показывается. Но я, бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часу, мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть...»

Это не просто садизм или психическая извращенность натуры. Павличенко затаптывает барина ногами — потому что такой способ казни соответствует классовому, социальному самоощущению бывшего свинопаса и будущего генерала. Раньше сам он, Павличенко, находился внизу, в грязи, на полу, «ниже всякой земной низины», как он говорит, вспоминая, как он стоял на коленях перед бариним. А теперь пусть барин побудет на такой же «низине» и побудет возможно дольше. Самое важное здесь — идея власти. Ибо власть — это главное, что рождает революция и классовая борьба. Идея власти столь велика, универсальна и самоценна для Павличенки, что простое убийство барина было бы помилованием. Врага нужно не прос-

то уничтожить — его нужно топтать ногами: только так и достигается желанное осознание власти.

Поистине страшна последняя фраза рассказа Бабеля. Выясняется, что Павличенко вообще приобрел привычку затаптывать врагов ногами. Ощущение полноты жизни совпадает у него с ощущением полноты власти, кровавой власти над другим человеком.

Революция рождает власть, еще не бывалую в истории, власть, не знающую ни жалости, ни милосердия, ни утоления. Потому что жалость была бы в ущерб власти. Это и есть вечный суд, Страшный Суд.

По-видимому, Бабель осознал, какую ужасную правду несет его рассказ. В его дневнике по адресу Апанасенки, который послужил прототипом Павличенки, сказано: «Новое поколение — мещане»; «Новая порода — мещан». Очевидно, имелась в виду эта жажда власти и триумфа, к которому рвались вожди и военачальники нового, победившего класса. Страшна была власть барина над бесправным пастухом, но еще страшнее оказалась власть над баринном победившего свинопаса.

*Глава вторая***ОСУЩЕСТВЛЕННАЯ УТОПИЯ****Власть идеи**

Итак, перед нами осуществленная утопия с претензией на мировое господство.

Эта осуществленная утопия находится в двойственном положении по отношению и к миру (в пространстве), и к истории (во времени). С одной стороны, она предлагает и навязывает себя всему остальному человечеству, как бы открывая ему объятия и предлагая войти в круг великой победившей идеи. С другой стороны, она всячески отгораживается от остального мира как от среды чужеродной и опасной. Идея капиталистического окружения, хотя такового уже не существует, играет роль моря, в котором расположен этот остров, как и подобает Утопии. Утопия охватывает огромный уже материк, все расширяясь и расширяясь, но продолжает рассматривать себя как остров в океане. Крайняя экспансия сочетается здесь с крайним изоляционизмом. Ибо осуществленная утопия мыслит себя универсальной системой и доктриной. А вместе с тем она единственна и уникальна и не может допустить внутри себя никакой иной идеи.

И что-то сходное мы наблюдаем по отношению к истории. Здесь та же двойственность. С одной стороны, вся человеческая история рассматривается как медленная и необходимая подготовка к этому высшему этапу, которым все увенчивается. И поэтому мы наследники мировой истории и ее последнее слово. И поэтому все лучшие и передовые умы человечества нас предсказывали и нас предвидели. Под этим углом зрения все развитие человеческой мысли есть величайшая

утопия, которая наконец-то осуществилась в победившем социализме. Вся история человеческого рода несовершенна по сравнению с нашим временем, с достигнутым величием жить в эпоху реализованной идеи. И поэтому само слово «утопия» в советском употреблении получает подчас пренебрежительный смысл или оттенок. Утописты — это те, кто лишь мечтает и фантазирует на тему светлого будущего, не зная реальных путей к его достижению, в то время как мы это уже знаем и достигаем. Отсюда, из этого чувства и сознания собственного преимущества, осуществленная утопия всегда критикует прошлое, более или менее резко. До Маркса самые великие умы человечества, близкие нам по духу и по вкусу, в чем-то ошибались или что-то недоучли, не поняли, не могли предвидеть в силу своей классовой или исторической ограниченности. Извинением в лучшем случае может служить и служит то, что они еще не жили в эпоху созревающего или уже победившего социализма. Но это опять-таки внушает сознание собственного превосходства — исторического, социального, умственного и какого угодно. Поэтому, с одной стороны — в пространстве, как писал Маяковский:

У советских собственная гордость:
на буржуев
смотрим
свысока,

а во времени, в истории, выражаясь словами того же Маяковского:

... Битвы революций
посерьезнее «Полтавы»
И любовь
пограндиознее
онегинской
любви.

Чувство превосходства неизменно и неизбежно сопряжено с понятием «советский человек». Это следствие его принадлежности к наилучшему и наивысшему миру — к советской цивилизации, к осуществленной утопии. О счастье жить в советской стране и в советскую эпоху писало и пишет множество авторов. Но особенно точно это мироощущение выразил в 1935 году Юрий Олеша, сказав об этом несколько на интеллигентский манер, но уже с чувством человека, живущего в осуществленной утопии, в мире разума и порядка, какого еще не бывало в истории:

«Мы, юные поэты, не понимали, как страшен был мир, в котором мы жили. Этот мир не был объясненным миром. Это было до того, как произошло великое объяснение мира. Теперь я живу в объясненном мире. Я понимаю причины. Чувство огромной благодарности, которое можно выразить только в музыке, наполняет меня, когда я думаю о тех, кто погиб ради того, чтобы сделать мир объясненным, чтобы объяснить его и перестроить».

Весь этот интеллектуальный пафос прочно связан с известным марксистским тезисом, что раньше философы пытались объяснить мир, тогда как задача состоит в том, чтобы не только объяснить мир, но и перестроить его. Марксизм, а тем более ленинизм, упор и акцент переносят с теории на практику. С утопии — на ее осуществление. Сама эта практика, само осуществление для человека, впервые в этот мир попавшего, вдруг делают мир осмысленным, стройным и понятным. словно человек из какого-то темного, дремучего леса попадает в светлую и просторную казарму. Эта светлая казарма и есть советская цивилизация. Это не просто мечта, которая сбылась. Это научно построенная и научно организованная утопия. Это мир наконец-то целесообразный, который в свою очередь сооб-

щает целесообразность всему, что было до него и что происходит вокруг. Поэтому человек в нем не просто испытывает восторженные эмоции, но приобщается к строго продуманному плану бытия и находит себе и всему определенное место в этом уже реализованном чертеже и проекте.

Двадцатое столетие — это вообще век осуществленных или осуществляемых утопий. Причем утопии эти, осуществляясь, принимают чаще всего образ и форму идеологического или идеократического государства. Не политика и не одно национальное чувство движет образованием этих государств, и не только какие-то стихийные социальные процессы, но в значительной степени идеология, которая чаще всего обосновывает себя более или менее научно и осуществляется в материальном виде. Это явление заметно повсюду, будь то гитлеровская Германия или государство красных кхмеров. Мы не будем останавливаться на разнообразии форм и оттенков. Наша тема — советский вариант осуществленной утопии. Тем более, что Советская Россия первой это сделала, подав пример другим народам и доктринам. Этот процесс образования новых государств какого-то совершенно нового, идеологического типа, происходит в кратчайшие сроки и сопровождается колоссальными общественными потрясениями. Идея, побеждая, подверстывает к себе жизнь всего народа и общества и перестраивает мир по своему подобию.

Главенство идеи видно даже там, где ей, согласно ее собственной логике, отводится вторичная роль. Это видно в марксизме, на примере того, как он осуществлял себя в Советской России в качестве руководящей идеи. Осуществлял вопреки собственному учению о том, что социалистическая революция должна произойти в первую очередь в промышленно развитых

странах, где пролетариат составляет большую часть населения и где экономика подготовлена к переходу на социалистический путь. Вопреки даже основному, исходному положению марксизма, что бытие определяет сознание, определяет идею, а не наоборот. На практике же идея переделывает и перебарывает все.

В романе Бориса Пильняка «Голый год», который был написан в 1920 году, есть любопытная сцена, где разговаривают два большевика. Это люди особой породы, которых очень мало, но они-то и стараются побороть идеей действительность, превратив нищую, темную, страшную Россию в светлый мир социалистической утопии:

«... Вечером, в общежитии, разувшись и пальцы после сапог руками сладко размяв, на кровать к лампочке забравшись как-то на четвереньках, Егор Собачкин долго брошюрку читал и обратился к соседу в «Известиях» зарывшемуся:

— А как думаешь, товарищ Макаров, жизнь людскую бытие определяет, или идея? Ведь так подумать, и в идее-то бытие».

И это не Пильняк сочинил. Таких примеров в истории советской цивилизации можно найти великое множество, когда идея ощущает себя бытием и даже важнее бытия, а если бытие не может или не хочет соответствовать идее, — тем хуже для бытия... Известен марксистско-ленинский тезис, что Маркс диалектику Гегеля поставил с головы на ноги. Но вот что замечательно: сам марксизм, осуществившись на практике, встал на голову, и в основание нового общества была положена голова. Отныне сознание стало определять бытие. Идеология — политику, а политика — экономику. Научная марксистская утопия осуществилась, но, можно сказать, навыворот, вверх ногами.

Не случайно в литературе XX века такое развитие

получил жанр «антиутопии» — начиная с «Мы» Замятина и продолжая романами Хаксли, Оруэлла или Брэдбери. Предвестником и этого жанра оказался у нас Достоевский — с его «Легендой о Великом Инквизиторе», с проектами Шигалева и Верховенского в «Бесах». В антиутопии Достоевского при его жизни мало кто верил. Поверили мы, на себе испытав опыт XX века, оказавшись в мире реализованной утопии, познав на практике что почем. В жанре «антиутопии» не только декларируется отказ от утопии, но изображается осуществленная утопия, реализованный абсолют. Другая сторона вопроса — как и почему идеал, претворяясь в действительность, меняется порой до неузнаваемости.

К этому надо прибавить, что в XX веке земная кора вообще пришла в движение, и в истории стал особенно заметен переход от идеи к действию, к делу, причем к делу больших масштабов и резких перемен. Девятнадцатый век выглядит отсюда как столетие спокойное, умеренное и относительно бессобытийное.

Для простоты сравнения позволю себе сослаться на собственный читательский опыт. Как-то мне довелось просматривать солидные русские журналы самого конца прошлого столетия и кануна нового века. Там были большие обзорные статьи на тему ближайшего будущего, прогнозы на новый век. Это были, помнится, толстые либеральные издания вроде «Русского Богатства» и «Вестника Европы», статьи писали почтенные ученые, профессора, историки и социологи, они делились с читателями своими соображениями и ожиданиями: каким он будет, этот наступающий век.

Предсказания, которые делаются подобным образом, то есть путем объективного научного анализа современности, — редко сбываются. В них проецируются в будущее устойчивые тенденции текущего момента.

И будущее, в результате, выглядит как продолжение настоящего, только усиленного и улучшенного. В новогодних посланиях и прогнозах на новый XX век преобладали прекраснодушные и самые радужные построения, в соответствии с передовыми идеями и нормами XIX столетия. Высказывалась твердая убежденность, что войны в XX веке окончательно прекратятся. Во всяком случае среди цивилизованных народов. Ибо войны в современных исторических условиях крайне нерентабельны и уже теперь имеют тенденцию затухать и сворачиваться. Войны все более и более принимают узкий, местный характер и локализуются, наподобие англо-бурской войны, происшедшей как раз на рубеже двух столетий. И даже серьезная франко-прусская война 1870 года носила достаточно локальный, ограниченный характер. А последняя по-настоящему большая война — нашествие Наполеона — относилась к самому началу XIX века и казалась далеким и нереальным отблеском древности, неудачной романтической попыткой повторить Юлия Цезаря. В будущем подобного рода войны начисто исключались. Нынешнее развитие европейской цивилизации, промышленности, науки и техники делает такие войны, попросту говоря, невозможными. Поскольку они экономически невыгодны даже нападающей и побеждающей стороне. Ибо они сулят разорение всеобщему хозяйству, все более принимающему характер взаимосвязанного, всемирного рынка и производства. Политические, международные конфликты отныне куда удобнее, нормальнее и логичнее решать не путем войны, а путем торговых сделок и дипломатических переговоров...

Когда читаешь подобного рода обзоры и прогнозы, они завораживают своей научной убедительностью — логикой, фактами, статистикой, аргументацией. И ка-

жуются неопровержимыми. И только вспомнив, что мы живем все-таки уже в глубине XX века и пережили за это время мировые кризисы и катаклизмы абсолютно нерентабельные и алогичные с точки зрения здравого смысла, как-то приходишь в себя и, спохватившись, отбрасываешь эту научную иллюзию. Эта иллюзия навеяна сравнительно благополучным и мирным, прогрессистским и позитивистским XIX веком.

Преобладающее жизнеощущение и самочувствие XIX века выразил не Достоевский, а куда более спокойный и оптимистический Жюль Верн. В его прекрасных романах господствует, в общем-то, дух научного благодушия. Из пушки на Луну. Наутилус...

Все представляется спокойным, обещающим и, с течением времени, с ходом прогресса, вполне доступным. Решение всех роковых вопросов остается за прогрессом, который медленно, но неуклонно подвигает человечество к заветной цели. В этом смысле даже марксизм есть лишь более решительная разновидность теории прогресса, который сулит, хотим мы этого или не хотим, привести человечество к научному благоденствию. И действительно, наука с каждым годом делает успехи и подвигается к полному господству над природой. А параллельно происходит все большая и большая гуманизация человека и общества. Независимо от того, как это разрешится — эволюционным или революционным путем, — светлое будущее уже обеспечено.

И вдруг после всего этого развития, после всех этих поздравлений и ожиданий, мы попадаем не в гипотетический, а в реальный двадцатый век, в век осуществленных утопий. И все оказывается не так, как предсказывали ученые. Самые что ни на есть противоестественные войны и перевороты потрясают землю. Никакие торговые сделки и дипломатические отношения не

берутся в расчет. Цивилизованные народы впадают в варварство массовых казней и депортаций. Свет очей, Германия, вводит душегубки. Прыжок из царства необходимости в царство свободы оборачивается рабством, какое еще не снилось человечеству. Физика теряет меру и вес и становится относительной, достигнув высшей точки научно-технического прогресса — возможности тотального, вселенского самоубийства. Бомба ставит нас перед вопросом, что может быть конечная цель всемирного развития и заключается в том, чтобы жизнь, как таковая, навсегда исчезла, что жизни вообще не должно быть, и в этом итог и назначение человека. Словом, вся история, весь прогресс идет насмарку...

Потеря смысла в истории и новое его обретение

Великая утопия, или антиутопия (как ее ни называйте), не осуществилась бы в России, если бы не мировая война. Но я опять-таки сейчас беру не социальные и политические сдвиги, ею вызванные, а ее, войны, так сказать, интеллектуально-смысловую сторону. Война не имела смысла, не имела серьезных и широких разумных доводов. По сравнению с первой мировой войной, вторая мировая и даже Гражданская война были куда осмысленнее и понятнее. Первая же мировая напоминала кошмар или бред сумасшедшего именно отсутствием логики и разумной целесообразности. Спрашивается: зачем и почему цивилизованные народы Европы, достигшие относительно либерального правления и материального достатка, гуманизма и просвещенности, вдруг вверглись в эту бойню и начали истреблять друг друга в таких невероятных формах и размерах? Ответа нет. И эта бессмыслица войны убивала и угнетала, быть может, не меньше ее физического ужаса. В статье «Интеллигенция и революция» 1918 года Александр Блок писал о мировой

войне, из которой Россия уже практически вышла:

«Европа сошла с ума: цвет человечества, цвет интеллигенции сидит годами в болоте, сидит с убеждением (не символ ли это?) на узенькой тысячеверстной полоске, которая называется «фронт»... Трудно сказать, что тошнотворнее: то кровопролитие или то безделье, та скука, та пошлятина; имя обоим — «великая война», «отечественная война», «война за освобождение угнетенных народностей» или как еще? Нет, под этим знаком — никого не освободишь».

Естественно, возникал и разрастался вопрос: как вырваться из этой бессмыслицы? Возникло логическое требование или идея, которой и руководствовались большевики: лучше ужасный конец, чем этот ужас без конца! Лучше революция! И революция тем более необходима, что, очевидно, весь старый мир прогнил, если европейская цивилизация увенчивается таким кошмаром. Значит, мировая война — порождение этой цивилизации, которая где-то коренным образом, в своей основе, порочна.

Вот в этом плане идея мировой революции была как бы единственным выходом из тупика, в который зашла человеческая история. Предприятие рискованное, но что же делать? Это последний шанс выскочить из западни и обрести смысл. Или, как писал тогда же о революции Маяковский: «Это — последняя ставка у мира в игорне». Логика игрока? Логика отчаяния, быть может?.. Но любопытно, что примерно к той же логике прибегал иногда Ленин, пытаясь объяснить, почему же все-таки, вопреки законам марксизма, большевики решились на такой рискованный шаг, как социалистическая революция в отсталой, крестьянской России. Полемизируя с классическими марксистами, Ленин писал незадолго до своей смерти, как бы в чем-то оправдываясь:

«...До бесконечия шаблонным является у них (у традиционных марксистов. — А.С.) довод, который они выучили наизусть во время развития западно-европейской социал-демократии и который состоит в том, что мы не доросли до социализма, что у нас нет, как выражаются разные «ученые» господа из них, объективных экономических предпосылок для социализма. И никому не приходит в голову спросить себя: а не мог ли народ, «встретивший революционную ситуацию, такую, которая сложилась в первую империалистическую войну, не мог ли он, под влиянием безвыходности своего положения, броситься на такую борьбу, которая хоть какие-либо шансы открывала ему на завоевание для себя не совсем обычных условий для дальнейшего роста цивилизации?»

И эти шансы предоставила России революция как отчаянная попытка завоевать цивилизацию, заменив ее другой, новой, разумной советской цивилизацией.

И такая замена произошла. Победа революции для многих ее сторонников в России и на Западе была обретением смысла, великого, мирового смысла в истории, который тем сильнее захватывал и воодушевлял, что пришел на смену катастрофической бессмыслице первой мировой войны и на ее темном фоне. Сумасшествие сменилось разумным мироустройством. Человечество обрело цель и путь к цели. Я думаю, для многих и многих людей в течение многих лет в этом и заключалась притягательная сила революции и новой цивилизации, которую она утвердила, несмотря на все ужасы и потери, уже ею порожденные. Здесь действует примерно следующая логика — сознательно или бессознательно: пусть плохо, пусть эта осуществленная утопия во многом не такая, как мы ожидали и надеялись, но зато появился и есть ответ: зачем жить!

Человек вообще склонен задаваться вопросом о

смысле жизни, о цели существования. А русский человек, может быть, особенно склонен. По этому поводу Бердяев, например, писал еще в 1904 г.: «Русская тоска по смыслу жизни — вот основной мотив нашей литературы и вот что составляет самую сокровенную сущность русской интеллигенции...» Кстати говоря, поясняет Бердяев, эта жажда цели или тоска по смыслу жизни и определила радикализм, революционность русской интеллигенции, ее стремление служить народу, ее увлечение идеалами социализма.

И вот теперь революция вносила эту осмысленную цель и в ход истории, и в жизнь общества. Правда, при этом она лишала человека свободы. И потому значительная часть русской интеллигенции отшатнулась от революции. Но было довольно и тех, кто принимал революцию с ее последствиями, принимал именно за осмысленность нового бытия, нового этапа истории. К таковым, в частности, принадлежал Александр Блок. В той же его статье 1918 года «Интеллигенция и революция» мы находим не только типичное для него упоение стихией, но и упоение обретенным смыслом всемирной истории, который был потерян в бессмыслице мировой войны. Блок спрашивает о целях и планах революции: «Что же задумано?» И отвечает:

«Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью.

Когда такие замыслы, искони таящиеся в человеческой душе, в душе народной, разрывают сковывавшие их путы и бросаются бурным потоком... — это называется революцией. (И далее — предостерегая интеллигентов. — А. С.) ...Горе тем, кто думает найти в революции исполнение только своих мечтаний, как бы высоки и благородны они ни были. Революция, как грозо-

вой вихрь, как снежный буран, всегда несет новое и неожиданное; она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своем водовороте достойного; она часто выносит на сушу невредимыми недостойных; но — это ее частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного и опустошительного гула, который издает поток. Гул этот все равно всегда — о великом». Подразумевается — о великом замысле, о прекрасном мироустройстве.

И с этих позиций великого исторического смысла Блок набрасывается с упреками на интеллигенцию, которая чуть ли не сто лет мечтала об освобождении народа и своим радикализмом подтачивала устои старого общества. А теперь, когда этот старый мир рухнул и народ в революции показал свое истинное лицо, она кидается в обратную сторону и пытается тушить пожар, который сама же разжигала. Конечно, в этих метаниях интеллигенции из стороны в сторону было много непоследовательного и даже комического. Смешно, например, когда Бальмонт, ранее воспевавший революцию, пишет, обращаясь к самому себе:

Ты ошибся во всем: твой любимый народ,
Он не тот, что мечтал ты, не тот.

Но за всем этим стояла и проявлялась непоследовательность самой истории, которая реализовала совсем не ту утопию, о которой мечтали русские интеллигенты. В конце концов непоследовательным оказался и Александр Блок, задохнувшийся в тесноте несвободы того прекрасного мира, который перед ним открылся.

В революционные и послереволюционные годы интеллигенция пережила тяжелейший внутренний кризис, последствия которого не прошли до сих пор. Я не имею сейчас в виду физическое истребление интеллигенции или ее вынужденный разрыв с родной землей.

Внутренний кризис, о котором сейчас речь, можно назвать кризисом смысла жизни. Потому что колоссальный смысл, предложенный новой эпохой, предлагался на условиях, труднодоступных для свободно и честно мыслящего человека. Отсюда все эти метания из красных в белые и обратно.

В год смерти Блока, в 1921 году, в белой эмигрантской среде возникает движение «сменовеховцев», которое объединяется одним чувством. Это, как они заявили, «интуиция величия русской революции». То есть та интуиция, которую Блок проявил в первые же дни революции (“гул революции всегда о великом”) и которую вдруг и так поздно обнаружили люди, с этой революцией боровшиеся и потерпевшие от нее поражение. Рассмотрение конкретных черт движения «сменовеховцев» увело бы нас сейчас далеко в сторону. Я упомянул о них лишь потому, что хочу сослаться на любопытное свидетельство интеллектуального вождя этой группы — Н.Устрялова. В статье 1921 года «Интеллигенция и народ в русской революции» он говорит о страшном кризисе духа (или по нашей терминологии о кризисе смысла), который пережила интеллигенция в годы революции:

«Страшный суд прошел (он имеет в виду революцию. — *А.С.*) — суд над духом и плотью русской интеллигенции. И вот она увидела воплощенными мечты свои (т.е., по нашей терминологии, воплощенную утопию. — *А.С.*) в их крайних выводах, в их предельно последовательном и четком выражении... Она познала плоды дум и дел своих.

Волевые, бесстрашно верные себе ее элементы (имеются в виду большевики. — *А.С.*) грозою и бурей воплощали прошлое ее в настоящее (т.е. мечты — в жизнь. — *А.С.*). «Монахи воинствующей церкви — революции», они не испугались никаких инквизиций для

реализации «золотого сна». Но масса, но «армия» интеллигентская содрогнулась. Эти реальные образы жизни показались ей страшными и безумными, и с ужасом отшатнулась она от них. Почувствовала, жизненно постигла всю ту бездну духовной опустошенности, в которой прежде видела высший закон мудрости (имеются в виду идеалы революционной, атеистической интеллигенции. — А.С.). И когда погасли в ее сознании эти традиционные «светочи», ее ослеплявшие, — в наступившей тьме засияли светила подлинных и глубоких ценностей, ей прежде чуждых и далеких (эти подлинные ценности, по Устрялову, понятия нации, отечества, традиционной государственности, религии и т.д. — А.С.).

Но ее воплощенное прошлое (т.е. осуществленная утопия.— А.С.) не простило ее отступничества. Вызванное к жизни и к власти, в своеобразном единении с пробужденной народной стихией, оно потребовало ее (интеллигенцию) к ответу. Произошла трагическая борьба, в которой восставшая против себя самой, против своей истории, армия русской интеллигенции была разбита наголову».

Здесь речь идет не столько о борьбе красных и белых, сколько о духовно-интеллектуальной борьбе, о борьбе идей. И хотя большие интеллектуальные силы не соглашались принять революцию и ей сопротивлялись, эта среда (назовем ее условно белой) не обладала столь развитой и универсальной идеей, какой располагали красные. Старые революционно-демократические традиции были разбиты или полиняли от встречи с реальностью революции. А новообретенные ценности в виде религии, нравственности, национального чувства и т.д. были весьма расплывчаты, лишены перспективы, лишены, я бы сказал, великого исторического смысла.

Тот же Устрялов в другой статье вспоминает свои размышления и разговоры в начале 1919 года, в стане белых, к которому он тогда принадлежал. Вот он делится со своим товарищем впечатлениями от пребывания у белых:

«Я не мог удержаться, чтобы не высказать своего впечатления, меня мучившего, но непреодолимого:

— Конечно, дай Бог победу Колчаку, и хочется верить, что победа будет. Но, знаете, все-таки, несмотря ни на что, — насколько ярче, насколько интереснее лицо Москвы, чем здешнее... Все-таки пафос истории — там ... А здесь, — здесь достаточно пойти в «Россию», чтобы охватило сомнение... Это не новая Россия, это не будущее... Бывшие люди... Что-то не то...»

Конечно, идеалы белого движения в нравственном отношении были, вероятно, не менее высокими, чем идеалы красных. Но это, как правило, идеалы прошлого России, а будущее рисовалось весьма неуверенно, мелко и противоречиво. Поэтому «пафос истории» для Устрялова, сторонника белого стяга, оказался в красной Москве.

Фантазии и рационализм революции

Внесение цели и смысла в историческую перспективу, перестройка всей жизни на революционных или социалистических основаниях строго ограничивали возможности человеческой самостоятельности, проявления личной и общественной воли, если она не совпадала с волей государства и партии. Но, с другой стороны, на первых порах этот новый миропорядок был еще не обжит. И государство, которое только складывалось, просто физически не могло все полностью регламентировать и привести к единому стилю или стандарту. Да и сами стандарты не были еще выработаны во многих областях. А старые нормы и правила были либо разру-

шены, либо подвергались оспариванию и находились под вопросом, поскольку, по идее, в новом обществе все должно быть новым. В результате возникали пустоты, и государство нуждалось, чтобы они были заполнены каким-то притоком свежих сил и даже идей. Если старые кадры так называемых «спецов» оно просто использовало, ставя их под строгий контроль, то куда более радушно встречало оно и призывало к сотрудничеству и совместному строительству так называемые массы и давало им более широкие полномочия. Ведь государство действительно хотело быть рабоче-крестьянским и рассчитывало на добрую волю этих миллионов. А установленное равенство и даже первенство этих низов порождало в них революционный энтузиазм и жажду приобщиться к новому свету и воздуху. Словом, ожидалось взаимное довольство и совместное творчество.

Конечно, бывали и казусы. Потому что реальные условия жизни простых людей не так уж изменились, а порой изменились к худшему. Но партия рассчитывала на ответную любовь. В воспоминаниях о Ленине Крупская рассказывает об одном забавном эпизоде с уборщицей, которая мыла полы в Смольном:

«Как-то раз в первые дни после революции идет Ильич по лестнице, видит: она моет лестницу, устала, стоит, опершись на перила. Ильич с ней заговорил. Она тогда не знала еще, кто это. Ильич ее спросил: “Ну что, товарищ, как теперь, по-вашему, лучше при Советской власти, чем при старом правительстве жить?” А она ему ответила: “А мне что, платили бы только за работу”».

Но далеко не всякий проявлял такую классовую незональность. Очень и очень многим при Советской власти жить стало если не лучше, то, во всяком случае, веселее. И потому, в частности, что появился какой-то

высший смысл в существовании: открылись пути и к руководству, и к элементарным знаниям, и к творчеству. И эти настроения поддерживались сверху, поощрялись и подогревались, доколе они не вступали в разноту с партийной политикой. Вот на этой-то основе обретенной цели в жизни, личной и исторической, складывалась новая демократия, демократия при отсутствии демократических свобод, демократия под властью диктатуры, государственной или партийной, но все же опекающей эту низовую среду. И на первых порах в народе происходит в широких размерах пробуждение творческой энергии, которая проявлялась по-разному, но складывалась в панораму осуществленной утопии. Вчера пастух, а сегодня командует полком или армией, — это ведь тоже в некотором роде воплощенная утопия. Вчера портной, а сегодня комиссар. Вчера неграмотный, а сегодня читает по складам газету «Правда» и все понимает: понимает, что он человек, хозяин, и поэтому читает нарочито громко, чтобы все слышали.

У меня в раннем детстве, в самом конце 20-х годов, был в коммунальной квартире, в Москве, сосед из деревни, который по вечерам сам для себя читал вслух газету, да так громко, что никому не давал покоя. А когда его просили читать потише, страшно сердился и даже дрался, полагая, что опять ущемляют его классовое достоинство. Позднее он включал на полную мощность радио. Все это может быть смешным или возвышенным, трогательным или страшным. Но все это свидетельствует о пробужденной творческой энергии народа, о жизни не просто так, но в объясненном и осмысленном мире.

И понятно, что эта среда, опять-таки главным образом в начале своей революционной самостоятельности, порождала очень много всевозможных утопий. Это отвечало духу времени. Если одна главная утопия осу-

ществилась, то почему же не изобрести другие, продолжив и проложив тем самым наше общее, революционное продвижение к коммунизму.

Такой утопией, осуществившейся лишь частично и вскоре упраздненной государством, которое ее и вызвало к жизни, — были, например, «Пролеткульты» — массовые организации по созданию самой высшей и самой чистой Пролетарской культуры — силами самих рабочих. А в другой сфере — научно-технической — массовое изобретательство — силами рабочих-самоучек и просто никому не известных умельцев. Такие умельцы всегда водились на Руси. Но теперь они словно пробудились от сна и стали засыпать высшие научные инстанции всевозможными проектами, порою самыми удивительными, но чаще нелепыми и сумасбродными.

Но не только низы были подхвачены этим утопическим вихрем. В нем приняли активное участие левые круги художественной интеллигенции — футуристы. Их пафос отверженных ранее бунтарей, их изобретательство, стремившееся искусство претворить в жизнь, а жизнь в искусство — в так называемое «жизнестроительство» или «жизнетворчество», как-то совпали с духом революции и открывавшемся полем практической фантастики. Впоследствии, довольно скоро, государство расправилось с футуристами, объявив их пережитками буржуазного прошлого, но первоначально футуристы заметно окрашивали собою эпоху осуществленной утопии. Просто у государства почти не было тогда под руками иной квалифицированной художественной интеллигенции, которая бы с ним искренне и активно сотрудничала. Да и каким должно быть искусство победившего пролетариата — государство еще толком не знало.

У нас нет возможностей останавливаться здесь на

судьбах, на истории этого левого движения. Но я хотел бы подчеркнуть у футуристов пафос революционно-утопического строительства, фантастики, изобретательства, стремление из сферы эстетики вылиться в жизнь, на улицу, совпав с самой революцией. Это и позволило им до некоторой степени и на некоторое время эстетически окрасить собою эпоху наиболее адекватно и наиболее, быть может, достойно, с художественной точки зрения. Поскольку футуристы занимались искусством, их утопия была относительно безвредной. А проекты были грандиозными и как бы под стать открывающимся историческим горизонтам. Сошлюсь на «Открытое письмо рабочим» Маяковского, написанное в начале 1918 года, где фантастические иносказания и уподобления по части эстетического строительства и эстетической организации мира говорят сами за себя:

«Никому не дано знать, какими огромными солнцами будет освещена жизнь грядущего. Может быть, художники в стоцветные радуги превратят серую пыль городов, может быть, с кряжей гор неумолчно будет звучать громовая музыка превращенных в флейты вулканов, может быть, волны океанов заставим перебирать сети протянутых из Европы в Америку струн. Одно для нас ясно — первая страница новейшей истории искусств открыта нами».

Самой колоритной фигурой среди русских футуристов, самой яркой и возвышенной по части утопических построений был Хлебников. Хотя как поэт и мыслитель он сложился раньше, свои утопии с наибольшей широтой и силой он развернул именно в первые годы революции. Хлебникову казалось, что его поэмы-проекты и отвечают как раз наилучшим образом новой всемирной цивилизации. Этот новый дом, эту осуществленную утопию он хотел своими открытиями

улучшить, оснастить и расширить. Практически, конечно, он был здесь не у дел, почитаемый лишь узким кругом друзей-футуристов. Но его утопии позволяют нам понять интеллектуальный замах, на который, казалось вначале, были рассчитаны новая эпоха и общество. Это, так сказать, неосуществившиеся потенции эпохи, дух утопизма, революцией отчасти воспринятый, возбужденный и ею же потом уничтоженный.

Впрочем, сам Хлебников к своим построениям относился не как к утопиям и фантазиям, но с полной научной серьезностью и видел в них открытие величайших законов мироустройства. Эти открытия, думал он, позволят людям будущего радикально изменить и свое миропонимание, и образ жизни. Хлебников отвечает нашему столетию — своей научностью, своим утопизмом, своей устремленностью в будущее.

Революционная утилитарность

Пора на этот процесс взглянуть с другой стороны — со стороны прямой утилитарности. Практика вправляла утопию в реальные рамки и позволяла от высоких слов и идей перейти к действиям, к строительству нового мира. Утилитарный пафос обеспечивал утопическую фантастику реальной, рациональной базой и вместе с тем ограничивал и корректировал фантазеров, заставляя опуститься с неба на землю и не возвышенно мечтать, а делать полезные вещи.

В левом художественном движении вскоре после революции намечается новый и очень резкий крен в сторону материальной практики, в сторону утилитарных задач, вплоть до уничтожения эстетики во имя пользы. Перемена тем заметнее и тем сильнее бросается в глаза, что до революции русский футуризм проявлял себя в основном как искусство чистой формы, как искусство для искусства. Но внутри футуризма заключалось то

стремление к действию, та энергия, которые и позволили ему перейти от чистой эстетики, от «слова как такового», в область пользы и только пользы. Эстетические лозунги сменились крайне утилитарными. Футуризм на первых порах после революции не перестал фантазировать, напротив, даже подпрыгнул в создании утопических проектов, большинство из которых оставались на бумаге. Но он внес громкую рационалистическую и производственно-утилитарную ноту в новые построения. Ведь даже Хлебников свои сказочные планы — в области покорения времени и языка — рассматривал не как игру поэтической формы или ума, но как самое рациональное и полезное предприятие. Еще более резко и прямо от теории к практике, от эстетических затей к делу перешло боевое и наиболее революционное ядро русских футуристов во главе с Маяковским. Пафос утилитарности, в сочетании с фантастикой, всего яснее выразил Маяковский в поэме «150 000 000», где поэт высказывает небывалую страсть к действию, причем к полезному действию, и по признаку утилитарности распределяет все вещи:

Идти!
 Лететь!
 Проплывать!
 Катиться! —
 всего мироздания проверяя реестр.
 Нужная вещь —
 хорошо,
 годится.
 Ненужная —
 к черту!
 черный крест.
 Мы
 тебя доконаем,
 мир-романтик!
 Вместо вер —
 в душе

электричество,
пар.

Вместо нищих —

всех миров богатство прикарманьте!

Стар — убивать.

На пепельницы черепа!

Ленин, не понимавший поэзии, а тем более поэзии гипербол и метафор, назвал эти строчки Маяковского хулиганством и возмущался, почему их печатают в государственном издательстве. Но Маяковский выражал дух революции, сочетавший возвышенные идеи с конкретными действиями, утопизм с самым грубым материализмом (поэтому душа, одержимая религиозной идеей, состоит из электричества и пара). Маяковский перелагал ленинский лозунг «грабь награбленное» (или «экспроприация экспроприаторов») на возвышенно-романтический лад и предлагал «прикарманить» не чужие деньги, а богатство всех миров во вселенной. Высокий романтизм и фантастику он опускал на утилитарные рельсы, деля вещи на нужные революции и ненужные. А поскольку старое для футуриста-Маяковского это ненужное и отжившее, он предлагает в обычном своем гиперболическом стиле черепа стариков пускать на производство пепельниц. Пепельница — полезная вещь...

Маяковский здесь, конечно, явно завывшал ставки. Но ведь и Ленин, весьма далекий от футуризма, относился к проблеме жизни и смерти утилитарно, предлагая оставить для жизни, в общем-то, только полезных людей. Ленин весьма заботливо относился к здоровью своих товарищей и сотрудников. Но предлагая или даже заставляя лечиться, он постоянно прибавлял в шутку и всерьез, что пренебрегая своим здоровьем, они растрачивают «казенное имущество» и, следовательно, совершают должностное преступление. Так он от-

носился и к самому себе и ко всем людям, рассматривая все с утилитарно-практической точки зрения.

Задолго до революции, в 1911 году, во Франции, покончила с собой чета Лафаргов. Это самоубийство было вызвано тем, что, достигнув преклонного возраста, они решили, что не могут больше приносить пользы обществу. Это были видные марксисты, к тому же супруга Лафарга была дочерью Маркса, а сам Лафарг в свое время был членом Парижской Коммуны. То есть покончили самоубийством идейно близкие Ленину и дорогие ему люди. И вот реакция Ленина на эту смерть. В своих воспоминаниях Крупская сообщает, что сказал Ленин по поводу самоубийства Лафаргов: «Если не можешь больше для партии работать, надо уметь посмотреть правде в глаза и умереть так, как Лафарги».

С точки зрения Ленина, цена жизни человека исчерпывается его пользой для дела партии. По сути, о том же в преувеличенно-футуристическом стиле писал Маяковский: «Стар — убивать. На пепельницы черепа...»

Революция поставила перед футуризмом определенную цель, и внутренняя логика развития этого течения направила его от поисков чистой формы к деланию полезных вещей. Все это вылилось в движение «Искусство — в производство», «От картины — к ситцу», то есть от станковой живописи к работе в текстильной промышленности. Художники-беспредметники перешли к деланию полезных и вполне конкретных предметов — стульев, столов, машин, ситца, архитектурных проектов и прочих сооружений. Это и было движением беспредметного, левого искусства — в производство, тем, что на Западе получило название «дизайн». Но русский «дизайн» того времени отличался от западного: это не было просто влияние на эстетику

современной индустриально-технологической культуры, — это было принесение искусства в жертву производству. Поскольку производство у нас теперь социалистическое и охватывает всю жизнь в ее движении к будущему, перед искусством стоят великие строительные задачи. Таким образом все было пронизано идеей цели и пользы, которую принесла осуществленная утопия.

В этом переходе стройки футуризма на рационально-утилитарную базу и работу, проявилась типично русская черта. И футуристы, отрицавшие все традиции, сами того не ведая, ее подхватили и выразили, воодушевленные новой, революционной идеей. Русская интеллигенция еще в прошлом столетии была поражена идеей общественной пользы, причем пользы не своей, не индивидуальной и не сословной, но пользы всеобщей, всенародной и даже всемирной. Многие русские интеллигенты жили не для себя, а для пользы дела, и все оценивали с точки зрения этой всеобщей пользы. Что, в конечном счете, и привело их к революции и социализму на определенном всемирно-историческом этапе.

«Футуристические» задатки с упором на крайнюю утилитарность периодически встречаются в истории русской общественной мысли. То, что сделал Маяковский, пойдя работать в Окна РОСТА, для полезной агитации и пропаганды, для претворения слова в дело, задолго до него сделал Гоголь, вместо художественных творений написав утилитарно-практическую книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». Что-то похожее совершил Лев Толстой, предав анафеме эстетику во имя нравственной пользы. Подобные тенденции в ослабленном виде можно уловить в творчестве позднего Пастернака. Словом, на самой разной основе периодически возникает конфликт между искусст-

вом и пользой, между идеей самооценности вещи (любой вещи) и ее назначением или высшей целью. Возникает вечно-русский, вековой вопрос: что важнее, «красота» или «всеобщее благо», Аполлон Бельведерский или печной горшок, художник или сапожник. Этот конфликт возникает независимо от мировоззрения автора — будь он православным христианином или марксистом, будь он футуристом или народником. Общее тяготение склоняется в сторону пользы, то есть великой цели, за счет эстетики и в ущерб независимой личности.

В девятнадцатом веке это склонение к цели и пользе наиболее резко и прямолинейно проявилось в умственном и литературном движении так называемых «шестидесятников», или нигилистов 60-х годов, во главе с Чернышевским и Писаревым. Этот тип нигилиста-шестидесятника воплощен в романе Тургенева «Отцы и дети» в лице нигилиста Базарова. Базаров был убежден, что «сапожник нужен, портной нужен, а Рафаэль гроша медного не стоит», что «порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта». Вплоть до окончательных выводов и необходимости пожертвовать собственной личностью. Или как говорит Базаров: «Решился все косить — валяй и себя по ногам...»

Что-то подобное происходит с русскими футуристами, которые начинали с идеи самооценной и самодовлеющей формы, с искусства для искусства, а кончили призывом к уничтожению эстетики, совершенно самостоятельно повторив доводы шестидесятника Базарова. Сошлюсь на статью Осипа Брика, виднейшего теоретика футуризма на новой, революционной основе, автора призывов «от картины — к ситцу» и «искусство — в производство», ближайшего друга и сподвижника Маяковского. Статья Брика была написана в 1919 году в разгар революции и называлась «Худож-

ник и Коммуна». Под словом «коммуна» понималось новое общество в целом и не только на сегодняшний день, но и в образе грядущей утопии. Брик сравнивает художника с работниками других полезных профессий:

«Сапожник делает сапоги, столяр — столы. А что делает художник? Он ничего не делает; он «творит». Неясно и подозрительно... Коммуне ни жрецы, ни дармоеды не нужны. Только люди труда найдут в ней место. Если художники не хотят разделить участь паразитирующих элементов, то должны доказать свое право на существование».

Далее Осип Брик приводит различные старые определения искусства и последовательно их отмечает за полной непригодностью и ненужностью для революции, для пролетариата, для будущего. Первое определение — в духе старого реализма:

«Художник отражает жизнь.

Кому это нужно? К чему отражение, если в распоряжении вся жизнь? Кто предпочтет копию оригиналу?

Художник отражает жизнь по-своему.

Тем хуже! Он ее, значит, искажает.

Художник служит красоте.

Здесь полная аналогия с монахами. Где-то там, в монастырях, служат Богу. Монахам в Коммуне не место».

Итак, искусство в старом понимании, с точки зрения Брика, должно исчезнуть, погибнуть.

«Погибнет их буржуазное искусство. Погибнут художники, которые только умеют «творить» и «где-то там служить красоте». Но есть другие художники. Они делают вполне определенное, общественно-полезное дело. Такой труд даст художнику право встать рядом с другими трудовыми группами Коммуны, с сапожниками, со столярами, с портными».

Все эти доводы напоминают рационалистическую логику Базарова: сапожник важнее и полезнее художника. И, следовательно, художник должен либо сгнуться, либо превратиться в сапожника, то есть сделаться полезным членом общества и войти в производство. Традиционно-русская готовность пожертвовать искусством ради дела самой жизни и самого народа, пожертвовать красотой ради пользы была подогрета в новых условиях внесением великой, революционной цели во все, что человек делает и о чем он думает. Революция внесла в жизнь дух жестокой целесообразности, доходящий до аскетической нетерпимости ко всему, что на сегодняшний день кажется бесполезным. И этот целенаправленный, утилитарный дух революции впитал в себя футуризм, готовый пожертвовать самим футуризмом ради пользы дела.

Незадолго до смерти, на одном из последних своих выступлений, Маяковский получил из публики записку: «Маяковский, если бы для пользы пролетарской революции от вас потребовали бы писать ямбом, — вы писали бы ямбом или нет?»

И хотя Маяковский был решительным противником ямбов, как формы устаревшей и бесполезной, он вынужден был ответить: «Писал бы ямбом». Разумеется, он имел при этом в виду не просто опущенный сверху партийный приказ «писать ямбом», но, как было сформулировано в записке, — если бы это, действительно, потребовалось *для пользы революции*. И по-другому он ответить не мог, потому что «польза революции» им самим почиталась высшим критерием современного искусства и требованием, которому любая поэзия, в том числе сам Маяковский, обязаны подчиняться. Горькая ирония истории, ирония судьбы Маяковского и других революционных художников за-

ключалась в том, что «для пользы революции» потребовалось писать яблом...

Но идея утилитарности и напор утилитарности были неизмеримо шире художественной проблематики и охватывали, по сути, всю жизнь нового общества. Вместе с революцией человечество вступило в эпоху жесточайшей целесообразности. Все движения человека отныне определялись понятием пользы или вреда с точки зрения высшей, коммунистической задачи. Понятно, что в этих условиях главными носителями идеи и практики утилитаризма выступают в первую очередь сами большевики. Ибо им принадлежит первая и руководящая роль в том, чтобы утопию перевести в реальность и обратить идеал в дело, в повсеместное строительство. И крайняя утилитарность становится, может быть, наиболее важной, определяющей чертой в самом психологическом типе и характере большевика.

Прекрасную зарисовку этого психологического типа, этой особой большевистской породы мы находим у Бориса Пильняка в романе «Голый год». Перед нами не высшие, а низовые партийные работники, которые осуществляют революцию и социализм на местах, в провинции. Выходцы из народа, они еще сохраняют демократические черты своей социальной и национальной русской природы, но вместе с тем это люди словно уже другого, нового облика и сорта. В них преобладает деятельно-волевое начало, подчиненное законам жестокой регламентации и практической целесообразности. Они все время работают, вернее, «выполняют работу», потому что *работать* можно и на заводе или в поле, а большевикам полагается «выполнять работу» по заданию партии. В романе Пильняка этот военно-бюрократический стиль партийной организации передается уже самой одеждой большевиков. Как особая командующая каста, большевики носят

кожаные куртки, которые становятся как бы символом, мундиром этого ордена. Поэтому у Пильняка «кожаные куртки», и значит — большевики. Кожаные куртки подчеркивают их выделенность среди простого народа и вместе с тем их твердость, дисциплину, практичность, целенаправленность, революционный аскетизм. Среди них, среди «кожаных курток», действует персонаж по имени Архип Архипов, что сразу выдает его мужицкое, простонародное лицо.

«...В Исполкоме собирались наверху люди в кожаных куртках, большевики. Эти вот, в кожаных куртках, каждый в статью, кожаный красавец, каждый крепок и кудри кольцом под фуражкой на затылок, у каждого крепко обтянуты скулы, складки у губ, движения у каждого утюжны. Из русской, рыхлой, корявой народности — отбор. В кожаных куртках — не подмочишь. Так вот знаем, так вот хотим, так вот поставим — и баста... Архип Архипов днем сидел в Исполкоме, бумаги писал, брови сдвигая., перо держал топором. На собраниях говорил, слова иностранные выговаривал так: — *константировать, энегрично* (вместо энергично), *литефонограмма* (т.е. телефонограмма), *фукицировать* (вместо — функционировать), *бюджет*, русское слово *могут* — выговаривал — *магуть*... Просыпался Архип Архипов с зарею и от всех потихоньку книги зубрил: алгебру Киселева, экономическую географию Кистяковского, историю России XIX века (издание Гранат), «Капитал» Маркса, финансовую науку Озерова, счетоведение Вейцмана, самоучитель немецкого языка и — и зубрил еще маленький словарик иностранных слов, вошедших в русский язык, составленный Гавкиным».

Звучит этот список немного пародийно: перечислены самые популярные, простейшие издания, и вместе с тем эти скудные книги призваны в кратчайший срок

как бы охватить мир и приобщить человека к самым главным отраслям знания. Это не просто ликвидация безграмотности и не специализация в какой-то одной области, но учебные пособия для партийного руководства во всех областях жизни и хозяйства. И все науки берутся с прикладным, практическим уклоном. А иностранные слова, которые Архип Архипов поспешно заучивает наизусть, но выговаривает неправильно, это деловой и газетный язык новой цивилизации, новой утопии, которая возникает на развалинах старой России. Из этих иностранных слов особое ударение у Архипа Архипова и в романе Бориса Пильняка приобретает одна устойчивая формула: «энергично функционировать» или «энегрично фуункцировать». Это символ веры большевизма, с его волевой, деятельной и утилитарной хваткой. Правда, у Пильняка это звучит несколько нелепо и комично, ибо «фуункцировать» приходится посреди всеобщей разрухи и голода и «фуункцировать»-то особенно нечем. В этом сказывается утопизм всего предприятия, однако утопизм, имеющий ярко выраженную практическую направленность и рассчитанный на железную волю людей нового типа:

«“Энегрично фуункцировать!” — Вот что такое большевики. И черт с вами со всеми, — слышите ли вы, лимонад кисло-сладкий!»

«Лимонад кисло-сладкий» — это, конечно, старая либеральная интеллигенция, которая умела только болтать, вздыхать, но ничего не смогла сделать, склонная к красивым мечтам и возвышенной сентиментальности. А мы, люди в кожаных куртках, не мечтаем и не болтаем, а строим новое общество.

Вот эта пильняковская формула «энергично функционировать» очень точно передает дух и стиль большевизма, и шире — стиль новой эпохи в ее революционную пору. В этой связи я хочу сослаться на один за-

мечательный исторический документ. Он принадлежит Алексею Гастеву. Это чрезвычайно колоритная и характерная для того времени фигура. Гастев принадлежал к «пролетарским поэтам» и в этом качестве подавал большие надежды. К тому же в прошлом он имел серьезный опыт революционной работы и был, что называется, пламенным большевиком с незаурядными способностями. У него даже было прозвище «железный Гастев». И вот он бросает поэзию и переходит к утилитарной деятельности, осуществляя буквально скачок от искусства в жизнь, в жизнестроение, в житнетворчество. Гастев становится директором ЦИТа (Центрального института труда), где занимается проблемами научной организации современного индустриального производства, социального воспитания и, как тогда говорили, «культурного строительства» или «культурной революции». На эту тему им был прочитан в 1923 году доклад, выпущенный отдельной книжкой. Доклад назывался «Снаряжение современной культуры» и был обращен к передовой советской молодежи, которую Гастев называл «агентами культуры». От агента культуры требуется довольно много, но в первую очередь все в этом человеке должно быть проникнуто рациональной и практической утилитарностью, направленной на пользу революции. И душевное, и физическое его состояние регламентированы.

«Настоящий агент культуры, — говорит Гастев, — должен иметь хорошее расположение духа. Только это дает известную работоспособность, необходимую для того, чтобы раскачать спавший три века народ. Пускай хоть триста человек кончают самоубийством, но раз гудок — иди и пускай станок в ход».

«Надо стать артистами удара и нажима. Надо великолепно знать конструкцию ножа и молотка, дьявольски полюбить их... А такой инструмент, который явля-

ется синтезом этих двух инструментов, — красавец топор! Он должен быть таким же инструментом, каким является мяч при игре. Мы его должны возвести в совершенство и тогда достигнем мощности, о которой даже не грезим.

Необходимо научиться спать... Когда хотите отдохнуть, должны ляпнуться на кровать и в один момент достигнуть максимальной пассивности всех мускулов, как будто вы проваливаетесь сквозь землю... Надо уметь брать на учет все, что только находится вокруг нас. В овраге, в котором мы находимся, есть гнилое дерево: бери его на учет, и если там есть камень — на учет! Наконец, если ничего нет, бери на учет собственные руки, которые всегда грезят инструментом. Вот что называется делать революцию.

Если создадим какую-нибудь другую философию, она будет нас убивать, но не научит побеждать».

Конечно, нам трудно назвать все это философией, пускай она и учит побеждать. И трудно назвать «культурой», настолько вся культура и вся философия здесь сползают в утилитарность, притом в утилитарность людей нищих и малообразованных, от которых требуется только одно — чтобы они энергично «фукцировали». Но это и была советская цивилизация, не дорастающая до культуры, с уклоном в техницизм, в спорт, в учет и контроль. Контроль и над гнилым деревом, и над молотком, и над собственным самочувствием.

Это тоже своего рода утопия, хотя она и восстает против всякого утопизма и приобретает характер полезного и рационального действия. Но в «осуществленной утопии» мы всегда имеем две стороны медали. С одной стороны, для того чтобы осуществиться, она перестает быть утопией, не хочет быть утопией, переходя на язык практической пользы и дела. В этом смысле ее рационализм противостоит ее же утопичности и

эту утопичность теснит и даже в конце концов запрещает. Но сам этот рационализм и эта утилитарность приобретают порою характер утопический, правда, очень часто на вывороченный манер, в виде какой-то злой пародии на разумное мироустройство.

Чтобы показать, как все это переплеталось и переходило одно в другое, я приведу еще один документ — проект, по счастью не осуществившийся и, прямо скажем — дурацкий. Это проект реформы языка, литературного и разговорного, опубликованный частным лицом в 1919 году. Однако проект показывает, как далеко зашла революция в человеческих умах и как крайний рационализм и крайняя утилитарность принимали порой самую невероятную утопическую окраску. Автор проекта (некий Киселев) предлагает в кратчайшие сроки перестроить русский язык в соответствии с революционной действительностью и передовой, марксистской наукой. Дело в том, что в языке существует масса явных или скрытых метафор, которые звучат ненаучно и являются остатками религиозных, мифологических или антропоморфических представлений. Например, выражения и обороты типа: «пришла весна» или «солнце пряталось за холодные вершины» и т.п. И подобной ненаучной образностью полны сочинения и современных писателей, и классиков — Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Льва Толстого, которые нуждаются в исправлении. Например, Лев Толстой пишет в «Войне и мире»: «...ползут облака по этому высокому, бесконечному небу». А правильно, по-научному, следует написать: «облака двигаются в атмосфере нашей планеты». И свою реформу автор сопровождает следующим обоснованием, вполне рациональным и утилитарным:

«Россия переживает эпоху коренного социального переустройства общественных взаимоотношений. Основы капиталистического строя разрушены, и на раз-

валинах их создается новый общественный строй — социалистический. Этот строй может и должен покоиться на строго научных основах. Отсюда вытекает, что и язык при нем, по своему строению, должен строго соответствовать научным основам.

Исходя из научного понимания явлений суток и года, мы нашли, что выражения, будто они наступают, настают, приближаются к нам — неправильны и представляют из себя кляксы, пережитки, реакционные явления. То же самое должно сказать и о словах, посредством которых изображается индивидуальная и общественная жизнь человека и массы людей, вроде: наступил голод, пришла революция, приблизилась, пришла и наступила смерть и т.д. При научном понимании жизни человека и общественной жизни людей, — а при социалистическом общественном строе такое понимание обязательно для нас, — все эти явления есть ничто иное, как... процесс природы... Поэтому все приведенные выражения должны быть перестроены...»

Теперь представьте, в какую чудовищную антиутопию мы бы попали, если бы подобная реформа была произведена. Мы попали бы в мир, где люди говорят на мертвом, научно-исправленном языке и даже «Война и мир» и вся мировая литература публикуется в новой, исправленной, рациональной редакции...

Конечно, этот пример исключителен по своей глупости. Но и он отвечает общему духу осуществленной утопии, которая воспринимает себя как научно обусловленное и целесообразно построенное общество. И с этой точки зрения, самые страшные явления и процессы, определившие лицо советской цивилизации, покоятся на строго научных и утилитарных основах, будь то массовый террор или раскулачивание деревни, лагеря или цензура.

*Глава третья***ГОСУДАРСТВО УЧЕНЫХ. ЛЕНИН****Примат науки и разума
в духовной организации Ленина**

Но если низовые партработники «энергично функционировали», соединяя утопию с практикой, то кто же отдавал главные приказы? Кто сумел доказать, объяснить и заставить? Во главе Советской России после революции встало государство ученых. Конечно, возможны и другие повороты в трактовке и оценке этой диктатуры. Но именно этот поворот — государство ученых — представляется мне особенно интересным и важным в раскрытии нашей темы.

Уже марксизм рассматривает себя как науку, самую научную науку в отношении истории и человеческого общества. Ленинизм покоится на том же безграничном научном авторитете, дополняя свою правильность практикой, которая становится новым научным аргументом и по идее базируется на строго научном анализе конкретной исторической обстановки. После Октября, может быть, впервые в истории во главе государства встали не цари и не полководцы, не адвокаты и не герои, а, в первую очередь, мудрецы, ученые, которые и объявили свое правление диктатурой пролетариата. Разумеется, я беру здесь в расчет сравнительно небольшую, но сплоченную научную группу из числа верховных большевиков-интеллигентов, объединившихся вокруг Ленина. Все это не любители, а, можно сказать, научные специалисты политической борьбы и социальной жизни, и эту научную специализацию лучше всего передает образ самого Ленина.

В самой психофизической организации Ленина бросается в глаза несоразмерное преобладание головы,

которая работает наподобие громадного счетно-вычислительного устройства. В этом свете даже маловажные факты и детали его биографии начинают иногда говорить вдруг очень многое. Даже такая, допустим, анекдотическая подробность, что в раннем детстве Ленин имел обыкновение падать и стучаться головой, потому что она постоянно перевешивала. А умер Ленин от невероятного по размерам склероза сосудов головного мозга, как если бы это окаменение было результатом или итогом его колоссальной мозговой работы. При очень скромной и даже непрезентабельной наружности Ленин завораживал всех, кого мог, именно своей головой, своей логикой, которая заметно преобладала в его красноречии и в его мироощущении. Поэтому он и запечатлен многими мемуаристами, исследователями и поэтами с этим гиперболическим и как бы давящим все человечество или все спасающим черепом. Как писал Маяковский:

Тогда над миром вырос
Ленин огромной головой.

Он в черепе сотней
губерний ворочал,
Людей
носил
до миллиардов полутора,
Он взвешивал
мир
в течение ночи,
а утром ...

А утром, продолжим от себя, делал самые правильные, научные выводы. Наверное, только так и могла осуществиться утопия — не только физической силой, но и невероятно точным, интеллектуальным расчетом.

Но этот же примат интеллекта накладывает на лич-

ность Ленина печать какой-то нечеловеческой вымороченности. Как если бы на землю к нам явился какой-то большеголовый марсианин, опередивший развитие нашего мозга на несколько тысячелетий. Но таковым и был, в идеале, научный дух XX столетия. Даже сам Сталин со своими страстями, жестокостью и церковным культом собственной личности, мне кажется, понятнее Ленина. Непонятность Ленина именно в его всепоглощающем интеллектуализме. В том, что из-под его вычислений, из-под его аккуратного пера-карандаша проливаются моря крови, тогда как по натуре это совсем не злой человек. Напротив, лично он, Владимир Ильич, скорее добрый, и жестокость его обусловлена наукой и законами истории, против которых не попрешь. Так же как его властолюбие или его политическая нетерпимость. Говорят, Ленин был властолюбив. Вполне возможно. Но его властолюбие (если это властолюбие) начисто лишено упоения властью, так же как лишено тщеславия, гордости, высокой позы. Ленин рвется к власти, как если бы это было научно-необходимым условием правильной постановки опыта, социально-исторического эксперимента. Как если бы для всего этого была необходима голова, а другой достойной головы Ленин не видел и потому, не ради себя, а ради научной точности решения, — выходил в лидеры. Даже всем известная ленинская пристрастность и нетерпимость в политике и в идейных спорах сочетались у него с отсутствием личной мстительности, с отсутствием желания свести счеты с конкурентом и соперником. Возможно, вся его нетерпимость и пристрастность объяснялись тем, что он просто, как ученый, разложил по полочкам всех этих меньшевиков и эсеров, кадетов и западных социал-демократов и нашел им строгую научную классификацию, терминологию, от которой уже не мог и не хотел отступать. Ведь если

прочитать ленинские работы, построенные во многом на узкопартийной полемике, это весьма напоминает системы Линнея или Дарвина, но только применительно к социально-исторической раскладке XX столетия и к политической борьбе того времени. Как будто Ленин, ругаясь со своими противниками, старается посадить их, как бабочек, на иголку и разместить по клеткам в своей марксистской таблице. Ему важно установить строгий и рациональный порядок, установить контроль, выяснив, кто есть кто — не по обычным качествам мерзавца и негодяя, а по их видовой, родовой или классовой принадлежности.

Почти полное отсутствие у Ленина собственно человеческих пороков, столь свойственных обыкновенно диктаторам, делает его фигуру вдвойне жуткой. Ибо это говорит об отсутствии какого-то естественного органа в человеке, назовем ли мы этот орган сердцем, душой, свободой или как-нибудь еще. В Ленине отсутствует, я бы сказал, природная иррациональность, свойственная всякому человеку. И поскольку ничего другого, кроме мозга, в нем не остается, сам его рационализм принимает иррациональный оттенок.

Попробую это пояснить примерами, взятыми из самой простой, бытовой сферы. Незадолго до Октябрьского восстания в 1917 году Ленин жил конспиративно в Петрограде на одной квартире. Впоследствии хозяйка квартиры, партийка из того же круга, но женщина простодушная, описала, как жил у нее Ленин, описала просто и трогательно. Ленин жил в задней комнате, которая выходила окнами во двор, так что никто со стороны его не видел. А он все время, как водится, работал. Что-то писал. Но на этот двор иногда забредала какая-то итальянка, случайно заброшенная в нашу Северную Пальмиру во время войны, да так и оставшаяся. Она ходила по дворам и пела по-итальянски, собирая

милостыню. Хозяйка конспиративной квартиры знала итальянку и очень ее жалела, тем более что уличная певица была больна туберкулезом. Обо всем этом она рассказала Владимиру Ильичу. А Владимир Ильич с удовольствием, из своей задней комнаты, слушал пение, которое напоминало ему Италию, эмиграцию. Но он страшно удивился, когда однажды увидел, что его хозяйка опускает во двор на веревочке завернутые в бумажку мелкие деньги — милостыню итальянской певице, и спросил: — Зачем вы это делаете? Ведь все равно такие гроши ей не помогут! Хозяйка объяснила, что делает это из жалости. А Владимир Ильич искренне возмутился и все говорил о нелогичности и бесполезности всякой филантропии. И пустился объяснять, что когда произойдет социалистическая революция, которая тогда как раз подготавливалась, таких несчастных женщин больше не будет. Новое государство их трудоустроит. А тех, кто не захочет работать и будет продолжать тунеядствовать, мы насильно заставим заниматься полезным трудом...

Мне кажется, это удивление Ленина перед самым простым и маленьким жестом милосердия говорит не о его жестокости, но о его рационализме и логике, которые исключали естественные и заведомо нелогичные поступки или движения сердца.

Этот мозг работал безостановочно только в одном направлении — в направлении научного осуществления утопии.

А вот еще воспоминания о Ленине и опять в ту же сторону. Они относятся к 1904 году, когда Ленин находился в Швейцарии и к нему приехала его партийная сотрудница, революционерка Мария Эссен. Она рассказывает, как вместе с Лениным они гуляли по горам и однажды вскарабкались на высокую гору, откуда открывался потрясающей красоты ландшафт (следует

описание романтического ландшафта). И мемуаристка добавляет по поводу этих красот: «Я настраиваюсь на высокий стиль и уже готова декламировать Шекспира, Байрона. Смотрю на Владимира Ильича: он сидит, крепко задумавшись, и вдруг выпаливает: «А здорово гадят меньшевики!»»

Нам, с такого расстояния, трудно определить, чем вызвана эта реплика, которая на фоне швейцарского пейзажа звучит комически. Может быть, Ленин хотел снизить романтический восторг своей спутницы и придать общению более партийный и более утилитарный характер. Но скорее всего другое: Ленин не мог и не хотел отвлечься от своей главной тогда интеллектуальной задачи — борьбы с меньшевиками. И никакой пейзаж не мог его отвлечь от этого направления мыслей. Так безумный математик на лоне природы продолжает решать и доказывать теорему. Это по-своему трогательно, как с мягким юмором и преподносит мемуаристка. Но если вспомнить, насколько все это последовательно и упорно выражено в характере Ленина, то можно догадаться, что в его организме, в его душе что-то было атрофировано.

Как-то в годы революции Горький стал просить Ленина вступить за одну семью интеллигентов-либералов, которая была арестована. А в прошлом, до революции, эта семья укрывала в своем доме большевиков, спасая от царской охранки. Горький надеялся, что Ленин, в знак благодарности, проявит здесь известное снисхождение. Но Ленин весело рассмеялся и сказал, что на таких интеллигентов и следует обратить особое внимание ЧК. Потому что такие семьи по своей интеллигентской доброте и жалости всегда спасают гонимых и несчастных. Раньше спасали большевиков, а теперь спасают эсеров, и, следовательно, подлежат особому контролю и наказанию. Ленин рассуждал пра-

வில்но и вполне научно. Но чувство благодарности не входило в состав его научной логики.

Между тем Ленин вышел из интеллигентской среды и усвоил многие ее привычки — вплоть до личного бескорыстия и манеры вести себя скромно и просто по отношению к нижестоящим. И даже до небрежной манеры одеваться. Посреди своей военизированной диктатуры, посреди кожаных курток, Ленин оставался сугубо штатским человеком. Но этот штатский на другой же день после прихода к власти составляет подробную инструкцию «Обязанности часового при председателе Совета народных комиссаров». А чуть позднее входит во все подробности организации и деятельности ЧК. И не только в виде приказов и призывов расстреливать за малейшую провинность, но в виде специальных указаний — за кем и как следует установить наблюдение, как и в каком месте чекисты должны переодеваться, чтобы удобнее было следить и производить внезапные обыски. Он разрабатывает — цитирую его руководящее письмо 1921 года: «системы двойных и тройных внезапных проверок по всем правилам уголовно-разыскного искусства».

Когда читаешь эти послания Ленина в ЧК, со множеством разнообразных инструкций (они изданы в 1975 г., в Москве), возникает ощущение, что Ленин был не только создателем и вдохновителем ЧК, но обладал чутьем и наклонностями к полицейскому сыску. На самом деле это не так. Это — стремление поставить полицейский и карательный аппарат на высокую научно-техническую основу. С таким же усердием Ленин входил в любое дело — хозяйственное или военное, связанное с большой международной политикой или сбором утильсырья, преследуя рационально-утилитарные задачи и стараясь всюду, где только возможно, подключить науку. Забавный эпизод есть в его переписке

с Дзержинским в 1919 году. Какой-то изобретатель, каких, по-видимому, тогда было много, предложил применять магнит при обысках для обнаружения оружия. И вот Ленин требует от Дзержинского, чтобы применяли магнит как новейшее достижение «уголовно-разыскного искусства». Дзержинский ему отвечает, что магнит действует слабо. Но — цитирую Дзержинского: «Собираемся использовать его (магнит) для того, чтобы добровольно сдавали оружие под опасением, что магнит все найдет».

Это сродни указанию Гастева брать на учет и под контроль любое гнилое дерево, сродни формуле Пильняка «энегрично фукцировать» несмотря ни на что. И если магнит не помогает, надо им хотя бы пугать население — авось поможет. Но в данном случае нас интересуется Ленин, который после неудачи с магнитом продолжает настаивать:

«Поручить ВЧК подыскать двух товарищей, достаточно интеллигентных и подходящих к цели употребления магнетеологического аппарата для обнаружения спрятанного оружия, назначив им крупную премию за успешное применение вышеуказанного аппарата».

Столь велико было преклонение Ленина перед всемогуществом науки и техники. И эта научность заложена в Ленине с самого начала, как некое исходное свойство его личности. Крупская в своих воспоминаниях, как бы окидывая его взглядом со стороны, рисует нам образ Ленина в 1905 году, в Женеве, когда тот прилежно изучал науку восстания, прочитывая горы книг (в том числе и по военному делу, по стратегии и тактике вооруженной борьбы и т.д.): «Служащий «Societe de Lecture» был свидетелем того, как раненько каждое утро приходил русский революционер в подвернутых от грязи на швейцарский манер дешевеньких брюках, ко-

которые он забывал отвернуть, брал оставленную со вчерашнего дня книгу о баррикадной борьбе, о технике наступления, садился на привычное место к столику у окна, приглаживая привычным жестом жидкие волосы на лысой голове, и погружался в чтение. Иногда только вставал, чтобы взять с полки большой словарь и отыскать там объяснение незнакомого термина, а потом ходил все взад и вперед и, сев к столу, что-то быстро, сосредоточенно писал мелким почерком на четвертушках бумаги».

Вот вам образ ученого, пускай этот ученый и писал на четвертушках бумаги о том, как надо, до всякого еще восстания, нападать на городских и казаков, стрелять и метать бомбы, и ничего, если пострадают не причастные к делу прохожие: эта невинная кровь окупится великой целью, двигаясь к которой, мы на практике постигнем науку вооруженной борьбы и будем учиться, учиться и учиться...

Ленин — практик и утопист

Ленин был великим научным специалистом в области политической борьбы. Недаром он говорил, что душу марксизма составляет конкретный научный анализ конкретной исторической ситуации. То есть — соединение научной теории и жизненной практики, которая этой теорией обрабатывается и претворяется в новую реальность. Перед нами встает вопрос: был ли Ленин утопистом при своей логичности и научности, при склонности решать не абстрактные, а конкретные задачи, исходя из анализа конкретной ситуации? Я бы ответил: и да, и нет. Именно это сочетание и позволило ему осуществить утопию, переведя ее на практические рельсы.

Само слово «утопия» для него — понятие отрицательное. Ведь «утопия» означает фантазию, осуществ-

ление которой отнесено в более или менее отдаленное будущее. «Утопия» — это место, которого нет на земле и, может быть, никогда не будет. А Ленин стремился ее осуществлять сейчас и реально. Поэтому он терпеть не мог утопистов и частенько ругал этим словом каких-нибудь эсеров или других слишком восторженных и мечтательных социалистов, каких было очень много. И сила Ленина не в отвлеченной теории и не в прекраснодушных умопостроениях, но в умении научно взвесить и оценить положение и сделать рациональные выводы из сложившейся обстановки. Сошлюсь на четыре его открытия — может быть, самые главные и обеспечившие успех большевикам.

Это, во-первых, вычисленные Лениным точное время и политическая возможность Октябрьского переворота. Ведь большинство партийного руководства не решалось на этот шаг. Позднее Троцкий писал в своем Дневнике, что если бы Ленина не было тогда в Петрограде, никакой Октябрьской революции в то время не произошло бы. Один человек, Ленин, повернул историю, опираясь на точный деловой расчет и настояв именно в этот момент на вооруженном восстании, вопреки мнению многих своих соратников по партии.

Во-вторых, лозунг немедленного мира с Германией и Брестский мир, когда Россия, опять-таки по настоянию Ленина, внезапно вышла из мировой войны. В результате большевики получили поддержку громадных солдатских масс, что и обеспечило им победу. А продолжать войну с Германией, захватив власть, с точки зрения Ленина было бы явной утопией и привело бы к потере Октябрьских завоеваний.

В-третьих, НЭП как уступка крестьянству и крутой поворот после гражданской войны, который спас Советскую Россию от голода и разрухи, от волны крестьянских восстаний. Интересно, что, вводя НЭП в 1921

году, Ленин рассматривал предшествующий период «военного коммунизма» как период отчасти утопический. Утопизм состоял в том, что в условиях еще неокрепшей власти большевики рассчитывали немедленно установить коммунизм путем насильственного изъятия хлеба у крестьян и распределения этого хлеба среди рабочих. Об этом утопизме говорил сам Ленин в 1921 году (речь на 2-м съезде политпросветов) как об ошибочном проекте построения общества. «Мы решили, — говорил Ленин, имея в виду период военного коммунизма, — что крестьяне по разверстке дадут нам нужное количество хлеба, а мы разверстаем его по заводам и фабрикам, — и выйдет у нас коммунистическое производство и распределение...»

То есть сам Ленин признавал, что политика продразверстки была не просто вынужденным мероприятием военного коммунизма, а утопической попыткой сделать сразу и навсегда Россию коммунистической, отменив частную торговлю и введя закон насильственного обобществления всей продукции, в том числе продуктов сельского хозяйства. Затем эта утопия получила реалистическую поправку в виде НЭПа. Войну с крестьянством пришлось отложить до периода коллективизации, что осуществил уже Сталин.

И, наконец, в-четвертых, научно обоснованное и практически осуществленное открытие Ленина заключалось в его решительном отказе от всякой свободы и демократии — и вне партии, и внутри партии. Сохранение демократии было бы утопией и привело бы к немедленному падению большевиков. В этой связи Ленин как истинный ученый дает прямое и четкое определение — что такое диктатура. Дает научную формулировку советской государственной власти. «Научное понятие диктатуры, — писал Ленин, — означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами,

никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть».

Этой формулировке нельзя отказать ни в научной честности, ни в научной обоснованности. Другое дело, что она звучит страшно для всех либералов, демократов и гуманистов, включая нас с вами. Так же страшно звучит эта формулировка для всех утопистов марксистского или вообще социалистического толка, не оставляя никаких надежд на то, что социализм предполагает демократию и свободу, на то, что сама революция, как говорил Маркс, это прыжок из царства необходимости в царство свободы. Напротив, — говорит Ленин и доказывает на практике, что революция — это прыжок в царство ничем не ограниченного и не стесненного насилия, которое от имени пролетариата осуществляет государственная власть. И сама власть — это насилие, которое распространяется в принципе на все население и благодаря которому только и может осуществиться утопия.

Некоторые западные ученые, идеализирующие Ленина, марксисты или еврокоммунисты, утверждают сейчас, что это ленинское понимание диктатуры и государственной власти как неограниченного насилия было вынужденной и временной мерой, которая была связана с первым периодом революции и гражданской войны, с периодом «военного коммунизма». В дальнейшем необходимость в этом отпала, и в позднейшем терроре виноват уже Сталин и его последователи. Но давайте возьмем 1922 год, время НЭПа, время максимальной свободы и максимальной демократии во всей советской истории. Массовые расстрелы без суда и следствия, революционные трибуналы уступают место советскому судопроизводству. Разрабатываются и уточняются правила советского законодательства. И первая забота Ленина в мирном 1922 году состоит в

том, чтобы само судопроизводство и законодательство заключало оправдание террора и введение его в научно-юридические рамки. Об этом Ленин пишет письмом советскому наркому (т.е. министру) юстиции Курскому: «Суд должен, — настаивает Ленин, — не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать или узаконить его...»

Это не значит, что Ленин лично был жестоким человеком. Но Ленин научно предвидел, что при социализме без тотального насилия не обойтись. Поэтому он узаконил террор как условие существования советской цивилизации. И когда теперь вожди и руководители Советского Союза утверждают, что после эпохи Сталина мы вернулись наконец к ленинским нормам социалистической законности, это значит, что мы вернулись к узаконенному террору.

Итак, Ленин не был утопистом, но подходил к политической борьбе строго научно и рационально, по деловому, исходя из анализа конкретной обстановки. Но строго продуманные решения опирались все же на утопии и без этих утопий не могли бы претвориться в жизнь. Октябрьский переворот и Брестский мир были рассчитаны Лениным исторически очень точно и вместе с тем с опорой на утопическую идею Мировой революции, которая должна прийти на помощь революции в России и перенести центр мирового социализма в Европу с ее развитым и сознательным пролетариатом, с ее передовой экономикой и техникой. Если бы эта утопия не владела Лениным, он, возможно, не решился бы тогда на столь рискованный эксперимент. Когда же немедленной мировой революции не произошло, Ленину ничего не оставалось, как идти к социализму собственно-российским путем, то есть до предела закручивать гайки, введя насилие как основу социализма в России и про-

должая надеяться на революции в других, капиталистически развитых странах.

Или другой пример ленинской практичности — НЭП, шаг вынужденный и весьма здравый, как необходимая длительная передышка, за время которой Россия откормится, а государство сумеет наладить управление и хозяйство на основах социализма. Казалось бы, это отказ от утопии. И вместе с тем утопия все же сюда примешивается. Ибо — что такое социализм в ленинском понимании? Это политическая власть в руках партии и технически передовое хозяйство. Об этом Ленин много думал и даже выводил своего рода математические формулы типа «коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны». Таких формул у него было несколько. Однако все они сводятся к этому плюсу, к сложению разновеликих величин. Вместо электрификации Ленин брал иногда другие слагаемые. Скажем, другая его формула социализма состояла в следующей арифметике: «Советская власть плюс прусский порядок железных дорог, плюс американская техника и организация трестов, плюс американское народное образование etc etc = социализм».

Формулы эти звучат несколько искусственно, несколько утопично, потому что Ленин берет у Запада то, что ему там понравилось (немецкую аккуратность на железных дорогах или американскую технику), и механически переносит в Россию. Даже в современных условиях это невозможно, а в тех условиях разрухи и подавно. Похоже на рассуждение разборчивой невесты у Гоголя, на которое и сам Ленин любил ссылаться в свое время, высмеивая утопистов-народников, рассуждавших так: взять бы русскую патриархальную крестьянскую общину, прибавить бы к ней английский парламент и швейцарское равноправие, и был бы идеаль-

ный порядок. Это же почти как Агафья Тихоновна в «Женитьбе»: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Бальтазара Бальтазаровича, да пожалуй прибавить к этому еще дородность Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась».

И вот сам Ленин уподобляется этой невесте, выступая одновременно крайне утилитарно и крайне рационально. Собственно же от России здесь в расчет не берется ничего, кроме Советской власти, к которой прибавляется западный порядок и техника. Но ведь Советская власть еще при Ленине стала фикцией, поскольку не она правила страной, а государственно-партийный аппарат, шедший путем неограниченного насилия. То есть, по сути, диктатура плюс техника — вот и весь социализм по-ленински.

Насилие как основание новой государственности

Обратимся к самой проблеме насилия, к проблеме государства как ее понимал Ленин и понимал весьма трезво, не суля никакой свободы и никакой демократии. Однако к такому пониманию он тоже пришел через утопию и пришел не сразу. Не будь этой предварительной утопии, революция бы не победила, ее не поддержали бы рабочие и крестьянские массы, да и сама партия не решилась бы на это, зная, что ее впереди ожидает. Но партия не знала, да и сам Ленин, находясь во власти утопии даже накануне революции, не знал, какова будет эта диктатура.

Суть утопии сводилась к двум моментам, в которые Ленин верил совершенно искренне и которые всемерно подчеркивал, пока не пришел к власти и не отверг эту утопию, исходя уже из собственного государственного опыта. Во-первых, накануне Октябрьской революции предполагалось, что насилие необходимо лишь

на самый короткий период захвата государственной власти. После же захвата власти новое государство сразу начнет отмирать, ибо, как писал Ленин, «в обществе без классовых противоречий государство не нужно и невозможно». Во-вторых, предполагалось, что новая власть, новое государственное управление (или «диктатура пролетариата») будет осуществляться силами самих масс и просто всеми людьми по очереди, не выделяя никакого специального бюрократического аппарата. Причем должностные лица, даже самые важные, не будут иметь никаких материальных привилегий. И заработок самого высокого чиновника не будет превышать среднего заработка рабочего. На этом последнем пункте Ленин особенно настаивал, считая это законом пролетарского государства, в отличие от всех прочих государств в мировой истории. Таким образом, новое государство будет, думал Ленин, самым дешевым в мире и самым демократичным, лишенным какой-либо отчужденности от простого народа, начальственного тона и бюрократических замашек. Обо всем этом Ленин писал в 1917 году, накануне Октября, в знаменитой книге «Государство и революция».

Пожалуй, это самая яркая книга Ленина, замечательная в нескольких отношениях. Это учебник по захвату власти для коммунистов всех стран. Это образец неукоснительной и прямой логики Ленина и вместе с тем ленинской утопичности. Ленин здесь прямо говорит о необходимости захвата власти путем насилия, вооруженным путем, как единственном способе прийти к социализму, говорит о ломке всей старой государственной машины, будь это какой угодно демократический парламент. А вместе с тем рисует государственную идиллию и даже отмену государства в самом ближайшем будущем. Наконец, эта книга Ленина замечательна как источник антисоветской крамолы, ибо ниг-

де так не заметен разрыв между теорией и реальной практикой коммунизма.

Но это совсем не значит, что Ленин был противником того бюрократического чудовища, которое в итоге он произвел на свет. Сам Ленин после Октября пересмотрел свои взгляды на государство, хотя открыто и публично об этом не заявлял. Просто практика жизни и реальная борьба заставили его думать, писать и поступать не так, как он предполагал накануне революции. Если бы он не отказался от своей первоначальной утопии, революция погибла бы, и советская цивилизация в нынешнем ее виде не существовала бы. Тем не менее, утопия эта была нужна большевикам как первоначальный трамплин. Ибо она обещала страшную диктатуру как сугубо временное и весьма демократическое мероприятие.

Однако на первых порах осуществления диктатура несла на своих крыльях несколько утопический оттенок и расставалась с ним не сразу, а постепенно. То есть и после переворота утопия все еще продолжала работать на словах и в сознании нового государства. Принимая самые крутые и жестокие меры, Ленин говорил в начале революции, что все это носит преходящий и вынужденный характер. Через два дня после Октябрьского переворота был выпущен Декрет за подписью Ленина о закрытии буржуазных газет, поскольку они, дескать, занимаются контрреволюционной агитацией. Таким образом, свобода слова и печати упраздняялась. Но упраздняялась она в сопровождении следующей смягчающей оговорки: «...Стеснение печати, даже в критические моменты, допустимо только в пределах абсолютно необходимых ... Настоящее положение имеет временный характер и будет отменено особым указом по наступлении нормальных условий общественной жизни».

Надо ли пояснять, что в дальнейшем никакого указа об отмене этих ограничений так и не последовало. То ли нормальная общественная жизнь так и не наступила в течение всей истории советского общества, то ли, правильнее сказать, сама нормальность советской цивилизации и состоит в решительном отказе от свободы печати.

Или взять вопрос о смертной казни, о применении насилия, о применении террора. В начале 1920 года Ленин говорил: «Применение насилия вызывается задачей подавить эксплуататоров, подавить помещиков и капиталистов; когда это будет разрешено, мы от всяких исключительных мер отказываемся...»

Но отказ от исключительных мер все откладывался и откладывался. Сначала — пока не пройдет критический момент; потом — пока не закончится гражданская война; потом — пока не победит мировая революция. А попутно набирала силы теория и практика ничем не прикрытого и не стесненного насилия, которая получает все более прямое и строгое обоснование. Если в начале 1918 года Ленин говорил: «Диктатура предполагает и означает состояние придавленной войны», то в середине 1921 года, когда война практически уже кончилась, Ленин ту же идею формулирует точнее и беспощаднее: «Диктатура есть состояние обостренной войны (видите: сначала придавленная война, а потом уже обостренная война. — А. С.)... Пока нет общего окончательного результата, будет продолжаться состояние ужасной войны. И мы говорим: “На войне мы поступаем по-военному: мы не обещаем никакой свободы и никакой демократии”».

Поскольку никакого общего окончательного результата с окончанием гражданской войны так и не последовало (ибо еще осталась и мировая буржуазия, мировой империализм, который того и гляди опять

нападет), это ленинское положение мы вправе распространить на всю советскую цивилизацию. Вся история советской цивилизации — это состояние ужасной, затянувшейся войны. Война меняет форму и окраску. То она становится придавленной, то вновь оказывается обостренной, то принимает образ и форму узаконенного террора, каким является само советское законодательство и советское судопроизводство. Но это всегда — война. Поэтому государство как система насилия не отмирает, а только крепнет и увеличивает свои претензии на права человека. Государство из временного средства превращается в самоцель коммунистического развития.

И, надо сказать, это тоже утопия, но уже реализованная и вывернутая наизнанку — то есть антиутопия, которой не видать ни конца, ни края. Ведь сам Ленин признает, что перманентное состояние войны — ужасно. Но в то же время это и есть вершина во всемирно-историческом развитии. Такими парадоксами полна вся советская цивилизация. Насилие — есть свобода (свобода от эксплуататоров, от капиталистов и помещиков). А отсутствие демократии — есть самая полная демократия. Например, в 1919 году на VII съезде Советов Ленин говорил: «...Не было еще в истории цивилизованных народов ни одной страны, где была бы так широко применена пролетарская демократия, как у нас в России». В данном случае Ленин имеет в виду государственную форму Советов как высшую форму демократии. Теоретически Советы считались и считаются до сих пор высшим органом законодательной власти. Но практически Советы никаких законов сами не вырабатывали, а лишь утверждали законы и указы, выработанные партийной элитой.

Демократичность Советов заключалась лишь в их классовом составе, поскольку к выслушиванию и как

бы к обсуждению законов допускались низы населения, представители рабочих и крестьян. Но эти представители всегда подбирались и регламентировались партией. А Советы, выходявшие из повиновения, рассматривались как враги революции и пособники буржуазии. Когда наиболее сознательные рабочие стали понимать, что в пролетарском государстве, в Советах, они по сути дела отлучены от власти, от реального управления, в некоторых местах был выброшен и пользовался успехом лозунг: *«Советы без коммунистов!»* На современное советское ухо это звучит как нонсенс, как нелепость. Ибо понятия «советская власть» и «коммунистическая власть» давно уже стали синонимами. Но ведь первоначально предполагалось, что Советы — это самостоятельные и выборные органы власти самих рабочих и крестьян...

Демагогия состоит в том, что сама коммунистическая партия объявляет себя «передовым отрядом рабочего класса», высшим носителем пролетарской идеологии, пролетарского понимания. Согласно такой логике, партия лучше самих масс, самих рабочих и крестьян, знает, каковы их истинные, классовые интересы. Вооруженная марксистско-ленинской теорией, партия видит дальше и глубже класса, от имени которого она представляет. Естественно, по этой трактовке Советам остается лишь номинальная роль верховной власти. Такую же подсобную роль, лишенную всякой самостоятельности, исполняют профсоюзы. Повсюду вводится единоначалие. Никакого рабочего самоуправления на заводах не допускается. Даже Пролеткульт, т.е. самостоятельные организации пролетарской культуры, обязаны подчиняться органу государственной власти, Наркомату Просвещения. И всюду действует одна и та же логика: ведь власть у нас пролетарская! а лучшим, высшим выразителем интересов проле-

тариата является партия! Стало быть, партия и должна всем руководить! Причем руководит она уже не только идейно, но и физически. Все хозяйство, весь транспорт, вся печать, все громадные рычаги насилия — включая армию, ЧК и так далее — у нее в руках. И все это рассматривается как диктатура пролетариата.

Интересно, как определяет роль ЧК Ленин, давая этим органам политической полиции научное определение: «...ЧК, — пишет Ленин, — осуществляет непосредственно диктатуру пролетариата».

Единодержавие

Над пролетариатом (и тем более над крестьянством) возникает колоссальная государственная надстройка, склонная вовсе не отмирать, а разрастаться и обладающая громадными запасами неограниченного насилия. Высшее положение занимает партия. Это правящая каста, члены которой занимают самые ответственные посты и связаны строжайшей партийной дисциплиной. Для члена партии нет ничего выше партии. По приказу партии он обязан идти на все. За малейшие разногласия с партией — исключение. А исключенный из партии человек даже хуже, чем беспартийный. Ибо он немедленно становится политически подозрительным.

Но партия тоже неоднородна и построена иерархически, на строгом подчинении низших партийных инстанций — высшим. Когда говорят «по приказу партии» — это означает приказ вышестоящих партийных начальников, над которыми находятся еще более высокие органы. И так вплоть до ЦК — и выше, до Политбюро, и выше — до верховного вождя партии. В данном случае — до Ленина, который, опираясь на партийную элиту, персонально осуществлял так называемую «диктатуру пролетариата». Суть и движение этой

диктатуры можно выразить краткой формулой: «от восстания масс — до единодержавия». Причем в первый день или, правильнее сказать, в первую ночь восстания власть сосредоточилась в руках Ленина.

Ленин не был честолюбцем. Но он понимал, что революцию, совершенную волей меньшинства в стране, повергнутой в хаос, может спасти только невероятная централизация власти. Поэтому он и взял власть на себя, считая, что это единственный выход из создавшегося положения. И применил насилие, ничем не ограниченное, потому что только насилие и централизация власти могли спасти его социализм, его осуществленную утопию. Это был правильный научный вывод в той политической ситуации. Ленину пришлось пересмотреть его утопию о пролетарском государстве, которое, якобы, начинает отмирать сразу после захвата власти и где все трудящиеся правят по очереди. Через два года после книги «Государство и революция», в 1919 году, в лекции «*О государстве*» он говорил уже другое:

«Оно (государство. — А.С.) всегда было известным аппаратом, который выделялся из общества и состоял из группы людей, занимавшихся только тем или главным образом тем, чтобы управлять. Люди делятся на управляемых и на специалистов по управлению, на тех, которые поднимаются над обществом и которых называют правителями...»

Это весьма многозначительная цитата, из нее следует несколько выводов. *Первый*: не само общество правит, не сам пролетариат правит, но выделяет из себя некий государственный или бюрократический аппарат, или, как говорит Ленин, «*группу людей*». То есть, от всей диктатуры пролетариата остается узкая группа, которая диктует, во главе с диктатором — Лениным. *Второй вывод*: все люди делятся на управляемых и уп-

равляющих. То есть возникает старое, классовое деление общества — на рабов и господ, притом более глубокое и радикальное деление, потому что все прочие социальные связи отменены. Есть люди, которые управляют (господа), и есть люди, которые повинуются (рабы). Так и построена «бесклассовая» советская цивилизация. Построена она точно по принципу Ленина, по его механизму: управляющие и управляемые. И *третий вывод*: управляют специалисты по управлению. В устах Ленина это означает: «научные специалисты». То есть государством управляют *ученые*, «научные специалисты» самой последней выделки, специализировавшиеся на марксизме в его конкретном применении к современной политике. Естественно, что верховником этого симпозиума, руководителем «научной группы», взявшей на себя управление обществом, окажется самый из них ученый и дотошный специалист — сам Ленин.

Вот почему я и назвал эту формацию, эту первую стадию государственности — «государством ученых».

Это государственное образование, восходящее по инстанциям вверх, к его собственному разуму, Ленин и считал «пролетарской демократией». Субъективно для него это не было обманом, но было его самоощущением и мирозерцанием. Если разум пролетариата выражает партия, а разум партии воплощает Ленин, то, значит, в Ленине и сосредоточена вся демократия нового типа или диктатура пролетариата. Тем более, Ленин как истинный марксист полагал, что всякая человеческая личность (и в том числе он сам) — есть только выражение классовых интересов. Естественно, его собственная личность в этом контексте была выражением «интересов пролетариата». А личности, вступившие с ним в политический конфликт, становились выражением «интересов буржуазии». Таким образом,

не ради личного возвышения Ленин правил страной, но ради все той же «пролетарской демократии», которую он собой подменял.

С таким же успехом можно было бы сказать, в принципе, что русский царь (все равно какой) своей самодержавной властью воплощает интересы и волю всего русского народа. Да так иногда и говорили, и говорят. Но с точки зрения Ленина подобный взгляд на царя был чистой мистикой, поскольку всяким обществом и личностью, как доказано марксистской наукой правят классовые интересы. Значит, царь был выразителем эксплуататорских классов — помещиков и капиталистов. А он, Ленин, персонифицирует «диктатуру пролетариата». Таким образом, его самодержавие — это самодержавие самих трудящихся масс.

И, действительно, Ленин был необычным царем. Это был царь, который лично для себя ничего не хотел, но работал по 16 часов в сутки, вмешиваясь во все детали и мелочи громадного государственного организма, который он привел в действие. Читая последние тома *Полного собрания сочинений* Ленина, поражаешься, как он успевал следить за тем и за этим, превратившись в центральный мозг громадного аппарата, работой которого мы можем только восхищаться. Кажется, без личных распоряжений Ленина ничего не происходило в Советской России.

Но вместе с тем, читая эти бесконечные телеграммы, поправки и указания по всем вопросам, исходившие лично от самого Ленина (вплоть до того, кого надо арестовать, а кого следует выпустить из тюрьмы), поражаешься громоздкости и нелепости государственного аппарата, который им создан. Ведь если все так невероятно централизовано и сведено к самому Ленину и кучке его соратников, то, значит, весь этот механизм лишен инициативы и нуждается все время в подталки-

вании и в управлении сверху. Сами по себе люди ничего не решают и боятся решать, ожидая, что скажет главный научный специалист — Ленин. И лезут к нему за инструкцией по любому поводу. И сам он лезет с инструкциями по любому поводу. Все зависит от царя, но царь при этом должен во все вникать и единолично распоряжаться. И Ленин — вникает и распоряжается, хотя сам уже *еле таскает-носит* и близок к смертельному исходу.

К концу жизни Ленин как будто начинает понимать, что созданное им государство малоподвижно и бюрократично. Чтобы избавиться от бюрократии, он вынужден создавать все новые и новые бюрократические комиссии, комитеты и системы контроля, которые контролировали бы других бюрократов, тех, кто плохо работает. Но поскольку все общество невероятно централизовано, лишено гласности и демократической самостоятельности, все эти новые изобретения по части контроля плохо помогают. С этим уже не справиться. Советская цивилизация уже сформировалась. В обществе господствует государственный склероз. Такой же, как склероз мозговых сосудов у Ленина.

Это государство живет и продолжает жить и после смерти вождя. Периодически оно нуждается в насилии как основном движущем источнике, нуждается в кнуте и в царе, который бы им управлял. Нуждается — в Сталине. Так что явление Сталина — это очередная реализация ленинской утопии. Утопия состояла в том, что диктатура — это и есть демократия. Что единоличная власть партии или диктатора несет в себе волеизъявление самого народа. Понятно, что это обернется новой и самой глубокой антиутопией — сталинской эпохой.

Подведем некоторые итоги. Перед нами уже социалистическое государство, которое радикально отлича-

ется от всех прочих формаций. Хотя при НЭПе и было допущено оживление частного хозяйства и сделана уступка крестьянам и мелкой буржуазии, не менялось главное: все основные производительные силы национализированы и находятся в руках государства, которое управляет всей жизнью страны. Да и этот частный сектор находился под строгим государственным контролем и был допущен временно и вынужденно, до поры до срока. Так что социализм в основе был уже создан.

Некоторые исследователи и критики считают, что в Советском Союзе построен не социализм или не настоящий социализм. К этой структуре применяют иногда термин — «государственный капитализм». Но это спор о словах. Ведь другого или «настоящего» социализма в полном объеме никто еще не видел. А то, что сделано в Советском Союзе, сделано очень прочно, и все другие социалистические страны проследовали тем же путем, с небольшими отклонениями. Так что советскую цивилизацию можно принять за классический образец социализма — нравится он нам или нет. И кратчайшая его характеристика такова, что все принадлежит государству — и собственность, и земля, и сама жизнь, и сознание граждан. Государство же рекомендует себя, как мы уже знаем по Ленину, неограниченным насилием или узаконенным террором, которые в любую минуту могут сделать с человеком, с частным лицом или с обществом все, что угодно, и государство ни перед кем не ответственно, кроме как перед самим собой. А в прикровенном или лицемерном виде то же Государство рекомендует себя как воля самого народа, которому, дескать, все и принадлежит в стране. Но поскольку сам народ ничем не владеет, а носителем его верховной воли выступает Государство, оно и остается единственным хозяином и господином.

Естественно, в разряд врагов государства в числе первых попала интеллигенция. Ибо интеллигенция больше всего задыхалась от потери свободы слова и была склонна сомневаться в необходимости столь тотальной диктатуры. Поэтому, независимо от политических оттенков, интеллигентам затыкали рот. Испуганный обыватель был менее опасен власти, чем революционный интеллигент, который осмеливался рассуждать и что-то критиковать. Отсюда невероятный контроль над мыслями, над идеологией, который осуществила советская цивилизация. Недаром бытовала и бытует анекдотическая поговорка, что человека арестовали или расстреляли за то, что он «контрреволюционно улыбался». Само присутствие скепсиса, сомнения, иронии, юмора — сделалось криминальным. В глазах интеллигенции это было похоже на переход к новой ледниковой эпохе, одновременно величественной и ужасной в своей тяжеловесной поступи.

Метафизика и мистика Советского государства

В самом начале 20-х годов Осип Мандельштам, почуввав тяжесть и длительность нового исторического цикла, писал в статье «Девятнадцатый век»:

«...Наше столетие начинается под знаком величественной нетерпимости, исключительности и сознательного непонимания других миров. В жилах нашего столетия течет тяжелая кровь чрезвычайно отдаленных монументальных культур, быть может, египетской и ассирийской».

В первый момент это звучит странно. Откуда в России (ибо здесь имеется в виду в первую очередь после-революционная Россия) вдруг возникло какое-то подобие древнего Египта или Ассирии? Но речь идет как раз о Государственной Власти такого масштаба и такой деспотической силы, такой исключительной не-

терпимости ко всякому инакомыслию, каких европейская цивилизация еще не знала. В самом существовании этого колоссального организма, кажется, есть что-то иррациональное, чудовищное. Отсюда ассоциация у Мандельштама с Ассирией и древним Египтом.

Возьмем лишь некоторые стороны жизни этого Государства. Скажем, военный стиль, который начал складываться еще при Ленине, но особое развитие получил в сталинскую эпоху и сохраняется до сих пор. Словно государство, родившись в огне вооруженного восстания и пройдя опыт гражданской войны, навсегда сохранило за собой военный облик. И сам Ленин, напоминая, назвал свою диктатуру состоянием непрерывной и тотальной войны. Это не значит, что Советское государство воинственная держава, которая только и думает, на кого бы напасть. Тем не менее страна находится и живет в состоянии непрерывного военного напряжения. Даже когда опасность капиталистического окружения или реального нападения гитлеровской Германии — миновала, состояние военной лихорадки продолжалось. Этому можно найти и вполне разумные, логические объяснения, и совсем таинственные, иррациональные, почти мистические мотивы. К разумным объяснениям относится, например, то, что, совершая отдельные акты агрессии (допустим, захватив Восточную Европу), Советское государство вынуждено сохранять за собой все эти завоевания. Иначе оно развалится. Поэтому оно находится в состоянии, я бы сказал, активной обороны. И не желая войны, все время к войне готовится, хотя непосредственная военная угроза отсутствует. Но Государству все время кажется, что кто-то на него хочет напасть и отнять завоеванные территории. Отсюда, в частности, дух несвободы в Советском Союзе, как если бы страна непрерывно находилась на военном положении. И здесь есть своя логика.

Сошлюсь на свой разговор уже в наше время, относительно либеральное и послесталинское, с одним сослуживцем по Институту мировой литературы в Москве. Это был человек беспартийный, честный и даже немного либеральный. Поэтому я разговаривал с ним вполне откровенно и как-то ему пожаловался, что уж очень тяжело жить в несвободе и это плохо отражается на состоянии русской и даже советской культуры. Рассуждал я примерно так: неужели Советское государство развалится, если наше правительство сделает некоторые послабления в области культуры? Ну, допустим, разрешит абстрактную живопись, напечатает неопубликованный роман Пастернака, «Реквием» Ахматовой и так далее. Словом, сделает некоторую оттепель в области искусства и литературы. Ведь это только пойдет на пользу и русской культуре, и Советскому государству!

Мой оппонент отвечал так: да, конечно, от этих пустяков Государство не развалится. Но вы не учитываете, как это отзовется в Польше. Я спросил, недоумевая: причем тут Польша, если речь идет о том, чтобы в Москве опубликовать Пастернака? И он мне сказал: если мы здесь, в центре, допустим некоторые послабления в области культуры, то в Польше, где более свободно, чем у нас, произойдут дальнейшие и большие сдвиги в сторону свободы. Если в Москве начнется оттепель, то Польша отделится от Восточного блока, от Советского Союза.

Я ответил легкомысленно: ну и пускай себе отделяется и живет как хочет! Да, он сказал, но следом за Польшей отделится Чехословакия, а следом за Чехословакией распадется весь Восточный блок. Ну и пусть его распадается, — я ответил, — России от этого будет только легче! Но мой собеседник смотрел глубже: следом за Восточной Европой захочет отделиться

Прибалтика: Латвия, Литва и Эстония! — Ну и пусть! — упрямо повторял я. — Зачем нужны эти насильственные присоединения? — Но тогда за Прибалтикой отделится Украина, отделится Кавказ! вы что, хотите чтобы вся Российская держава распалась?! Из-за вашего Пастернака чтобы вся Россия погибла, Россия, которая теперь самая великая в мире Империя! ...

Вот и весь разговор. И это не анекдот, и не курьез, а логика, железная логика Империи и Государства, которую можно понять рациональным путем.

Труднее, но все же можно понять идею всемирного социалистического господства, ради которого развивается вся эта исполинская военно-экономическая государственная мощь. Если Советский Союз решается на агрессию в Африке, Азии и в Америке, то это означает как бы несколько затянувшуюся «мировую революцию». В мировую революцию давно уже никто не верит. Но тем не менее она продолжает осуществляться медленным и постепенным путем, иногда путем военного десанта в разных точках мира — способами того же террора и насилия меньшинства над большинством. Здесь нет уже великой идеи, но есть традиция, привычка захватывать власть насильственным путем. Пускай это ведет к новым конфликтам, уже внутри своего, социалистического лагеря — между Россией и Китаем, между Вьетнамом и Камбоджей. Все равно необходим захват. Потому что мир должен быть приведен в единство.

Куда более иррационально другое в системе этого вооружения. Это — я бы сказал — «мания врага». Вчера этим врагом были капиталисты и помещики, достаточно реальный враг, которого уничтожили и ликвидировали как класс или даже физически. Но здесь же снуют меньшевики и эсеры, то есть те же социалисты, но более либерального оттенка. Хорошо, уничтожили

и этого врага. Далее просыпается враг в лице зажиточного крестьянства. Ликвидировали путем раскулачивания деревни и сплошной коллективизации. Попутно ликвидировали «троцкизм» как главного врага. Но тогда приходит «вредительство», то есть неустройство в собственном хозяйстве. Расстреляли «вредителей», но появились «космополиты», и так далее...

Врага на самом-то деле нет, но враг нужен как оправдание всей этой системы насилия, которая без врага не может существовать. Поэтому в разряд врагов попадают все кто угодно: от японских шпионов до социал-демократов, сначала «троцкисты», а потом «сионисты». И бесполезно доказывать, что «троцкисты» или «сионисты» — это бесконечно малое число по сравнению с многомиллионным Государством, по сравнению с его танками и ракетами.

Когда мы отсюда, с Запада, слушаем это кликушество, направленное в пустоту, нам оно кажется каким-то сплошным обманом и выдумкой. Однако это не выдумка, это — мания преследования...

Впервые эту манию подметил еще Александр Блок в своей поэме «Двенадцать». Там, в начале 1918 года, по завьюженным петроградским улицам идут двенадцать красногвардейцев, отыскивая врага. А врага — нет:

В очи бьется
Красный флаг.

Раздается
Мерный шаг.

Вот — проснется
Лютый враг...

Но враг не просыпается. И за неимением врага они стреляют в Христа и в собственную больную совесть.

Но если для Блока все это было мистикой, то «не-

зримый враг» реализовался в советской истории, которая все время сопровождается Декретами или Известиями — что кого-то расстреливают. Расстрел был принят как норма жизни. Естественно, что над этой горой трупов должен был вырасти Сталин, который расстрелял многих ленинцев как слишком опасных людей.

Однако вернемся к идее, что враг повсюду и нигде. «Лютый враг», как сказано у Блока, вот-вот проснется. Но он невидим. И без этого врага не может существовать коммунизм. Система, созданная как абсолютное насилие, нуждается в том, чтобы кого-то подавлять. И если практически все враги уничтожены, система изобретает себе новых врагов. Для того чтобы с кем-то бороться и таким образом существовать!

Метафизически это можно понять так: если совершенно какое-то огромное насилие, то необходимо, чтобы кто-то этому насилию сопротивлялся. Необходим — враг. И если не будет врага, эта система насилия заглохнет и завянет.

Вот почему понять до конца рационально Советское Государство — невозможно. Хотя оно — рационально. Но оно одновременно живет в мире каких-то параноических или кошмарных образов. На самом-то деле оно преследует всех, а ему кажется, что это его преследуют. Насилие, возведенное в закон, все время порождает химеры. Ведь если некого убивать, если нет врага, то насилие бессмысленно.

Отсюда все состояние «активной обороны» и мощь вооружения, за которую Советская Власть держится как за единственный способ жизни в этом мире. И отсюда же комическая сторона в жизни советского общества. «Борьба с картошкой». «Идеологический фронт». «Героический труд».

Все поставлено как бы на военную ногу. Но это связано также с тем, что само общество, лишенное личной

инициативы, работает все время по команде и на понукании. Отсюда такой громадный бюрократический аппарат, который нельзя упразднить. Иначе работа остановится или будет вестись из рук вон плохо. Ибо рабы не заинтересованы в работе.

Но неужели это общество держится только на штыках, на страхе, который внушает Государство? Нет, как ни странно, оно держится еще и на демократии, хотя всех демократических прав и свобод оно лишено. Это тоже загадка Советской власти. С одной стороны, она лишает общество свободы и демократии. А с другой стороны, она создает некую иллюзию демократичности, благодаря которой советский народ эту власть поддерживает. Здесь мы опять вступаем в сферу иррационального, но тем не менее на реальную почву «советской демократии».

Что такое «советская демократия»? Это равенство всех. И во имя такого равенства была подавлена свобода. Но, как выяснилось, народ жаждет не свободы, а равенства. «Свобода» и «равенство» — подчас противоположные понятия. В обществе, где все люди равны, не может быть никакой свободы, ибо свобода возвышает одного над другим и допускает различия, а равенство, запрещая свободу, делает всех одинаковыми.

Жажда равенства вообще свойственна русскому человеку. Не надо забывать, что крепостное право в России было отменено только в 1861 году. А до этого крестьяне были рабами. И рабы хотели уравниваться с господами. Это уравнивание и произвела революция. Более того: революция выдвинула рабов на первое место и поставила над вчерашними господами. Все высшие сословия — дворянство, буржуазия, духовенство, интеллигенция — были повержены в прах. Преимущество, чисто моральное, было дано трудящимся массам, то есть людям физического труда. Естественно, что в этих

новых условиях свое равенство и даже первенство они испытали как состояние свободы. И поэтому революция, лишавшая человека, индивидуальную личность всяких прав, тем не менее воспринималась массами положительно как обретение свободы. Точнее говоря, как обретение равенства, которое в самоощущении масс превращалось в свободу, в чувство собственного достоинства. Сошлюсь на свидетельство русского религиозного философа и историка Федотова, который ушел в эмиграцию несколько позже, чем основная волна, и видел Советскую Россию и в революцию, и в 20-е годы. Федотов был враждебен новой власти, тем не менее писал:

«Поразительное дело: в голодной, разоренной России, в режиме абсолютного бесправия, рабочий и даже крестьянин чувствовали себя победителями, гражданами передовой страны мира. Только в России рабочий и крестьянин — хозяева своей земли, очищенной от паразитов и эксплуататоров. Пусть нищие, но свободные (в социальном смысле — то есть равные или, лучше сказать, первые)». («И есть и будет. Размышления о России и революции». Париж, 1932.)

Таким образом, нижний слой населения воспринял равенство как свободу. Возникло чувство социального единства с государством, которое тобой управляет и лишает тебя всех прав, кроме ощущения, что это *твое* государство. В этом и состоит советская демократия. Цитирую того же Федотова:

«Проезжего комиссара всегда можно “обложить” в совете, да и в уездном городе мужик не очень стесняется с начальником: “свой брат”. Ненависть к коммунистам лишена классового характера. Она смягчается сознанием, что в новом правящем слое все свои люди... Трудно представить современную крестьянскую семью, у которой не было бы родственника в го-

роде на видном посту: командира Красной Армии или судьи, агента ГПУ или, по крайней мере, студента».

Да и путь наверх по государственной лестнице никому не заказан. Достаточно, чтобы были хорошие анкетные данные и готовность к демагогии. И в этом залог прочности советского общества.

*Глава четвертая***ГОСУДАРСТВО-ЦЕРКОВЬ. СТАЛИН****Сравнение: Ленин и Сталин**

От эпохи Ленина обратимся к следующему этапу советской цивилизации — сталинскому. Конечно, не один Сталин определяет черты нового периода. Но Сталин для этой эпохи не менее характерен, чем Ленин для первых лет Советской власти, для «государства ученых». И если Ленин был главным ученым в правительстве, то Сталин сделался, фигурально выражаясь, богом в государстве, которое таким образом приобрело церковный характер.

Для начала поставим вопрос: чем Сталин отличался от Ленина и в какой мере Ленин подготовил Сталина?

Даже чисто внешнее сопоставление показывает громадное различие между этими двумя вождями, олицетворяющими государство на двух разных этапах. Ленин — ученый. Сталин — человек малообразованный. Милован Джилас в мемуарах о встречах со Сталиным рассказывает, что Сталин не знал, например, что Голландия и Нидерланды — это одна и та же страна, и никто из приближенных, включая министра иностранных дел, не смел его просветить.

Ленин по складу характера и внешнему облику был человек сугубо штатский. Сталин — человек военный или, во всяком случае, разыгрывающий роль военного. Свое пристрастие к военному чину и мундиру он окончательно реализовал в пышном титуле генералиссимуса. Однако и в ранние революционные годы Сталин уже носил сапоги, шинель и свои знаменитые усы — не только знак принадлежности к Кавказу, но и намек на принадлежность к военной касте русского большевизма.

Ленин же ходил в своей, тоже знаменитой жилетке — принадлежности штатского облика и, ораторствуя, имел обыкновение засовывать большие пальцы рук за края жилетки, у подмышек, как если бы собирался танцевать фрейлехс, что выглядело немного комично. Может быть в этом сказывалось чисто российское интеллигентское пренебрежение Ленина к позе, к собственной внешности, к своему костюму — хотя и при жилетке.

Непрезентабельна и наружность Ленина: лысый, маленький и картавый человечек с огромным лбом. Сталин — тоже был невысокого роста (правда — с низким лбом). Однако мы этого не замечаем за лесом громадных статуй, которые он воздвиг в собственную честь — всегда в сапогах, в шинели и с усами. Вместо научных дискуссий и вьедливых партийных препирательств (к чему был склонен Ленин) начинался военный парад.

Ленин в анкете, в графе «профессия» тихо писал о себе: «литератор». А Сталин — стал «вождем всего передового человечества», как его повседневно величали. И даже их псевдонимы звучат по-разному. «Ленин» — что-то неопределенное, производное от домашнего женского имени. Это теперь слово «Ленин» звучит громко, а вначале оно ничего высокого и торжественного не обозначало. Почти как «Машин» или «Катин», «Люсин», например. И придя к власти, Ленин продолжал подписываться «Ульянов» в сочетании с псевдонимом «Ленин», звучащим еще более неприятно. А Сталин о своем истинном имени «Джугашвили» — не любил вспоминать и сразу ввел в обиход громкое понятие «Сталин», в котором слышится «сталь» и кем этот человек «стал». И этот человек стал «Сталиным», определив собственным именем всю новую, стальную эпоху.

Военных летчиков стали называть «сталинскими соколами», что одновременно обозначало: «стальные соколы». В почет вошли сталевары — по аналогии со Сталиным. И в это же время был написан роман Николая Островского — «Как закалялась сталь». Заглавие романа, как стальная струна, резонировало на имя: Сталин. А рядом со Сталиным вдруг объявился народный поэт, писавший о Сталине, дагестанский ашуг Сулейман Стальский, которого Горький назвал «Гоме-ром XX века».

От одного имени «Сталин» все зазвучало в стране по-новому, по-сталински и стало стилем. Этот стиль Сталин назвал *социалистическим реализмом*...

Известно, что Ленин в быту был непритязателен, почти аскетичен. В нем действовала еще старая за-ква-ска русских революционеров. Согласно неписаным правилам этой традиции человек, отдавший себя делу народа и революции, должен — внешне — не выделяться и не возвышаться над простыми людьми. Он должен бороться и жить бескорыстно, не стремясь к личной славе. Поэтому Ленин не играл в демократию, но был действительно демократичен в своих привычках, в отношениях с людьми. Мы не знаем, чтобы Ленин упивался властью, которая ему досталась в неограниченных размерах, чтобы он сводил с кем-то счеты по личным мотивам или проявлял деспотический нрав, как это свойственно диктаторам. Да, Ленин проявлял невероятную жестокость. Но эта жестокость исходила не от его собственного нрава и характера, а от его научности в подходе к проблемам классовой борьбы и политики. Лично Ленин был скорее добрым человеком. Но в своих политических действиях он был безразличен к вопросам «добра» и «зла», полагая, что «добро» — это то, что полезно в данный момент пролетариату и его ленинской политике, выражавшей, как

ему казалось, пролетарские интересы. А «зло» — это все то, что может этим интересам повредить и помешать.

Властвуя единолично, Ленин избегал славы и почета, которыми уже было окружено его имя. Вот пример: в дни 50-летия Ленина в 1920 году проходит IX съезд партии, который хочет отметить ленинский юбилей. И как же реагирует Ленин на поздравительные овации? Он уходит как только начинаются хвалебные речи в его честь. И, сидя в кабинете, один, все время шлет записки съезду и звонит по телефону, чтобы его чествование поскорее прекратили и перешли к очередной полезной работе. И это — искренне, как и подобает революционеру, интеллигенту и демократу.

Для сравнения достаточно вспомнить бесконечные аплодисменты, которыми сопровождалось само упоминание имени — «Сталин», что сам Сталин явно поощрял и, случалось, расстреливал тех, кто мало ему аплодирует. И при этом не считался ни с какими классовыми интересами и действовал даже вопреки этим интересам, — обнаруживая исключительную личную жестокость, личное коварство и личную жажду власти.

В результате сталинский лозунг, принятый как некая аксиома: «Сталин — это Ленин сегодня», звучал кощунственно для тех, кто близко знал Ленина. Это одна из многих причин, почему Сталин уничтожил ленинскую гвардию: он начинал новое, сталинское царствование и, замещая Ленина, глубоко ненавидел каждого, кто помнил еще о Ленине и кто мог бы противопоставить эти две фигуры — Ленина и Сталина.

Но такое противопоставление до сих пор существует: Ленин и Сталин. Коммунисты, критикуя или даже отрицая Сталина, обычно ссылаются на Ленина и говорят: вот если бы был жив Ленин, все пошло бы по-другому и не было бы — Сталина. В результате Ленин

становится воплощением доброго, хорошего коммунизма.

Действительно, трудно представить Ленина в роли Сталина. Известно также, что незадолго до кончины Ленин предостерегал партию от будущего руководителя, отмечая грубый и капризный характер Сталина. Но никого другого персонально себе в замену он не предлагал и не готовил, рассчитывая, очевидно, на коллективное руководство.

Однако именно Ленин подготовил приход Сталина к власти. Подготовил тем, что исключил всякую, в том числе партийную демократию. И, будучи по натуре демократичным интеллигентом, Ленин по сути запретил дискуссии внутри партии и вне ее. Ленин свел все государственное управление к самому Ленину, не заботясь о том, что завтра на его место сядет — Сталин. Ленинский террор и ленинская централизация власти совершенно естественно привели к Сталину.

В 1921 году один из крупных партийцев — Адольф Иоффе — написал Ленину письмо, в котором пожаловался, что ЦК партии — это единовластное «я» Ленина. Ленин страшно удивился по поводу формулы «ЦК — это я». И ответил Иоффе, что эта версия — результат нервного переутомления и что тому нужно лечиться. Ленин ответил: «Зачем же так нервничать, что писать совершенно невозможную, совершенно невозможную фразу, будто ЦК — это я. Это переутомление».

На самом же деле к 1921 году Ленин мог бы уже сказать не только «ЦК — это я», но и «Государство — это я». Предполагалось, что партия единовластно правит государством, а во главе партии уже стояла единовластная личность — Ленин. Знаменитая формула про «Государство» не произносилась, но была обоснована и воплощена на практике. Так что Сталину оставалось только сменить табличку да устранить возможных со-

перников. Сталин это сделал, и сделал отчасти по-ленински — т.е. исходя из ленинской идеи насилия и государственной централизации.

Так что, я полагаю, Сталин не искажил Ленина, а просто занял его государственный пост. И далее уже исходил из собственной психологии, из собственного понимания, что «добро», а что «зло» с точки зрения интересов мирового пролетариата. В этом смысле Сталин не узурпатор, а законный наследник Ленина. Другое дело, что Сталину, придя к власти, пришлось потеснить Ленина с его «ленинской командой». Но это уже детали. На самом-то деле Сталин был верным ленинцем, но только реализовал ленинскую идею «единоличной диктатуры» по-своему, по-сталински.

Иррационализм Сталина

Кульминация Сталина — 1937 год, когда Сталин ликвидировал всех своих мнимых и действительных противников по партии. Конечно, не в одном 1937 году все это сделалось. Начиналось — раньше. Закончилось — позже. Но 1937 год навсегда останется в русской истории какой-то мистической датой, может быть, наравне с тоже достаточно сакраментальным 1917 годом. Тридцать седьмой год — это как бы ответ Семнадцатому. На разум Ленина, на его крайнюю рациональность, проявленную в 1917 году, Сталин через двадцать лет Советской власти ответил иррационально — в 1937-ом.

Сталинская иррациональность заключалась в том, что сажали и убивали вчерашних героев революции, убивали своих, самых преданных членов партии, которые умирали подчас с клятвой в верности Сталину на устах. В результате этой чистки был уничтожен почти весь ЦК, многие руководители промышленности и высший командный состав Красной Армии (и это — нака-

нуне войны с Гитлером). А за этим следовали репрессии, касавшиеся уже нижестоящих организаций, обкомов и райкомов, и всего населения, включая даже чекистский, полицейский аппарат, который сам же производил эти чистки.

Это кажется безумием. И существует версия, что Сталин просто-напросто был сумасшедшим, который все это устроил и организовал — вопреки собственным и партийным интересам. На самом деле Сталин поступал совершенно логично со своей точки зрения и даже в чем-то следовал ленинской политике. Но если все-таки допустить, что Сталин был безумцем, который правил государством в течение нескольких десятилетий, не встречая никаких помех и никакого сопротивления, то значит само государство, созданное Лениным, несло в себе такую возможность.

А Сталин, при всем психологическом различии с Лениным, был его учеником, как все его тогда величали. Но учеником, который превзошел своего учителя и сделал то, чего Ленин не мог бы сделать.

Известно, что Ленин уничтожил оппозицию прежде всего в виде других партий, в том числе других социалистических партий — меньшевиков и эсеров. А Сталин в начале правления столкнулся с оппозицией себе внутри партии в лице троцкистов, которых он ликвидировал, а затем распространил эту ликвидацию почти на всю ленинскую гвардию, ибо в его глазах она была потенциальной оппозицией ему, Сталину. Ведь это были люди, которые сделали революцию и подчас превосходили Сталина умом, опытом, образованием, а также старыми заслугами перед партией и революцией. Поэтому они все были в его глазах подозрительны и ненадежны и требовали замены. Замену же можно было произвести лишь путем уничтожения этих кадров, обвинив их в чудовищных преступлениях перед

страной и народом, обвинив их в предательстве. Для этого и понадобились показательные процессы 30-х годов, когда виднейшие руководители партии и государства публично признавали себя агентами иностранных разведок, якобы всю жизнь мечтавшими о реставрации капитализма в России.

Следует признать, что эти спектакли были поставлены и проведены блестяще. Сошлюсь только на одно свидетельство — немецкого писателя Лиона Фейхтвангера, которого как знатного иностранца и друга Советского Союза пригласили присутствовать на судебном процессе в Москве. Вот что рассказывает Фейхтвангер в книге «Москва 1937»:

«Людей, стоявших перед судом, никоим образом нельзя было назвать замученными, отчаявшимися существами, представшими перед своим палачом. Вообще не следует думать, что это судебное разбирательство носило какой-либо искусственный или даже хотя бы торжественный, патетический характер.

Помещение, в котором шел процесс, не велико, оно вмещает, примерно, триста пятьдесят человек. Сами обвиняемые представляли собой холеных, хорошо одетых мужчин с медленными, непринужденными манерами. Они пили чай, из карманов у них торчали газеты, и они часто посматривали в публику. По общему виду это походило больше на дискуссию, которую ведут в тоне беседы образованные люди, старающиеся выяснить правду и установить, что именно произошло и почему это произошло. Создавалось впечатление, будто обвиняемые, прокурор и судьи увлечены одинаковым, я чуть было не сказал спортивным, интересом выяснить с максимальной точностью все происшедшее. Если бы этот суд поручили инсценировать режиссеру, то ему, вероятно, понадобилось бы немало лет и немало репетиций, чтобы добиться от обвиняемых та-

кой сыгранности: так добросовестно и старательно не пропускали они ни малейшей неточности друг у друга, и их взволнованность проявлялась с такой сдержанностью...

Признавались они все, но каждый на свой собственный манер: один с циничной интонацией, другой молодцевато, как солдат, третий внутренне сопротивляясь, прибегая к уверткам, четвертый — как раскаивающийся ученик, пятый — поучая. Но тон, выражение лица, жесты у всех были правдивы».

Между тем известно, что Сталин, как главный режиссер, вникал во все детали подобных инсценировок. Говорят, что одному из организаторов этих процессов Сталин приказал: «Ты организуй дело так, чтобы всем подсудимым на процессе подавали чай с лимоном».

В судьбе Сталина все настолько запутано и загадочно, что над многими фактами мы ломаем голову, не зная, как их понять и как в действительности обстояло дело. Долгое время в тени находились истинные мотивы, объясняющие, почему подсудимые Сталина признавались и каялись в самых неправдоподобных грехах. Мы не знаем до конца, как Сталин убил Кирова, какому варианту смерти Горького следует отдать предпочтение. И не покушался ли Сталин на жизнь самого Ленина, как подозревает Троцкий? Да и самого Сталина, может быть, убили (есть и такая версия)? И существуют две версии смерти жены Сталина.

Словом, фигура Сталина теряется во мраке благодаря непостижимости его планов и замыслов.

Тем не менее во всем этом по-своему проявлялась ленинская логика, продолженная Сталиным дальше и доведенная до абсурда. Ведь, с точки зрения Ленина, всякая оппозиция большевизму, всякая оппозиция его власти и его, ленинской, точке зрения — это выражение

классовых и политических интересов буржуазии. Ибо как марксист какой-то личной идеологии Ленин не признавал. Все в этом мире лишь выражение чьих-то классовых интересов. Поэтому своих политических противников Ленин постоянно зачислял в ряды буржуазии, и это типичная ленинская терминология, которую он раздавал направо и налево в своих статьях и речах, — «агенты буржуазии», «агенты международного империализма», «социал-предатели», «предатели рабочего класса» и так далее. При этом, с точки зрения Ленина, субъективная честность человека и его субъективное мнение или самоощущение, что никакой он не агент буржуазии и никакой не предатель, дела не меняют. Важно не то, что человек думает о себе, а чьи позиции он *объективно* выражает, независимо от собственной воли. Ибо в истории действуют лишь объективные законы классовой борьбы.

Вот эту ленинскую «объективность» Сталин и приложил в величайших масштабах и в новых поворотах уже к членам самой партии, к ветеранам революции, которые ему казались почему-либо подозрительными.

Конечно, Ленин выражался иносказательно, когда употреблял этот термин «агенты буржуазии» применительно, допустим, к меньшевикам или к западным социал-демократам. Или когда он говорил, что они «продают» интересы рабочего класса — он это слово «продают» понимал и употреблял метафорически, а не думал, что меньшевики буквально побежали к мировой буржуазии и получили у нее деньги за свое предательство. Или что меньшевики как агенты буржуазии пошли и завербовались в иностранную разведку. А вот Сталин все это трактовал уже буквально. Раз «агент буржуазии», значит буквально шпион. Сталин реализовал ленинские метафоры. И в этом

смысле судебные процессы и казни 30-х годов есть не что иное, как реализация метафор.

И как это всегда бывает с реализацией метафор, в итоге получилась картина чудовищная и фантастическая. По стране всюду ползали какие-то невидимые «шпионы» и «диверсанты», которых вылавливали, и тогда они становились видимыми, для того чтобы каждый прохожий на улице мог оказаться таким же скрытым врагом. Но так и должно быть с реализацией метафор. Реализуйте любую, самую невинную, метафору, и сразу появится фантастическая картина. Даже простенький «дождь идет». Он буквальными ногами пошел по мостовой, зашагал по лужам, а потом побежал или запрыгал. Получается какой-то бред, и не исключено, что страшный. Примерно то же самое и произошло с реализованными метафорами тридцатых годов.

Но Ленин повинен не только в изобретении метафор, вроде «агентов буржуазии» или «лакеев капитализма», еще при Ленине вошедших в официальный язык и быт советского государства. Ленин предусмотрел самые тяжелые наказания за то, что человек *объективно* является «агентом буржуазии», высказывая, допустим, свое несогласие с партийным курсом, с государственной политикой. В 1922 году в письме наркому юстиции Курскому Ленин требует: «расширить применение расстрела», в частности, за агитацию и пропаганду. А для этого в уголовном кодексе требуется «найти формулировку, ставящую эти деяния в связь с международной буржуазией». Обратите внимание: именно «связь с международной буржуазией» дает право на расстрел человека. А для этой связи не нужна буквальная завербованность человека в иностранную разведку. Достаточно, что своими высказываниями или писаниями человек *объективно* помогает международной буржуазии. И вот в другом письме тому же

наркому юстиции Ленин находит такую формулировку и предлагает ее как свой, ленинский проект соответствующей статьи Уголовного Кодекса:

«Пропаганда или агитация, объективно содействующая... международной буржуазии». Предусматривался расстрел (или высылка за границу, что практиковалось в начале 20-х годов по отношению к крупным профессорам, ученым и писателям).

А теперь возьмем эту ленинскую формулировку и приложим ее к сталинской эпохе. Ведь тогда любое высказывание, выражающее самую легкую критику государства и Сталина, рассматривалось как такая буржуазная агитация и пропаганда. Да и высказываться было не обязательно. Достаточно было подозрения, что человек мыслит как-то не так. Достаточно было случайной оговорки или опечатки. Мне рассказывала вдова поэта Эдуарда Багрицкого, которого в 30-е годы весьма чтили в Советском Союзе и официально признавали одним из лучших революционных поэтов, что она попала в тюрьму и в лагерь так: она пошла хлопотать в НКВД за своего родственника поэта Нарбута, который тогда был арестован и позднее погиб в лагере. «Что же вы хватаете всех без разбора?» — сказала она в разговоре с чекистами, а когда те стали смеяться над ней, она сгоряча, в сердцах, воскликнула: «Напасти на вас нет!» Вот за эту фразу «*Напасти на вас нет!*» она и была арестована, причем по обвинению в пропаганде и подготовке вооруженного террора против Советской власти. А в качестве вещественного доказательства ее террористических намерений у нее в квартире, при обыске, была изъята старая сабля, которую в свое время подарил Багрицкому крупный военачальник Красной Армии, и эта сабля висела у них на стене над тахтой.

Массовые аресты 30-х годов коснулись в основном

привилегированного слоя. Тяжелейшие репрессии обрушились также и на крестьянство в связи с коллективизацией и раскулачиванием деревни. Но в принципе мог пострадать каждый, ни к чему не причастный человек. Одна домохозяйка, простая баба, увидела, например, во сне, что она, извините, отдается Ворошилову. А утром вышла на коммунальную кухню и рассказала об этом сне соседке. Та донесла в НКВД, и виновницу отправили в лагерь с забавной формулировкой: «за неэтичные сны о вождях». Я знал старуху, которая была арестована за спетую на деревенском переплясе озорную частушку:

Зелено, зелено, стоит хуй у Ленина!
Крупская не верила, взяла и проверила!
Хорошие, привольные
Колхозные условия...

Таких историй великое множество, и всех вариантов так называемой буржуазной агитации не перечислить.

Своими репрессиями в 30-е годы Сталин добился громадных для себя преимуществ.

Во-первых, была ликвидирована вся активная сила в партии, которая была связана с традициями революции и Ленина. Сталин ненавидел эту элиту уже за одно то, что она пользовалась популярностью и притом тогда, когда сам Сталин был почти никому не известен. Это была ненависть бастарда к законным детям революции. Поэтому он не просто истреблял партийную элиту, но, истребляя, втоптывал ее в грязь. Кроме того, эта среда слишком много знала. Знала, например, что история партии и советского государства при Ленине развивалась не совсем так, как это трактовал теперь Сталин. Поэтому в сталинские годы было опасно какому-нибудь видному партийцу или бывшему революционеру вести дневники или писать мемуары в стол.

Уничтожив элиту, людей, которые «слишком много знали», Сталин, во-вторых, переделал историю недавнего прошлого на собственный лад и вкус. Так что всюду на первом месте при Ленине оказывался Сталин. А его конкуренты Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев и т.д. уже тогда, оказалось, вели вражескую работу. Неслучайно в разгар этих репрессий и в их увенчание вышел главный учебник по истории партии и марксизму-ленинизму под названием: «Краткий курс истории ВКП(б)», где вся история была уже переделана по-сталински — под его редакцией и при личном его авторском участии. Этот учебник в сталинские времена вменялось в обязанность непрерывно изучать и штудировать всему грамотному населению Советского Союза. В особенности и вдвойне — работникам так называемого идеологического фронта. Эта книга была в сталинские времена и Библией, и Евангелием...

А параллельно со сталинским «Кратким курсом» создавались исторические романы и кинофильмы, которые тоже переделывали прошлое «под Сталина». Один из самых известных романов такого рода — «Хлеб» Алексея Толстого, посвященный обороне Царицына во время гражданской войны. Грубо извращая и подтасовывая факты, роман преподносит Сталина великим военным стратегом и вождем революции. Понятно, что именно этому роману (литературно очень слабому), Алексей Толстой был обязан своим исключительным возвышением.

Третье, что получил Сталин в результате репрессий, — это смену руководящих кадров и рождение нового типа партийного и государственного руководителя. В партии тогда произошли великие социальные и психологические сдвиги. На место истребляемых ветеранов приходили люди без прошлого, то есть низовые работники и выходцы из провинции, которые никакой

революции не совершали, в подполье не боролись и вступали в партию чаще всего из соображений карьеры. Как правило, это было простонародье с очень узким кругозором и малым образованием. Они-то и заменили партийную интеллигенцию и гвардию ленинской выучки. Так сложился «новый класс», по известному определению Милована Джиласа. В отличие от старой гвардии этот класс революционным энтузиазмом не горел, а мыслил и действовал только как исполнитель всех приказов высшего начальства. Он-то и стал опорой сталинского трона и всего советского режима.

Итак, изменился весь стиль жизни. К власти пришел малообразованный, но очень послушный обыватель-чиновник — не борец и не революционер. А человек с революционными идеями и революционными заслугами стал опасен. Потому что возбуждал подозрение: не был ли он в прошлом троцкистом, бухаринцем, с кем водил знакомства?.. Революционные заслуги подчас грозили смертью. И многие интеллигенты в 30-е годы уцелели лишь потому, что никогда не были в партии и не занимали руководящих постов.

Четвертое достижение Сталина — это полное превращение страны в рабское государство, с рабским положением людей и рабской психологией. Если коллективизацией Сталин закрепостил деревню и лишил громадное население страны самой элементарной самостоятельности, то тюрьмами, пытками, лагерями и расстрелами 30-х годов он навел рабский порядок уже повсюду. Он заставил общество жить в состоянии невероятного страха, который окончательно выковал и воспитал советского человека. Ведь раньше понятие «враг» носило классовый и сословный характер. А теперь врагом мог стать любой советский гражданин, сам того не подозревая и не имея наперед никаких гарантий, что он не враг. По анекдоту того времени:

встречаются трое в тюремной камере и спрашивают друг друга, за что сидим? Один говорит, что его посадили за то, что он ругал Карла Радека, виднейшего советского публициста и политического деятеля. Второй говорит, что его посадили за то, что он хвалил Карла Радека. А третий заключенный грустно сказал: — А я — Карл Радек...

Это состояние страха принимало характер массовой истерии, когда повсюду выискивали шпионов и вредителей, и вместе с тем каждый завтра мог оказаться таким же шпионом и вредителем. И всякий, кого сажали, про себя-то знал, что он не шпион, и, значит, с ним лично допущена ошибка, но все другие в камере — они-то и есть настоящие враги. В конце 30-х годов была арестована известная советская поэтесса Ольга Берггольц. Много лет спустя она рассказывала о своих первых переживаниях в тюрьме. Тогда шла гражданская война в Испании, и в массе своей советские люди были, естественно, на стороне республиканцев, которые терпели поражения и отступали. И когда ее арестовали, Ольга Берггольц, молодая и очень патриотически и коммунистически настроенная, с ужасом думала, как она будет сидеть в одной камере с фашистскими убийцами, со шпионами и диверсантами и со всякой прочей контрой. И это было для нее самым тяжелым. По поводу себя она не очень беспокоилась, поскольку знала, что нигде не провинилась, и полагала, что чекисты со временем разберутся в этой ошибке и ее выпустят. Ведь наши чекисты не ошибаются и как никто блюдают закон и правду. Но пока они разберутся, думала Ольга Берггольц, ей придется какое-то время сидеть с настоящими врагами народа, к которым она испытывает непреодолимое омерзение. Но вот ее вталкивают в общую камеру, куда она входит как в большую пещеру, полную нечистых, ядовитых гадов, с которыми ей от-

ныне придется делить хлеб и кров. И эти «гады» бросаются к ней и окружают ее — человека, только что пришедшего с воли. Она брезгливо отшатывается и вдруг слышит вопрос, первый вопрос «врагов народа»: — Скажите, а Мадрид еще держится?! В общей камере, оказалось, сидели почти одни коммунистки, болеющие за Мадрид.

В этой чудовищной вакханалии происходили порой вещи дикие и нелепые. Когда, например, некоторые, попав в тюрьму, считали самым разумным оклеветать как можно больше лиц из числа своих друзей и знакомых, чтобы их тоже посадили. И призывали то же самое делать на следствии других политзаключенных. По теории: если посадят очень много народа, руководство поймет, что вышла какая-то большая ошибка, и начнет пересматривать дела.

А на воле под влиянием страха процветали доносы и ложь. Ибо судебные расправы сопровождались общими собраниями, где люди толпою и в одиночку должны были клеймить «врагов народа» и приветствовать смертные приговоры громом аплодисментов.

Еще в 1920 году Ленин сказал: «хороший коммунист в то же время есть и хороший чекист». Этой фразой он как бы обязал коммунистов заниматься, помимо прочего, полицейским сыском. А Сталин пошел дальше: каждый советский человек, в принципе, должен помогать чекистам, и в этом его святая обязанность. Неслучайно поэтому жены иногда доносили на мужей и дети на отцов, притом не из подлых и низких, а из возвышенных побуждений.

В результате товарищ Сталин получил человеческую массу, идеальную для власти над нею. То есть не смеющую иметь никакого собственного мнения и покорную любому повороту его политики, как это и было, например, когда Сталин вступил в союз с Гитле-

ром. И такую же точку зрения на страх, как на положительную и необходимую силу советского общества и главный его двигатель, разделяют многие сталинисты до сих пор. Мне лично довелось много и безуспешно спорить в России с одним молодым сталинистом, который доказывал, что Сталин поступал правильно, что столько убил и замучил, пускай они, как позднее выяснилось, ни в чем не виноваты. Зато, доказывал он, Сталин нагнал такого страха на народ, что у того нет и не может быть никаких расхождений с правительством. И в результате именно поэтому, после кровавых чисток 30-х годов, мы выиграла войну с Германией. Именно страхом было создано морально-политическое единство советского народа и государства. В итоге Советский Союз сейчас сильнейшая в мире держава.

Такова же была во многом логика и позиция самого Сталина.

И, наконец, пятое достижение Сталина в ходе судебных процессов 30-х годов — это невероятное возвышение его единовластной личности и создаваемый вокруг этой личности культ, который как раз в этот период достигает апогея. Сталин как бы вырубил вокруг себя все высокие деревья и остался один, великий и непогрешимый.

Сталин — главный герой и художник сталинской эпохи

На Первом съезде советских писателей (1934 г.) среди других партийных лидеров выступал Ем. Ярославский. Ярославский сказал: «Что дала наша партия? Она дала образы несравненной красоты, железной воли, яркой беззаветной преданности (опускаю большую часть эпитетов превосходной степени. — А.С.) — непревзойденные характеры Ленина и Сталина (аплодисменты)... Где, в каком произведении, — спрашива-

ет с упреком Ярославский, — вы показали во весь рост Сталина? (Аплодисменты)».

Итак, Сталин — это первый положительный герой среди ныне живущих людей. Сама идея положительного героя в советском искусстве ориентирована на фигуру вождя. В целом сталинскую эпоху допустимо представить сценой, о которой позднее поведал Хрущев и в которой неизвестно чего больше — искусства или действительности: у Сталина, рассказал Хрущев, была маниакальная страсть к прогулкам среди статуй с собственным изображением.

В принципе подобную процедуру он мог исполнять как тяжелую, но необходимую повинность, демонстрируя свои изображения молящейся толпе ради ее нравственного и эстетического воспитания. Разумеется, как человека умного его могла по временам раздражать возня вокруг его бюстов, портретов и прочих принадлежностей культа. Его дочь Светлана рассказывает, что Сталин не любил оваций и они его злили. Известен эпизод, когда Сталин явился в театр без предупреждения и проследовал прямо в правительственную ложу. А испуганный директор театра вдруг заметил, что в фойе нет бюста Сталина, и лишь один бюст находится в вестибюле. Пока шло первое действие спектакля — нашли второй бюст и поставили в фойе, украсив цветами. В антракте Сталин, проходя мимо, злобно буркнул, показав на собственный бюст: — А этот когда успел прийти?

Но сам же Сталин этот культ насаждал. Он мыслил себя в божественных измерениях. Он сказал Енукидзе, который попытался перед ним защищать Каменева и Зиновьева: «— Запомни, Авель, кто не со мной — тот против меня!» (Александр Орлов «Тайная история сталинских преступлений»). И убил Енукидзе. Как бывший семинарист Сталин не мог не помнить, кому принадлежали эти слова — в Евангелии от Матфея.

Спрашивается: верил ли Сталин в собственные фантазии по поводу своей исключительности или по поводу организованных им массовых репрессий и казней? Существует версия, что Сталин не верил в справедливость этих арестов и процессов, поскольку сам все это подстроил и пустил в ход. А в то же время — по свидетельству Хрущева — Сталин жил в воображаемом мире и шел на поводу собственного воображения. Очевидно, Сталин и верил, и не верил своему воображению, как и подобает истинному художнику.

В тридцатые годы Сталин неизмеримо отдаляется даже от верхушки своего правящего аппарата. Такое отдаление и возвышение Сталина, конечно, могло встречать и встречало если не возражение, то тайную усмешку у старых революционеров. Ведь, с точки зрения истинного революционера-марксиста, столь исключительное возвышение вождя партии не к лицу ни вождю, ни партии. А Сталин был достаточно прозорлив, чтобы это понимать.

Лион Фейхтвангер в документальном рассказе о Москве 1937 года приводит следующий эпизод из своей беседы со Сталиным. Эпизод называется «Сто тысяч портретов человека с усами»:

«На мое замечание о безвкусном, преувеличенном преклонении перед его личностью он пожал плечами. Он извинил своих крестьян и рабочих тем, что они были слишком заняты другими делами и не могли развить в себе хороший вкус, и слегка пошутил по поводу сотен тысяч увеличенных до чудовищных размеров портретов человека с усами — портретов, которые мелькают у него перед глазами во время демонстраций. Я указываю ему на то, что даже люди, несомненно обладающие вкусом, выставляют его бюсты и портреты — да еще какие! — в местах, к которым они не имеют никакого отношения, как, например, на вы-

ставке Рембрандта. Тут он становится серьезен. Он высказывает предположение, что это люди, которые довольно поздно признали существующий режим и теперь стараются доказать свою преданность с удвоенным усердием. Да, он считает возможным, что тут действует умысел вредителей, пытающихся таким образом дискредитировать его. «Подхалимствующий дурак, — сердито сказал Сталин, — приносит больше вреда, чем сотня врагов». Всю эту шумиху он терпит, заявил он, только потому, что он знает, какую наивную радость доставляет праздничная суматоха ее устроителям, и знает, что все это относится к нему не как к отдельному лицу, а как к представителю течения, утверждающего, что построение социалистического хозяйства в Советском Союзе важнее, чем перманентная революция».

Сталин лицемерил. Запугать Лиона Фейхтвангера, как это делал со своими подданными, он не мог, и он его обманывал, желая понравиться иностранному писателю, в чем и преуспел. Фейхтвангер Сталина превознес в западной печати, в частности, за его скромность. Но любопытно, на какие мотивы ссылается Сталин, объясняя собственный культ. В конце приведенной цитаты не случайно упоминается «перманентная революция», теоретиком которой был Троцкий. По сути, Сталин эту теорию усвоил и осуществлял по-своему. И коллективизацию, и чистки 30-х годов, и многое другое, что проводил Сталин, в принципе, допустимо рассматривать как перманентную революцию. Но здесь важно другое, — то, что Сталин портреты и ликование в свою честь расценивает как победу над Троцким, некогда своим главным врагом и конкурентом. Эта победа и увенчалась расстрелами 30-х годов, а вскоре, как известно, и убийством Троцкого. В то же время Сталин вину за собственный культ старается спихнуть на каких-то мифических «вредителей»,

которые якобы хотят его дискредитировать. Этим он как бы развязывает себе руки для дальнейших расстрелов — в том числе и тех, кто был ему предан. Наконец, Сталин извиняет этот культ наивностью рабочих и крестьян, которыми он правит. За этим, мне кажется, скрывается тайная мысль Сталина, которую он и осуществил на практике, мысль, что только так этим наивным народом и народом вообще и можно, и нужно править. А реплика Сталина, что подхалимствующий дурак вреднее сотни врагов, — это пустые слова.

Исследователи говорят, что Сталин обладал одной исключительно гениальной способностью. Он как никто разбирался в людях и видел их насквозь. И поэтому очень умело подбирал кадры. Людей талантливых или самостоятельных в руководстве он уничтожил и окружил себя исполнителями, которые никак не могли с ним конкурировать, да и боялись этого пуще огня. Кроме того, удивительно разбираясь в людях, он умел так их расставлять и срамливать между собой, что в конечном счете это шло на пользу ему одному. Он умел, допустим, взяв на время в союзники одного из своих противников, разделаться с его помощью с другим противником, а затем на оставшегося напустить третьего, а затем расстрелять третьего как палача первых двух. Так в свое время, еще в середине 20-х годов, ему удалось свалить Троцкого с помощью Зиновьева и Бухарина, а затем сами они поплатились как мнимые участники троцкистско-бухаринского заговора. В результате его жертвы подчас предварительно работали палачами. Скажем, расстрел Якира подписал среди других маршал Блюхер, а затем сам Блюхер был расстрелян. «Одним из главных принципов убийств сталинского времени было уничтожение одним рядом партийных деятелей другого. А эти в свою очередь гибли от новых — из третьего ряда

убийц» (В.Шаламов «Воскрешение лиственницы»).

Сталин не был образованным человеком. Но довольно много читал. Он, например, очень высоко ценил Жозефа Фуше, который, будучи главою французской полиции, благополучно пережил несколько режимов и был великим мастером плести интриги. Прочитав книгу о Фуше Стефана Цвейга, изданную в России в начале 30-х гг., Сталин говорил с восхищением: «Вот это был человек — всех перехитрил, всех в дураках оставил».

Громадный интерес и уважение Сталин испытывал к Макиавелли, которого можно назвать художником в политическом искусстве и в теории государственного управления. Очевидно, Сталин особенно ценил рекомендации Макиавелли в достижении и укреплении власти не брезговать никакими средствами.

А из русских исторических деятелей он ценил Ивана Грозного. У Алексея Толстого, который написал драматическую дилогию о Грозном, где восхвалял этого царя, есть в архиве запись телефонного разговора со Сталиным. Сталин лично позвонил Толстому по телефону, одобрил эту вещь, а по поводу личности Ивана Грозного сказал, что у царя был один недостаток. Казня бояр, тот между казнями почему-то мучился угрызениями совести и каялся в своей жестокости.

Помимо садизма было в Сталине, мне кажется, нечто и от юродства грозного царя Ивана Васильевича. Светлана сообщает, что в 52-ом году Сталин «дважды просил новый состав ЦК об отставке. Все хором отвечали, что это невозможно... — комментирует Светлана. — Ждал ли он иных ответов от этого стройного хора? Или подозревал кого-нибудь, кто выразит согласие его заместить? Никто не осмелился этого сделать. Ни один не решился принять его слова всерьез. Да и хотел ли он в самом деле отставки? Это напоминало о хитростях

Ивана Грозного, временами удалявшегося в монастырь, жалуясь на старость и усталость и приказывавшего боярам избрать нового царя. Бояре на коленях умоляли его не покидать их, боясь, что любой избранный ими тут же лишится головы» («Только один год»).

Сталин играл в Ивана Грозного. Недаром бывший чекист Орлов, оставшийся на Западе, сообщает легенду, что для проведения особо секретных операций за рубежом некоторым резидентам советской разведки был сообщен новый, специальный псевдоним Иосифа Виссарионовича — Иван Васильевич. «Псевдоним, — поясняет Орлов, — был весьма прозрачен — так звали любезного сталинской душе царя, Ивана Грозного, с которым у Сталина были к тому же одинаковые инициалы» («Тайная история сталинских преступлений»).

В отличие от Ивана Васильевича, Сталина, по-видимому, никакие грехи не мучили. Однако, при всей зарубелости натуры, диапазон душевных его колебаний был достаточно широк, и играл он не только людьми-марионетками, но и на самых сокровенных и тонких струнах своей души. Светлана рассказывает: «Я думаю, что отец находил нечто для себя в своей любимой опере “Борис Годунов”, которую часто ходил слушать в последние годы, часто сидя один в ложе. Однажды он взял меня с собой, и у меня мороз бежал по спине при монологе Бориса и при речитативе юродивого, страшно было оглянуться на отца... Может быть, у него в это время были “мальчишки кровавые в глазах”? Почему он ходил слушать именно эту оперу?..»

Помимо режиссерских талантов Сталин был великим актером. Об артистических способностях Сталина неоднократно упоминает Хрущев в своих «Воспоминаниях». Образцы удивительной актерской игры Сталина приводятся во множестве и другими мемуаристами. Как, например, Сталин поцеловал лежащего в гробу

Кирова, которого сам же убил. Как Сталин скорбел над телом Орджоникидзе, которого убил или довел до смерти. Авторханов пишет: «Я присутствовал на этом митинге, вблизи мавзолея, в снежный февральский день 1937 года. Я наблюдал за Сталиным — какая великая скорбь, какое тяжкое горе, какая режущая боль были обозначены на его лице! Да, великим артистом был товарищ Сталин!» (А. Авторханов «Мемуары»).

А вместе с тем Сталин умел очаровывать людей своими мягкими и обходительными манерами. Умел сохранять маску непроницаемости, за которой скрывалось что-то непредсказуемое... И умел — одной лишь неторопливой интонацией — сообщать глубочайшую мудрость простым и плоским понятиям.

Сама власть его привлекала, помимо прочего, как игра человеческими жизнями. Глубоко зная людей и глубоко их презирая, Сталин к ним относился как к сырому материалу, с которым можно делать что угодно, осуществляя в истории некий замысел своей личности и судьбы. Он был в собственных глазах единственным актером-режиссером, а сценой была вся Россия и шире — весь мир. В этом смысле Сталин был по натуре художником. Отсюда, в частности, и многие отклонения Сталина от Ленина в сторону культа собственной личности. Отсюда же его капризный деспотизм, а также подготовка и развертывание судебных процессов как сложно-увлекательных детективных сюжетов и красочных спектаклей. И его спокойная маска на публике, маска мудрого вождя, который абсолютно уверен в своей правоте и непогрешимости и поэтому всегда спокоен. Но Сталин любил и умел гипнотизировать толпу своим спокойствием. А в душе у него наверняка кипели страсти.

Сталин любил заманивать свою жертву притворной лаской или оказанным почетом и в то же время

иногда немного пугать, выбивая из равновесия, играя как кошка с мышью. Так, например, он поступил в 1938 году с Косаревым, который занимал высокий государственный пост и был предан Сталину. На правительственном банкете в Кремле Молотов поочередно произносил тосты за присутствующих, в том числе и за Косарева. И те подходили к Сталину чокаться. А когда подошел Косарев, Сталин его обнял и крепко поцеловал. Но целуя, шепнул на ухо одну фразу: «Если изменишь — убью». Косарев побледнел, вернулся с банкета расстроенный и рассказал об этом своей жене, от которой мы это и знаем. А через несколько месяцев Сталин расстрелял Косарева, хотя тот, конечно, ему не изменял.

Все это было не просто настроением или прихотью, а какой-то продуманной игрой. Сталин любил держать человека на приколе, допустим, оставляя его на высоком посту, но арестовав жену, брата или сына. Перед тем как уничтожить, он, случалось, не понижал, а повышал человека в должности, создавая у того ложное ощущение, что все благополучно.

У крупного партийного деятеля Отто Куусинена Сталин как-то спросил, почему тот не хлопчет об освобождении сына. Куусинен ответил: «Очевидно, были серьезные причины для его ареста». Сталин усмехнулся и распорядился — освободить.

Сталин как бы проверял на людях силу и магию своей власти, и если человек проявлял покорность, Сталин иногда оказывал милость. Но здесь не было строгой закономерности. Человек мог как угодно ползать перед ним на брюхе, а Сталин его топтал. В игре с человеком и над человеком Сталину важно было придать своей власти непостижимую загадочность, высшую иррациональность. В нем была, по всей вероятности, и самая подлинная иррациональность, но Сталин

ее еще сгущал, театрализовывал и декорировал. Это соответствовало и жившей в нем художественной струне, и стремлению придать своей власти религиозно-мистический акцент, и его скрытному, затаенному характеру.

По сравнению со Сталиным Ленин кажется человеком открытым, насколько, конечно, это вообще возможно для диктатора. Ленину не было надобности скрывать что-то особенное или тайное в своей душе и личности, поскольку он весь или почти весь раскрывался в своих рациональных построениях и в своей рациональной деятельности. А Сталину было что скрывать. Поэтому, кстати, имя и личность Сталина окружены легендами самого разнообразного сорта, которые иногда совпадают с фактами, а иногда от них отклоняются, но не настолько, чтобы легенду нельзя было принять за факт. Потому, между прочим, этот текст я сопровождаю столькими рассказами о Сталине, документальными и не вполне документальными, письменными и устными. Без них трудно понять загадочность Сталина.

В принципе эти новеллы следовало бы собрать в большую книгу под названием «Исторические легенды и анекдоты о товарище Сталине». Некоторые историк-прошлого — например, Светоний — строили свои труды во многом как собрание анекдотов и занятных достопримечательностей из жизни того или иного героя. И этот полуфольклор служит нам историческим источником в изучении отдаленных эпох. Нам не так уж важно — правда это или вымысел, или домысел, поскольку сам домысел бывает реальнее фактов. Примерно то же происходит с легендами о Сталине. За фактическую их достоверность нельзя ручаться. Но важно то, что они соответствуют эпохе и образу Сталина в ней, метафизике его личности.

Например: «Рассказывали, что он позвонил по телефону в редакцию молодежной газеты, и заместитель редактора сказал:

— Бубекин слушает.

Сталин спросил:

— А кто такой Бубекин? Бубекин ответил:

— Надо знать, — и шваркнул трубку

Сталин снова позвонил и сказал:

— Товарищ Бубекин, говорит Сталин, объясните, пожалуйста, кто вы такой?

Рассказывали, что Бубекин после этого случая пролежал две недели в больнице, лечился от нервного потрясения» (В. Гроссман «Жизнь и судьба»).

По этим анекдотам и множеству других видно, что Сталин любил не просто проявлять власть, но, пользуясь своим положением, производить попутно всякого рода затейливые «художества». К наиболее добрым из них принадлежит придуманная им игра с маленькой Светланой, документально зафиксированная в их переписке. Дочь Светлану он ласково именовал «хозяйкой», а себя, всесильного хозяина страны, аттестовал ее покорным «секретарем» или бедным «секретаришкой». Рядом же подписывался звучным именем — «Сталин», а членов Политбюро называл также ее «секретарями» или «секретаришками» («Двадцать писем к другу»). Ему нравилось нарочито и шутливо унижать себя перед девочкой, демонстрируя, что он настолько властен, что и высшую свою власть ни во что не ставит.

Сталин, по-видимому, был большим юмористом. Стоит по этой части сравнить его с Лениным. Ленин с грустью признавался Горькому, что лишен чувства юмора. И это можно понять. Ведь Ленин — ученый, притом рационалистического склада, которому юмор не нужен. Одно из проявлений иррациональной, худо-

жественной природы Сталина — его юмор. Правда, это по преимуществу черный юмор, но все же юмор. Этим юмором Сталин наслаждался, владея жизнью и смертью людей, которым он мог принести зло, а мог принести добро. Сталин стоял как бы уже по ту сторону добра и зла. И, сознавая это, чаще всего прибегал к черному юмору, который заключался в колебаниях смысла, так что зло могло обернуться добром, а добро — злом. Когда, допустим, Сталин проявлял ласковость к человеку и в то же время показывал когти, угрожая его убить. Но та же угроза убить могла закончиться вознаграждением. В этой безграничной возможности подменять добро злом и наоборот — проявлялась непостижимая загадочность или черная тайна Сталина. И потому лучшим выражением сталинского черного юмора был — труп. Но не просто труп и не труп врага, а труп друга, который любил Сталина и которому все же Сталин почему-то не доверял...

Это проявлялось и в большой политике. Сталин убил Кирова, а затем, приписав это убийство своим идейным противникам, развязал цепь образцово-показательных судебных процессов. Это был гениальный ход сталинской тактики и политики. Но вместе с тем, убив Кирова, Сталин сделал из Кирова великого вождя. Раньше Киров был известен только в узких партийных кругах. А после его гибели он превратился в великую историческую личность, известную всей стране, и в лучшего друга Сталина. Так что имена «Сталин» и «Киров» стали сопрягаться. Сталин назвал его именем ряд городов: «Кировск», «Кировоград», «Кировакан» и так далее. И это стремление увековечить Кирова и ввести его имя даже в географию России было вызвано не только тактикой — замести следы, но, главным образом, на мой взгляд, черным юмором Сталина. Сталин как бы платил Кирову после его

убийства, выводя Кирова в люди, в главные герои советской истории. Может быть, в этом выразалась тайная благодарность Сталина — Кирову за то, что дал себя убить.

Сталин любил искусство — литературу, кино, театр, всевозможные ансамбли песни и пляски. Это кажется невероятным, но Сталин любил искусство куда больше, чем Ленин, который искусством мало интересовался. Сталинские собственно-художественные вкусы представляли странную смесь самых грубых и варварских пристрастий с тонкостью и пониманием. И это естественно. Сталин — плебей и деспот с какими-то необыкновенными художественными задатками. Ничего подобного мы не найдем у Ленина. Сталин — дикарь по сравнению с интеллигентом Лениным. Но этот дикарь прочел больше художественных произведений, чем Ленин, читавший в основном политическую и научную литературу. А Сталин весьма внимательно следил за развитием советской литературы. Правда, это внимание ей дорого стоило. Но показатель уже сам факт подобного вмешательства, который свидетельствует о неравнодушии Сталина к эстетике. Это было вызвано не только заботами главного цензора, но и внутренним побуждением и пристрастием к искусству. Отсюда мы находим у Сталина и самые нелепые суждения в области искусства, и отдельные проявления глубокой пронизательности. Из его нелепых суждений можно вспомнить знаменитый сталинский афоризм по поводу поэмы Максима Горького «Девушка и смерть». На экземпляре этой — очень слабой — поэмы Сталин начертил: «Эта штука сильнее, чем “Фауст” Гете». Фраза звучит комично. Это предел вульгарности и непонимания. И в то же время Сталин сумел оценить Маяковского как лучшего советского поэта и сделал это не только из политических соображений.

В текущей литературе Сталин разглядел повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» — лучшую повесть о войне (не содержащую, заметим, никаких восхвалений Сталина). А из писателей, идеологически ему чуждых, Сталин испытывал слабость к Михаилу Булгакову и поэтому оставил его в живых. И на постановку пьесы Булгакова «Дни Турбиных» Сталин, говорят, ходил 17 раз. О Достоевском Сталин как-то сказал Светлане, что тот был «великий психолог». «Наверное, — предполагает Светлана, — он находил в Достоевском что-то глубоко личное для себя самого, но не хотел говорить и объяснять, что именно».

И в то же время эстетические вкусы Сталина были весьма примитивными. Известно, например, что он любил вырезать цветные картинки из журнала «Огонек», которые затем окантовывали и развешивали по стенам. Но само это пристрастие к цветным картинкам о чем-то говорит. Так же как пристрастие Сталина к театру и кино. Любимые свои кинофильмы — такие, как «Веселые ребята» или «Волга-Волга» — Сталин смотрел по многу раз. Все это — смешно. Но все это свидетельствует о какой-то природной склонности Сталина к искусству, к которому он проявлял личную заинтересованность.

Психологически сложную, темную, но по-своему поэтическую натуру Сталина передает роман Ф.Искандера «Сандро из Чегема». Там в одной из глав нарисован Сталин середины 30-х гг., в честь которого устроено пиршество в Абхазии. Пиршество сопровождается песнями и плясками национального ансамбля. Но все аплодисменты обращены к Сталину. Сталин поднимает тост за хозяина дома, Нестора Лакобу, своего преданного друга, которого он вскоре уничтожит. А потом Сталин с мрачным вдохновением слушает грузинскую песню «Лети, черная ласточка, лети...» и

воображает себя такой черной ласточкой, осмысляя свою судьбу великого вождя, который никого не любит и не может, не должен никого любить, ибо в этом его трагический удел. Эти страницы принадлежат к лучшему, что было написано о Сталине в современной советской неподцензурной прозе. Именно потому, что они выражают иррациональность Сталина.

Тайна и магия сталинской власти

Сталин — это человек, развращенный властью, но как никто понимавший природу власти. И одна из самых главных пружин сталинской власти — тайна, которой он себя окружил. Поэтому Сталин не просто безжалостный диктатор, но своего рода гипнотизер, сумевший поставить себя на место Бога и внушить людям соответствующее отношение. Сталин понимал, что власть должна быть таинственной, и этой таинственностью как бы окутан культ Сталина. Таинственность была в непредсказуемости его решений, когда Сталин убивал не только своих врагов, но и своих друзей. Таинственность и в его «черном юморе». И даже речь Сталина рассчитана на эту таинственность. Мы знаем, что Сталин был весьма немногословен и говорил очень медленно, перемежая слова долгими паузами. Поэтому казалось, что за самыми простыми его словами что-то кроется. С помощью этих пауз Сталин умел придать всем своим словам и действиям таинственную непостижимость, что и означало «мудрость». Отсюда и ощущение, что Сталин все знает или все видит. То есть присвоение себе божественных полномочий — всеведения. При Сталине невероятно разросся аппарат тайной полиции, проникая во все поры советского общества. Но помимо своих прямых, карательных функций это имело еще значение величайшей таинственности, с какой осуществляет свое дело всеведущая и всемогущая власть.

С этим же связано стремление Сталина слыть корифеем во всех областях науки. Сталин не был ученым. Но так старался придать себе образ какой-то универсальной учености, что выступал даже по вопросам языкознания, в области, казалось бы, предельно от него удаленной. И все видели, что сталинский ум простирается повсюду и от него ничего не скрыто. Ходили легенды, что Сталин даже читает книги особым фотографическим способом. А именно, ему не нужно водить глазами по строчкам, а достаточно взглянуть на страницу, и страница в одно мгновение отпечатывается в его памяти. В результате Сталин каждый день успевает прочитывать по тысяче страниц.

Когда умер Сталин, многие думали, что все погибло. Причем так думали даже люди, политически совсем не приверженные режиму и не обожавшие Сталина. Просто персону Сталина превратилась в синоним всего государства и самой жизни на земле. «Нас имя Сталина ведет, а Сталин — это жизнь» (Александр Твардовский). Недаром солдаты во время войны шли в атаку и воевали под одним девизом: «За Родину! За Сталина!» Сталин был адекватен Родине. В быту его почтительно называли — Хозяин. И все знали, что Хозяин — это Сталин.

Известны случаи посмертных явлений Сталина. Эта «мистика» довольно точно показывает, какой магической властью обладал Сталин над умами советских людей, если он возникал уже на манер какого-то демона. Известный советский писатель Леонид Леонов в частной беседе с суеверным ужасом рассказывал, что после хрущевских разоблачений Сталина, когда его имя повсюду вычеркивали, Леонов со своей старой редакторшей как-то весь вечер, готовя переиздание, снимал в очередном томе сочинений имя вождя. И вот редакторша, уходя от Леонова, упала на лестнице и

сломала руку. Леонов совершенно серьезно уверял, что это была месть самого Сталина, который, дескать, на темной лестнице подтолкнул старушку. И я, прибавляя Леонов, с тех пор тоже плохо себя чувствую.

Так это или не так — мы гадать не будем. Ибо нас интересуют не эти привидения, а то очарование, пускай мрачное, которое умел внушать Сталин и при жизни и после смерти. Объяснение этому — глубокая тайна, которой он обставил свою власть и собственную личность. Сталин угадал, что сила власти во многом состоит в ее тайне.

Магическое воздействие Сталина (если представить это схематически) распадается на две части — светлую и темную. Соответственно, одна половина сталинской личности пребывает как будто в ярком свете дня. Днем ликуют народы, возводятся постройки, совершаются парады, расцветает искусство социалистического реализма. Но главные дела происходят ночью — аресты, и расстрелы, и политические интриги, и государственные заседания, объединенные с ночными застольями, исполненными черного юмора и зловещего шутовства. Этот ночной стиль жизни отвечал тайне, которую Сталин вложил в само понятие, в само содержание власти. Поэтому, между прочим, о Сталине так интересно читать. Тайна затягивает, засасывает. Книга Александра Орлова называется «Тайная история сталинских преступлений». Это звучит как музыка, как название какого-нибудь увлекательного романа: «Парижские тайны», «Таинственный остров», «Тайна двух океанов». Сталин, можно сказать, сумел превратить историю советского общества в тайную историю своих интересных преступлений...

Оглядывая сталинскую эпоху, я не нахожу в ней художника, который был бы достоин Сталина и отвечал бы его грозному «ночному» иррациональному духу.

Таким художником при жизни Сталина мог быть, очевидно, лишь сам Сталин, построивший из государства театр одного актера. Всех прочих художников, которые могли бы с ним соперничать в искусстве или в жизни, он устранил. А основной массе писателей предоставил идти по светлой дороге соцреализма, отвечавшей только «дневной» стороне его натуры и работы. Но до одной таинственной книги он все же не добрался, и она нам досталась много лет спустя как прижизненный памятник той уникальной эпохи.

Я имею в виду роман Булгакова «Мастер и Маргарита», написанный в то самое время, когда с невероятной силой проявился иррационализм Сталина. Роман Булгакова теснейшим образом связан со «сталинской» проблематикой, хотя ею, конечно, не ограничивается. Воланд, т.е. сам Сатана, благоволящий Мастеру, это до некоторой степени Сталин, благоволивший Булгакову, — Сталин, представленный в темном, черном и все же идеализированном образе.

В 1930 году Булгаков написал письмо Советскому Правительству, где рассказал, как его затравила критика и цензура, как он, отчаявшись, бросил в печку черновик романа о дьяволе — т.е. предшествующий «Мастеру и Маргарите» текст. Булгаков просил Правительство отпустить его на свободу, в эмиграцию, либо каким-нибудь образом его трудоустроить. В том же письме Булгаков рекомендовал себя: «я — мистический писатель», предпочитающий «черные и мистические краски».

По поводу этого письма Булгакову позвонил по телефону сам товарищ Сталин и, между прочим, спросил: «Что, мы вам очень надоели?» По-видимому, эта реплика так поразила Булгакова, что он ее воспроизвел в «Мастере и Маргарите», где Воланд спрашивает Маргариту после «Великого бала»: «— Ну что, вас очень измучили?..»

Да и сам этот «Великий бал у сатаны» представляет собою некий апофеоз зла, квинтэссенцию преступлений, достигших предела и сосредоточенных в Сталине. Все злодеи мира собраны здесь — у Воланда, у Сталина.

Допустимо отметить множество других аллюзий. Скажем, когда Афраний после казни Христа говорит Пилату, поднимая чашу: «— За нас, за тебя, кесарь, отец римлян, самый дорогой и лучший из людей!..», перед нами очередной намек на Сталина. Но главное — не отдельные намеки и не прямые ссылки на современность, а вся атмосфера романа, пронизанная сталинскими темными токами. Атмосфера какого-то массового гипноза, психоза, в котором находится общество, следуя путем доносов и разоблачений, где само ГПУ, тюрьма и допросы представлены как некий театр — в подражание сталинскому театру разоблачений и репрессий.

Ночь, когда создавался роман, была так беспросветна, что даже дьявол внушал тень доверия. Эту роль дьявола, темного гения, роль Воланда, по каким-то непонятым, загадочным причинам снисходительного к писателю, к Мастеру, в жизни самого Булгакова сыграл — Сталин.

Между тем автора «Мастера и Маргариты» по всем раскладкам следовало уничтожить, и очень может быть, что если бы Сталин подозревал о существовании романа, то... Но пока что хватали и стреляли других писателей, в том числе самых пролетарских, самых назойливых в своей преданности партии, вроде Авербаха, и в «Мастере и Маргарите» представлены весь содом и бедлам тогдашней литературы, которая давно уже ходила облавой на Булгакова, всенародно клеймив его недостреленным белогвардейцем, а теперь вдруг гибла сама хуже белой гвардии. Булгаков же

уцелел по неизвестной иронии рока и, загнанный в угол, описывал в романе свою странную дружбу с Воландом, который, развязав и подстроив все колдовство, оказывался много добрее казнимого им человечества. Люди стали бесами, а главный бес — меценатом.

Эта мистика отношений писателя и вождя получила отражение даже в графической близости имен, где Воланд (через W) несет на себе перевернутый герб Мастера и Маргариты — М.

...Он верит в знание друг о друге
Предельно крайних двух начал, —

писал тогда же Пастернак на сходную мистическую тему отношений Поэта с Вождем (и конкретно—Пастернака и Сталина).

Да, Сталин умел внушать не только ужас и любовь к себе, но и веру в свою магическую силу. В частности, среди теософов, подвергавшихся преследованию и не слишком уж почитавших режим, ходила тем не менее версия, что Сталин знает нечто такое, о чем никто не догадывается, и является инкарнацией Великого Учителя Ману. Однако булгаковское увлечение Воландом куда более оправдано, ибо в его лице Сталин выступает как удивительный, уникальный в своей профессии художник-фокусник (отсюда его симпатия в романе к профессионалу-мастеру-писателю-Булгакову), отдавший себя всецело искусству миражей и наваждений. В Сталине, с его коварством и колдовством, с его умением стоять над всеми в сумрачном одиночестве злого, всезнающего и всемогущего духа, Булгаков, должно быть, почуял артистическую жилку и раздул ее в своих грезах о Воланде.

Разумеется, ни Воланд, ни роман Булгакова в целом не сводятся к сталинскому аспекту, как не сводится эта книга к собственной биографии автора. Но че-

рез нее мы лучше поймем специфику советского исторического процесса, в какой-то момент полностью замещенного игрой одного Чародея, который самой истории сумел на длительный срок придать силу и видимость сказочной фантастики, безумного и кошмарного фарса. Недаром в центре событий в романе Булгакова поставлен сумасшедший дом, в конечном счете охватывающий всю Москву.

Не сговариваясь с Булгаковым и не будучи мистиком, Хрущев сравнивал сталинскую эпоху с сумасшедшим домом, где лично ему, Хрущеву, случайно повезло: достался, говорит Хрущев в мемуарах, «счастливый лотерейный билет», и потому он остался в живых и не попал во враги народа. Лотерейный билет, как выяснилось, состоял в том, что Хрущев учился в промакадемии вместе с женой Сталина и защищал позиции Сталина, а та по женской наивности все пересказывала мужу, и Сталин навсегда запомнил: Хрущев — свой, сталинский человек. Впрочем, Сталин тоже как-то обмолвился, что «мы живем в сумасшедшее время».

Л.Троцкий писал в 37-м году, что преступные черты в Сталине приняли «поистине апокалиптические размеры» и называет его подлоги «чудовищными», сравнивает их с «кошмаром» и «бредом». Все эти эпитеты действительно передают духовный портрет Сталина и его эпохи, хотя слабо вяжутся с марксизмом. «Мистический писатель» Булгаков прозревал реальность, что тогда не удавалось никаким «реалистам». Булгаков показал, что советская история вступила в область непознаваемого, в поле действия каких-то демонических сил.

Традиции самодержавия в культе Сталина

В секрете править и властвовать Сталин безусловно опирался на давнюю в России традицию самодержавия, хотя в своей власти превзошел всех царей. Любо-

пытно, что вскоре после смерти Ленина Сталин однажды проговорился, что России необходим царь. На каком-то обеде зашла беседа, обычная для того времени, на тему — как управлять партией без Ленина. И вдруг Сталин сказал: «Не забывают, что мы живем в России, в стране царей. Русский народ любит, когда во главе государства стоит какой-то один человек». Тогда никто не обратил внимания на эту фразу и никто не подумал, что на роль императора Сталин прочит самого себя. Но сталинские слова реализовались и притом в невероятных масштабах. Основы единодержавия заложил еще Ленин. Но Сталин сумел придать ему религиозный и даже мистический оттенок. Из русских традиций он уловил, что царь должен быть грозным, даже страшным, и в то же время дарить народу свою улыбку как высшую милость. Возможно, в этом сказались и восточная природа Сталина, который своей монархии придал образ древних восточных деспотий. А вместе с тем сказалось какое-то чутье Сталина к собственно русскому национальному характеру.

В своем русоцентризме Сталин порой прибегает к аргументам старого, дореволюционного времени. Например, в 1945 году по случаю победы над Японией Сталин обратился к народу со следующей речью:

«Поражение русских войск в 1904 году в период русско-японской войны оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот этот день наступил».

Эти слова звучат удивительно, ибо в русско-японской войне 1904 года большевики совсем не были патриотами но, как обычно, выступали сторонниками поражения России, потому что это было полезно для рус-

ской революции. И, конечно, в 1945 году никакой народ не помнил о необходимости сквитаться с Японией, а вот Сталин, выходит, помнил.

Сталинский монархизм проявляется и в возрождении некоторых старых, дореволюционных порядков и нравов. Скажем, в армии вводятся погоны, воинские чины и звания, и это после того, как слово «офицер» долгое время было ругательным. Некоторые эмигрантские старички такому умилялись и радовались. А людей, воспитанных в советских нормах, то есть в ленинских традициях, это порою коробило. Такова была логика новой, сталинской эпохи с ее попытками возродить какие-то монархические формы и привычки. Сталин как бы устраивал себе царственное окружение.

Забавно, что Сталин везде вводит единоначалие. Даже в литературе все распределяется по рангам. Самый главный столп социалистического реализма — Горький. В поэзии — Маяковский. Самый главный режиссер — Станиславский. И даже еврей в правительстве один — Каганович.

И, надо сказать, культ личности Сталина встречал поддержку в народе, а не был только навязан силой. Нравилась мистика власти, которую внушал Сталин. Он импонировал народу своим величием, своей недоступностью, своей загадочностью. Здесь сказывается, на мой взгляд, не просто пристрастие русского народа к царям, а пристрастие к власти, на которой лежит печать иррациональной тайны. Я даже полагаю, что в этом проявляется какая-то религиозность русской души, принявшая искаженную форму в обожествлении Сталина. Ведь Сталин — это царь с могуществом как бы самого Бога. Отсюда предпочтение, какое русские люди иногда отдают такому диктатору, как Сталин, перед парламентом или перед законом. Поразительно, с каким, в общем, равнодушием народ отнесся к разго-

ну Учредительного Собрания, то есть своего парламента, который большевики презрительно прозвали «учредилкой», и это словцо привилось в народе. Потому что власть парламента лишена тайны, какую несет царь, тем более такой царь, как Сталин. Этот царь выше закона, и это многим казалось правильным, как выше закона Сам Господь Бог. Закон всегда формален и рационален, постижим разумом, в то время как сталинская мудрость — непостижима. Царь может казнить, а может и помиловать, не спросясь никакого закона, в нарушение закона. И русский человек ждет от царя милости. И не желает иметь дело с законом.

До сих пор многие в России считают, что при Сталине был порядок, а после Сталина порядка не стало. Ибо Сталин все знал и все мог. Мне пришлось как-то долго и безуспешно спорить с одним рабочим, который уверял, что при Сталине простым людям жилось гораздо лучше. Поскольку начальники боялись Сталина, а Сталин начальников периодически, через каждые десять лет, расстреливал, и только так и возможно управлять страной. Потому что, по этой логике, начальники за десять лет распускаются («забуреют»), и их нужно стрелять, а на их место ставить новых начальников, которые еще не успели зажраться, и таким образом Сталин проявлял исключительную заботу о народе, систематически расстреливая руководящие кадры. С этой точки зрения сталинские казни — это следствие его доброты к простому народу. А когда напоминаешь, что и простой народ попадал в число казнимых, ваш оппонент возражает: а с нами так и надо обращаться, и поэтому при Сталине был настоящий порядок. Такова магия его власти.

Конечно, эта власть и магия власти не давались Сталину даром. Сталин был, очевидно, очень одиноким человеком и никому не доверял. Отсюда его мрач-

ность, переходившая в манию преследования. Слишком много людей убил он в своей жизни, и ему мерещилось, что с ним могут свести счеты. Еще при жизни Сталина появился анекдот, в котором по аналогии с коньяком Сталина называли «маньяк три звездочки», имея в виду три золотых звезды Героя Советского Союза, которыми он себя наградил.

Мания преследования особенно усилилась к концу его жизни, и поэтому жизнь у Сталина была далеко не сладкой. Говорят, что на дачах, где он жил, имелось несколько спален, и он менял место своего сна. На каждой кровати лежала смена постельного белья, и постель Сталин обычно стелил сам. Причем имел привычку заглядывать перед сном под кровать, и для этого была приготовлена специальная лампа. Рассказывают, что за столом он работал редко, а имел обыкновение перемещаться со своим стулом по комнате, с тем, чтобы в него было труднее прицелиться. Ходили слухи, что у Сталина были специальные двойники, которые его подменяли. Уже не говоря о постоянной охране и слежке, которая велась повсюду и за всеми, включая членов Правительства и Политбюро.

Существует версия, что Сталина все-таки убили. Мне она представляется недоказанной и маловероятной. Никто из приближенных не мог и помыслить о таком шаге, да и всех смельчаков подобного рода Сталин давным-давно ликвидировал.

Термин «культ личности», конечно, очень узок и звучит несколько нелепо, ибо сводит все содержание сталинской эпохи и сталинского государства к частным ошибкам и недостаткам Сталина. Ничего себе ошибки — когда вся страна, да и вся история, пошла не туда, куда ей следовало идти согласно первоначальной доктрине. И все же понятие «культ личности» передает что-то важное в характере этой цивилизации.

Слово «культ» предполагает религию, религиозное поклонение и религиозный обряд. Но в данном случае это религия без Бога, которого замещает государственная власть и конкретный носитель власти — Сталин. Таким образом, обожествление Сталина — это реальное проявление церковной природы советского государства. Государство ученых при Ленине — сменилось церковным государством при Сталине. Очевидно, к такой замене существовали предпосылки и раньше. Их можно видеть в религиозном поклонении власти, которая всемогуща и имеет все права на любое прикрытое и неприкрытое насилие. Да и в марксистской идеологии, как мы видели, наблюдается что-то общее с религией, только без Бога. С коммунизмом впереди вместо Царства Небесного, с исторической необходимостью — вместо Божьего Промысла. А религиозные потенции существовали в русском социализме еще до всякого марксизма. Только ранний социализм обожествлял человека вообще, а Сталин обожествил самого себя как олицетворение государственной власти.

Далее, церковный характер советского государства состоит в том, что оно простирает руку на всего человека и, главное, — на его душу и сознание. Любое непризнание партийной доктрины крамольно и почитается опасным государственным преступлением. Все это, как известно, началось уже при Ленине, который призывал расстреливать за так называемую буржуазную пропаганду. А Сталин эту унификацию страны, сословий и самих мыслей человека — довел до конца. Недаром советские писатели хвастались, что мы живем в мире единомыслия. Раньше в мире царило разномыслие, и поэтому люди спорили и враждовали, а мы живем в век великого единомыслия и поэтому счастливы, и этому единомыслию уже конца

не будет, и к такому единомыслию движется все человечество.

Когда-то Достоевский, ведя полемику с католичеством, упрекал его за то, что оно церковь превратило в государство. А наш Православный путь другой, говорил Достоевский: мы хотим в идеале, чтобы само государство превратилось в Церковь. И вот мечта Достоевского — сбылась, только сбылась навыворот, ибо государство без Бога превратилось в церковь без Бога и с бесконечными претензиями на человеческую совесть. И поэтому Сталин не просто говорит, а как бы священнодействует, и всякий его противник, даже мнимый, должен покаяться в грехе прежде, чем его расстреляют.

Отсюда же громадное значение единообразной формы. Существует одна наука — марксизм, один главный корифей науки — Сталин, один так называемый творческий метод в искусстве и литературе — «социалистический реализм», один основной учебник по истории и т.д. Любая оригинальность опасна и подозрительна. Не допускаются даже слишком заметные стилистические отклонения от принятого стандарта. Вся борьба с так называемым формализмом — это борьба за партийный стандарт, за строгую церковную форму в искусстве и литературе. Да и в быту проявлялись те же тенденции. Бороды и длинные волосы у мужчин рассматривались как признак нонконформизма. Борьбу вели с узкими брюками у мужчин, с брюками у женщин, с мини-юбками...

Ленин еще требовал от марксизма конкретного анализа исторической ситуации. А Сталин требует точно установленных формулировок. Поэтому и в речах выступающих необходим строгий стандарт с установленными цитатами из Ленина и Сталина, и не дай Бог случайно ошибиться в цитате. Форма сковывает,

мертвеет и в этом тоже становится похожей на церковную преданность точной букве. А в 30-е годы и позднее даже сажали за опечатки в прессе или в книге, рассматривая это как вражескую вылазку. От этого, правда, была одна прибыль: в советских изданиях крайне мало опечаток. Сталинские уроки хорошо запоминались.

Культ вождя начался, разумеется, еще при Ленине, который пользовался непререкаемым авторитетом. И любопытно, что он оформился в подобие церковного культа, когда Ленин умер и был набальзамирован и положен в Мавзолей. В этом, может быть, всего нагляднее проявляется церковная природа советского государства. И проявляется как-то особенно страшно. С Лениным в Мавзолее происходит своего рода поклонение трупу. Советское государство в начале своего существования, борясь с православной религией, изымало из церквей мощи святых, глумилось над ними и уничтожало. А само превратило Ленина в искусственные мощи. Но ведь мощи святых предполагают веру в Бога, в бессмертие души и воскресение из мертвых. А тут при отсутствии истинной веры сохраняют — прах. Говорят, Крупская была против такого погребения Ленина в Мавзолее. Но, конечно, ее не послушали и сделали из Ленина мумию в интересах Государства. За образец или прототип, по-видимому, были взяты мумии древнеегипетских фараонов. Но, во-первых, в древнем Египте это тоже предполагало веру в Бога и в загробное царство. Во-вторых, фараон, с точки зрения народной и в собственных глазах, был действительно обожествленным царем, а не просто главным диктатором.

Мавзолей с Лениным находится в центре Красной площади, а Красная площадь символически рассматривается как центр страны и всего мира. Таким

образом, мавзолеей становится каким-то подобием храма. На трибуну этого храма выходят очередные вожди на парадах и демонстрациях, чтобы показать себя народу. Храм же построен для мертвого тела, без веры в Бога, с верой лишь в идею и правоту своего дела, т.е. в собственную обожествленную власть.

Когда-то давно, в юности, будучи студентом, я узнал, что у нас в стране арестованных по политическим мотивам пытаются, заставляя признавать свою вину. У меня был приятель значительно старше меня и уже член партии. Я ему как-то сказал, что у нас применяются пытки. По счастью, он не был доносчиком. Но вот как он ответил, притом совершенно искренне и не по боязни. «— Не рассказывай мне о пытках. Даже если это действительно так, я не хочу об этом знать. Потому что я хочу верить, а без веры я не могу». Тогда я страшно удивился. Потому что человек во имя веры сознательно закрывал глаза на факты, на реальность.

Вот в этом и сказывается религиозно-церковная основа советской цивилизации. С того времени, конечно, многое изменилось в стране. Вера в коммунизм почти повсеместно выветрилась. Однако государство продолжает сохранять внешнюю форму церкви. Веры уже нет, но мертвая оболочка осталась — и очень крепка и устойчива, наподобие окаменевшего панциря, который не желает меняться и даже испытывает ностальгию по сталинизму. Ибо тогда был порядок, и власть была не бездушным механизмом, а тайной.

*Глава пятая***НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК****Эпоха перестройки и перековки человека**

Новый человек — это поставленная советской эпохой, советской цивилизацией широкая и сложная проблема. Это вопрос о человеке, который призван знаменовать радикальное изменение всей человеческой истории. И государство, о котором мы говорили до сих пор, не смогло бы удержаться и существовать так долго, если бы оно не имело опоры в социально новом, в психологически новом человеке.

Тема «нового человека» очень сложна и выступает в трех аспектах: первый — сама идея или идеал «нового человека»; второй — историческое разнообразие его проявления и существования; и третий — синтез идеала с действительностью или советский человек как феномен современности.

На знамени революции было написано: «Все — заново». Но для создания «нового человека» недостаточен один лишь революционный скачок Октября. Необходим длительный процесс изживания всего старого в человеке, в результате чего должен появиться искомый «новый человек» коммунистического общества. Лучше других большевиков сложность этой проблемы понимал реалистически мыслящий ученый и политик Ленин. Он знал, что «новому человеку» (то есть коммунистической партии и передовому пролетариату) после революции в России придется иметь дело с громадным «старым материалом» — это и крестьянство, со своими обычаями и навыками, и часть рабочего класса и, наконец, так называемые «старые буржуазные специалисты», которых вынуждено использовать новое государство.

«Старый человек» складывался веками и веками рабства, как расценивали всю предшествующую историю человечества марксисты. Переделать его психологию можно лишь путем создания совершенно новых, социалистических условий существования. Значит, надо, в первую очередь, всячески развивать социалистическую экономику, которая и станет условием создания новых людей.

А с другой стороны, психологию «старого человека» можно и необходимо уже сейчас изменять путем перевоспитания, путем упорного общественно-морального воздействия. Поэтому советская власть не только жестока, но и очень скучна и дидактична в своей идейно-воспитательной работе. Эта власть все время читает нотации и своим гражданам, и всему миру, всему человечеству с целью переделки «старого человека» в «нового». Советская цивилизация принимает нравоучительно-дидактический образ. Государственная власть воспитывает, прорабатывает, наставляет и поучает людей. Это — соединение тюрьмы со школой, притом со школой для трудновоспитуемых или дефективных детей. Поэтому воспитанию сопутствует наказание, тюрьма оказывается способом воспитания.

В итоге лагерь представляет собой образ всей советской цивилизации в миниатюре. Неслучайно советские лагеря назывались и называются исправительно-трудовыми колониями. Предполагается, что в лагерях, за колючей проволокой, преступники не просто содержатся, но подвергаются исправлению, которое осуществляется двояким путем: путем труда в согласии с известным марксистским тезисом, что труд из обезьяны создал человека, и путем нравоучительного, идеологического давления, которое начальство (то есть «новые люди») оказывает на преступников, воспитывая их в духе коммунизма, в духе «нового человека».

Идея «нового человека» — краеугольный камень советской цивилизации. Без «нового человека» не построишь социализм в отсталой стране. Эту идею глубокой внутренней перековки и переделки человека можно выразить стихами Маяковского 1918 года:

Попалили денек-другой из ружей
и думаем —
старому нос утрем.
Это что!
Пиджак сменить снаружи —
мало, товарищи!
Выворачивайтесь нутром!

Подобную же программу мы слышим со стороны правительства. Сошлюсь на слова Бухарина, который считался вторым теоретиком и эрудитом марксизма после Ленина. В 1922 году Бухарин писал, что главная задача революции состоит — «в переделке самой психологии людей». «Из рабочего класса, — писал Бухарин, — должен выработываться состав нового типа людей». Позднее, в 1928 году, в газете «Известия», редактором которой был Бухарин, появилась его программная статья на ту же тему.

«В нашей системе научного планирования одно из первых мест занимает вопрос о плановой подготовке новых людей — строителей социализма».

Первоначально понятие «новый человек», или «коммунист», предполагало весьма широкое содержание. Оно включало все самые прекрасные свойства человека. Это как бы человек во всей своей человеческой полноте, которая наконец раскрылась благодаря революции. Но такое определение «нового человека» (или «коммуниста») весьма расплывчато, неопределенно и поэтому просто смешно в применении к действительности. В качестве иллюстрации приведу стихотворе-

ние старейшего пролетарского поэта Ф. Шкулева. Оно было написано в 1919 году как декларация «нового человека» и называлось: «Я — коммунист». Шкулев здесь пытается дать самое полное определение «коммуниста»:

Люблю я зори, воздух чистый
И голубые небеса,
Журчанье речки серебристой,
Родные нивы и леса.

Люблю желанную свободу,
Немую тишь и бури свист,
Погожий день и непогоду...
Я коммунист, я коммунист.

Народа труд я воспеваю.
На свете труд, как солнце, чист.
Богатство, леность — презираю.
Я коммунист, я коммунист!

Так и в таком роде можно продолжать до бесконечности, поскольку автор понятием «коммунист» стремится охватить все на свете — всего человека, человека вообще. Но для того, чтобы созерцать природу и любить «голубые небеса», «зарю», «воздух» и прочее — не обязательно быть коммунистом. Истинный «коммунист» (или «новый человек»), безусловно, понятие куда более узкое и точное. Чтобы быть коммунистом, надо обладать немногими, но максимально развитыми свойствами, которые и определяют психологию нового человека.

Я бы выделил для начала три основных качества «нового человека». Во-первых, это безграничная преданность высшей цели, которая состоит в построении идеального общества на земле. То есть — фанатическая вера в идею коммунизма.

Во-вторых, решительный переход от идеи к действию. «Новый человек» непрестанно переделывает мир по своему идеалу. «Новый человек» не мечтатель, а деятель и практик. И одна из его главных задач состоит в том, чтобы всех сделать похожими на себя и тем самым осуществить коммунизм.

В-третьих, новый человек обязательно выступает как представитель массы или класса, который через него и осуществляет свой идеал. «Новый человек» никоим образом не одиночка. И даже если в каких-то обстоятельствах ему приходится действовать одному, все равно психологически он ощущает связь с коллективом, который незримо стоит за ним. Этот коллектив называется «партия», «класс» или даже «весь советский народ» и в идеале состоит или должен состоять из «новых людей». Поэтому «новый человек» выполняет не свое собственное, а непременно большое, «общее» дело. И помимо этого «общего дела» он не имеет других, личных, обособленных интересов. Общее для него становится личным. Говоря «я», он имеет в виду «мы» — мы, передовые борцы и строители коммунизма.

Самый страшный человеческий грех, с точки зрения «нового человека», состоит в личном эгоизме или индивидуализме, в стремлении людей жить для самих себя, а не ради всеобщего счастья. А поскольку большинство людей на свете живет практически для себя, заботясь в первую очередь о собственном благе, перед «новым человеком» возникает задача радикальным образом переделать саму человеческую природу и вытравить из нее этот «первородный грех» личного эгоизма. «Первородный грех» ярче и нагляднее всего персонифицируется в понятии «буржуй». Ибо «буржуй» откровеннее и больше всего живет для себя, притом за счет других, за счет пролетариата, что и находит выра-

жение в капиталистической собственности. Поэтому «буржуй» на первых порах — главный враг «нового человека», главная опасность и самое ужасное проявление «старого человека» и старого общества.

Но «буржуй», помимо прочего, это явление психологическое и, можно даже сказать, повсеместно распространенное, универсальное, связанное с общечеловеческой природой. Поэтому и с ликвидацией буржуазии, с ликвидацией частной собственности в сознании людей продолжают оставаться так называемые «буржуазные пережитки». Эти буржуазные пережитки проявляются в чем угодно — в индивидуализме, лени, разврате, в свободе, в присутствии чуждых идей и взглядов. Но суть этих пережитков одна, и потому они называются «буржуазными» — эта суть заключается в *личной* корысти, в *личном* интересе и вообще в *личности* человеческой, коль скоро она в чем-то расходится с общим делом. Отсюда необходимость подавления всего личного в других и в себе самом. Отсюда недоверие и даже ненависть нового человека к самому понятию «личность». Ибо личность — это как бы недорезанный буржуй, сидящий внутри каждого человека. И вот с этой «личностью» ведется борьба, и личность подвергается длительной воспитательной обработке, с тем чтобы она видоизменилась и стала идеальной частицей коллектива, то есть «новым человеком».

«Новый человек» гордится, что у него нет ничего своего, что он всего себя отдает общему делу, что для него личное и общественное тождественны. Все «мое» — это «наше», а «наше» — это «мое». Об этом писал Маяковский в поэме «Хорошо!» (1927 г.), изображая трудовой субботник в начале революции:

изме. В героизме нового человека связываются воедино фанатическая вера в высшую цель, претворение этой веры в конкретное дело, и, наконец, свершение высокого подвига не ради личной славы, а ради общей пользы.

В годы гражданской войны коммунистам вменялось в обязанность проявлять героизм в бою, ибо трус не может быть «новым человеком», призванным своим героизмом подавать всем пример, то есть воспитывать массы.

Конечно, реальные люди совершали подвиги по разным мотивам, в том числе и ради личной славы. Но в идеале героический подвиг «нового человека» не должен приносить ему никакого личного успеха, никакой корысти и должен даже оставаться безымянным. Интересный пример мы находим в документальной книге Фурманова о Чапаеве. Фурманов рассказывает, что в некоторых дивизиях во время гражданской войны бойцы и командиры отказывались получать ордена и мотивировали свой отказ следующим образом: либо всем давайте ордена, либо никому не надо. Такой идеализм был невыгоден самой власти. Потому что орден — это тоже частица воспитательной работы по выделыванию людей новой породы. И ордена очень скоро внедрили, и советские люди орденами невероятно гордились и гордятся. Но первоначальный отказ получать ордена говорит нам, как развито было сознание и чувство равенства в начале революции. «Новый человек», каким он был или воображал себя, не хотел ничем выделяться из массы и, отказываясь от ордена, как бы заявлял, что он совершил подвиг не для себя, а для пользы общего дела и во имя высокой цели — коммунизма.

В годы гражданской войны, больше чем когда-либо

в советской истории, действительно выковывалась новая порода людей. Передать этот образ нового человека можно стихами советских поэтов, которые либо сами прошли опыт гражданской войны, либо связали с ним свое творчество.

Эдуард Багрицкий:

В нас стреляли —
И не дострелили;
Били нас —
И не могли добить!
Эти дни,
Пройденные навывлет,
Азбукою должно заучить!

На этой азбуке и воспитывали и воспитывают до сих пор советского человека.

Михаил Светлов:

Не кровь с молоком —
Свинец со штыком,
Дисциплины краткая речь —
Так начиналась наша игра,
Которая стоила свеч.

Николай Тихонов:

Жизнь учила веслом и винтовкой,
Крепким ветром, по плечам моим
Узловатой хлестала веревкой,
Чтобы стал я спокойным и ловким,
Как железные гвозди — простым.

Примечательно, как отозвался в 1923 году на вышедшие тогда первые книги Ник. Тихонова известный советский литературовед и критик А. Воронский: «В расхлябанной, «толстозадой», обломовской Руси появилась новая порода людей — простых и крепких, как гвозди».

Вообще, советской цивилизации присущ культ героического. У нас даже весь советский народ величают не иначе, как «героический советский народ», который не просто работает, а занимается «героическим трудом». И каждая эпоха советской истории выдвигает и отыскивает своих героев, которые становятся идеальным образцом и по нему воспитывают массы. К таким воспитательным образцам принадлежали летчик Чкалов, папанинцы, зимовавшие на льдине, космонавт Гагарин и т.д. Подвиги, которые они совершают, помимо прочего имеют воспитательную задачу. Задачу перестроить обычных нормальных людей в людей особой, новой породы. В годы Отечественной войны и после нее таким образцово-показательным героем был, например, Александр Матросов. Напомню: его подвиг состоял в том, что Матросов собственным телом закрыл амбразуру немецкого дота, откуда вели пулеметный огонь, и таким образом позволил другим бойцам ликвидировать неприступный дот. А если человек жертвует собою ради высшей идеи и пользы дела, значит, это и есть новый человек.

Неслучайно советская литература полна воспитательными романами о том, как обыкновенный человек постепенно превращается в нового. Самым первым по времени образцом социалистического реализма был объявлен и признан единогласно роман Максима Горького «Мать», написанный еще в 1906 году. Это как раз образец воспитательного романа. Пожилая, безграмотная, темная, забитая женщина постепенно превращается в пламенную, сознательную революционерку, в борца за дело рабочего класса.

Но самым актуальным учебником жизни для молодых людей советской эпохи разных поколений считался роман Николая Островского «Как закалялась сталь», написанный в 30-е годы. Это тоже пример вос-

питательного романа, имевшего тем больший успех, что роман был автобиографическим, речь шла не о выдуманном герое, а о вполне реальном человеке с героическим прошлым и настоящим. К тому же сам акт написания романа был тоже в известном смысле героическим. Писал его автор, ранее никому не известный и тяжелообольной, прикованный к постели, полностью ослепший вследствие тяжелой контузии, полученной в гражданскую войну. И по самой идее романа его написание было последним долгом человека в борьбе за коммунизм, последней пользой, которую он мог принести обществу. Вся его жизнь была таким служением идее — в бою, в труде, на партийной работе и, наконец, когда он ослеп — писательским пером. Иными словами, человек этот всегда делал что-то превышающее силы и возможности обычного человека. И в этом была биография не его одного, но как бы всего поколения героев и мучеников революции, которое воспитывалось и закалялось в преодолении тяжелых препятствий и находило счастье в полной самоотдаче общему делу и великой идее.

Но вот примерно через тридцать лет после романа Островского «Как закалялась сталь» Александр Солженицын как бы откликнулся на него и на идею нового человека — рассказом «Случай на станции Кречетовка». Внутренняя полемика с романом Островского угадывается уже в названии рассказа. Герой романа Островского Павка Корчагин начинал свой героический путь со станции Шепетовка. А Солженицын изображает сходную по звучанию станцию — Кречетовка, где в роли дежурного помощника коменданта поставлен молоденький лейтенант (в прошлом студент) Зотов. Действие происходит поздней осенью 1941 года, в момент страшного, панического отступления советских войск. Через станцию проходят эшелоны с фрон-

та и на фронт, так что у помощника коменданта Зотова работы по горло. Он рвется на фронт, но его не отпускают — он нужен тут, в тылу. Через станцию проезжают и те солдаты, что вышли из немецкого окружения. Среди них бывший артист Тверетинов, доброволец из ополчения, отставший от своего эшелона, человек без документов (все документы они уничтожили, попав в окружение). Он просит посадить его в какой-нибудь поезд, чтобы добраться до Москвы. Зотов испытывает глубокую симпатию к этому интеллигенту, беседует с ним, хочет от всей души помочь и вдруг по нелепому подозрению (Тверетинов не знал, что Царицын называется теперь Сталинградом) решает, что перед ним переодетый немецкий диверсант. И он его арестовывает. «— Что вы делаете! Что вы делаете! — кричал Тверетинов голосом гулким, как колокол. — Ведь этого не исправишь!!» Рассказ заканчивается тем, что Тверетинов бесследно исчезает в недрах НКВД, а Зотов потом всю жизнь не может забыть его, посланного на верную гибель. Но ведь Зотов — и в этом главная удача и новое слово Солженицына — человек совсем не жестокий, а чуткий, воспитанный на идеалах революции и на советских романах, вроде романа «Как закалялась сталь». Сам Зотов, можно считать, положительный герой советской литературы. О нем сказано, что он не имел никакого имущества и в принципе не хотел иметь никогда, еще мальчишкой мечтал воевать в Испании, всю жизнь болел интересами только общего дела. Он и сейчас мечтает погибнуть на фронте. «Зотов совсем не хотел уцелеть с тех пор, как началась война. Его маленькая жизнь значила лишь — сколько он сможет помочь Революции». Короче говоря, перед нами вариант «нового человека», притом по натуре идеалиста, романтика, да к тому же по характеру человека доброго и мягкого. И вот он, высокий идеалист, посылает

ни за что ни про что на гибель другого человека. По-сылает из своих, тоже романтических, представлений о бдительности.

Проблемы нравственности

Итак, «новый человек», выработанный советской системой воспитания, совсем не так прекрасен, как это может показаться по стихам и романам, воспевающим героиню революции и гражданской войны. Выясняется, что эти стальные люди тоже дают трещину или подвергаются коррозии. Спрашивается, где же уязвимое место «нового человека»? Его неполноценность всего острее проявляется в нравственности, вопросами которой нам и надлежит заняться, чтобы полнее и точнее представить образ «нового человека». И это тем более необходимо сделать, что ведь сама идея и даже термин «новый человек» высказаны впервые не Революцией, а Религией. Христианство, например, предлагает верующему совлечь с себя «ветхого человека», то есть очиститься от греха и с помощью Божией стать «новым человеком». И таких «новых людей» мы знаем много среди святых подвижников и просто по-настоящему добрых христиан. Только эти люди сами себя обычно никогда не называют «новыми людьми», а почитают себя грешниками, все доброе и святое, что они совершают, приписывая Богу, который через них сотворил свою волю.

Попытки создать «новых людей» предпринимались и позднее, просветителями разного толка и были связаны с различного рода утопиями. Можно вспомнить роман Чернышевского «Что делать?», который и был написан как роман о новых людях. Эти «новые люди» создаются силой разума или, по теории Чернышевского, с помощью так называемого «разумного эгоизма», который приводит человека к сознанию, что быть

просто эгоистом неумно и не выгодно самому же человеку.

«Новые люди», созданные революцией, принадлежат к религиозному типу сознания: тут и фанатическая вера в коммунизм, и жертвенность, и отказ от собственной, личной выгоды, и даже от собственного «я». Но странная трансформация происходит при этом с нравственностью. Нравственность не то чтобы отменяется, но ставится на второе и подчиненное место. Она подчинена интересам класса, интересам общего дела. Поэтому вводится особое понятие «коммунистической морали».

Выступая в 1920 году перед комсомольской молодежью и направляя ее в будущее, Ленин говорил:

«Существует ли коммунистическая мораль? Существует ли коммунистическая нравственность? Конечно, да... В каком смысле отрицаем мы мораль, отрицаем нравственность? В том смысле, в каком проповедовала ее буржуазия, которая выводила эту нравственность из велений Бога. Мы на этот счет, конечно, говорим, что в Бога не верим, и очень хорошо знаем, что от имени Бога говорило духовенство, говорили помещики, говорила буржуазия, чтобы проводить свои эксплуататорские интересы... Всякую такую нравственность, взятую из... внеклассового понятия, мы отрицаем. Мы говорим, что это обман... Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата... Мы говорим: нравственность это то, что служит разрушению старого эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся вокруг пролетариата, создающего новое общество коммунистов... мы говорим: для коммуниста нравственность вся в этой сплоченной солидарной дисциплине и сознательной массовой борьбе против эксплуататоров. Мы в вечную нравственность не верим...»

Из этого основополагающего высказывания Ленина по вопросам этики, естественно, вытекает, что человеку все можно, все дозволено, все нравственно, если это служит интересам рабочего класса и пользе дела. Нравственно и убить, и украсть, и солгать... Но только, разумеется, делая все это не для себя, а во имя коммунизма. Всякое же личное нравственное чувство, так же как общечеловеческая мораль, отменяются и кажутся социально и морально подозрительными.

Западные исследователи биографии Ленина называют его иногда имморалистом или пишут, что Ленин был аморален. Но это надо понимать опять-таки не в виде личных пристрастий или интересов Ленина, а в плане все той же классовой борьбы и великой коммунистической цели, которая оправдывает все средства. Ленин, например, учил западных коммунистов, как надо проникать в рабочие профсоюзы и захватывать их под свое руководство. Необходимо, учил Ленин, «в случае надобности пойти на всяческие уловки, хитрости, нелегальные приемы, умолчания, сокрытие правды, лишь бы проникнуть в профсоюзы» («Детская болезнь левизны»). То есть, попросту говоря, Ленин учил обманывать рабочих ради их же пользы.

Странно после всего этого слышать от умирающего Ленина, что у Сталина «нет элементарной честности, самой простой человеческой честности...» (Лев Троцкий «Портреты») Эко спохватился!..

Интересно сравнить психологию коммуниста с психологией террориста-эсера, которая, несмотря на кровавые акции, куда более нравственна и традиционна. Традиционна с точки зрения норм высокой революционной этики, сложившихся еще в прошлом столетии у революционеров-народников.

В 1912 году вышла любопытная повесть Ропшина под названием: «То, чего не было». Это повесть о тер-

роре и о психологии революционера-террориста из партии эсеров. Она написана на личном опыте: Ропшин — литературный псевдоним известного революционера-террориста Бориса Савинкова. И вот Ропшин-Савинков устами своего героя задает себе вопрос, на который сам же потом отвечает. Как совместить необходимые для революции убийства и другие грехи с понятиями о нравственности? Потому что если эти понятия исчезнут в человеке — революционер превратится просто в убийцу.

«Когда я в партию поступал, я думал, что все решил... Почти все так думают. Насилие? Во имя народа дозволено и насилие. Ложь? Во имя революции дозволена ложь. Обман? Во имя партии дозволен обман. А теперь вижу, что не так это просто... Что ж, или цель в самом деле оправдывает все средства? Или в самом деле позволено все?..»

Нет, по мнению автора и героя этой повести, никакая высокая цель не оправдывает все средства. Ни интересы народа, ни интересы партии, ни интересы революции не делают убийство или насилие нравственным. И вот он продолжает рассуждать: «Да, нужно лгать, обманывать, убивать, но не надо говорить, что это позволено, что это оправдано, что это хорошо, не нужно думать, что ложью приносишь жертву, убийством свою душу спасаешь. Нет, надо иметь смелость сказать: это дурно, жестоко и страшно, но неизбежно... Да, неизбежно... Террор не только жертва (имеется в виду жертва со стороны самого террориста, который рискует жизнью. — А.С.), но и ложь, но и кровь, но и стыд».

Короче, революционер старого типа считал, что кровавое насилие хотя и необходимо, но это крайняя мера, это грех («грех» в старом, религиозно-христианском понимании), и поэтому не пропагандировал тер-

рор, не превращал его в повальные убийства и сохранял нравственное лицо. Такое понимание чуждо и непонятно «новым людям» коммунистического типа. Любое насилие для них оправдано и нравственно, если служит интересам пролетарского дела, интересам партии.

Но проследим дальше ход рассуждений героя из повести Савинкова. В результате ощущения страшного нравственного греха, который лежит у него на душе, герой не перестает заниматься своей «работой», как он называет террор: «Он не мог оставить ее, “работу”, не потому, что недостойно покинуть поле сражения и не потому, что товарищи умирают, и не потому, что он “влюбился” в террор. Он бы не мог оставить ее потому, что он думал, что только смерть венчает кровавое дело, и еще потому, что он ждал своей смерти, как награды и избавления».

Иными словами, революционер старого типа искал и находил ореол мученика, в котором и заключалось как бы его нравственное оправдание. Своей смертью и принесением себя в жертву он как бы уравнивал совершенный им грех. Революционер нового типа тоже готов принести себя в жертву. Но она никак не связана с понятием о грехе и не служит никаким искуплением. Ибо и грех, и собственная жертва заранее оправданы. Различие лишь в том, что прикажет делать партия и революция — убивать или умирать. Но герой Савинкова приходит к еще более острому пониманию греха. Перед казнью он понял, сказано, что даже «смерть не есть искупление, что и кровью своей не оправдан убийца, что... нельзя и не надо искать оправданий, ибо горе тому, кто убил... И он увидел еще — и это было самое ценное, — что убить труднее, чем умереть, и понял радостно, что смерть желанна и не страшна».

И еще у него мелькает мысль, интересная для нас в

историческом отношении. По долгу конспиративной работы ему приходится общаться с дворниками и с извозчиками, которые поражают его отсутствием всякой морали и какой-либо высшей цели в жизни. И он думает: «Мы боремся, отдаем жизнь... А вот эти... Супрыткины (Супрыткин — фамилия извозчика. — А.С.)... придут и нас победят... Победят великолепную тупостью, сытым брюхом, глупым самодовольством, сапогами гармонией и деревянной уверенностью в себе...»

В конечном счете это и произошло. Супрыткины победили революционеров-интеллигентов. Но об этих тоже по-своему новых людях речь впереди. Идеальных же новых героев — большевиков-ленинцев — еще нельзя назвать Супрыткиными. Но они, в отличие от старых революционеров народнического склада, уже обладают деревянной или железной уверенностью в себе, точнее сказать, в безусловной нравственной правоте своего дела, и поэтому, в принципе, не испытывают раздвоения между совершаемым грехом насилия и нравственностью, как это испытывает герой Савинкова. Поэтому, между прочим, большевики оказались сильнее эсеров, несмотря на то, что громадное большинство крестьянства после революции поддерживало эсеров. Эсеры были уничтожены как враги революции. И Савинков это предчувствует. Его герой выслушивает следующую нотацию со стороны твердокаменного оппонента: «Знаете, ваша точка зрения — плохая, да, плохая. Это точка зрения тех, кого побеждают. Я скажу: точка зрения романтиков».

Это верно, хотя мы знаем, что и большевики бывали романтиками, только не романтиками нравственности, как это было свойственно старым революционерам народнической традиции. При всех террористических актах, которые те совершали, они сохраняли старомодный (и в этом смысле романтический) взгляд,

что убивать — нехорошо, это грех, преступление, и не считали, что цель оправдывает все средства. А вот Ленин считал — и поэтому, в частности, победил.

На повесть Ропшина-Савинкова тогда же откликнулся в журнале «Заветы» лидер партии эсеров Виктор Чернов статьей «Этика и политика». В этой статье он ставит ту же проблему, что и Савинков в своей повести: как сочетать нравственные нормы с действиями революционера, который вынужден нарушать эти нормы, если уж ввязался в настоящую революционную борьбу? Революционер не может обладать, говорит Чернов, нравственным максимализмом, каким обладает Лев Толстой со своей теорией непротivления злу насилieм. Но революционер обязан пуще зеницы ока сохранять этический или нравственный минимум, который и служит границей революционному насилieу и является гарантией, что истинный революционер не превратится в убийцу или в деспота. Чернов пишет: «То, что с точки зрения морального максимума есть преступление (т.е., допустим, убийство, террористический акт. — А.С.), моральный минимум (т.е. нравственный кодекс революционера. — А.С.) может вменить в обязанность. Но как вменить? Так, чтобы несущий эту обязанность ни на минуту не переставал смотреть на нее как на тяжелый долг; так, чтобы ни на минуту не свыкался с этим долгом и не превращал его в субъективно-приятное дело; так, чтобы всегда оставался налицо элемент нравственного насилieа над самим собою во имя высшего долга».

Таким образом, мы видим, что революционеры старого типа, вроде Савинкова или Чернова, довольно много думают и заботятся о нравственности и этим весьма отличаются от «нового человека» коммунистической формации, готового на все во имя революции. В статье об этике и политике Чернов старается наме-

тить этот нравственный минимум или этический кодекс революционера, законы которого тот не вправе нарушать. Это, я бы сказал, весьма важный кодекс, который впоследствии и был нарушен большевиками: «Революционный деспотизм (с точки зрения этого этического минимума или кодекса революционера. — А.С.), — пишет Чернов, — стоит на такой же доске, как и деспотизм контрреволюционный. Мстительный инстинкт ею (революционной этикой. — А.С.) отвергается равно, исходит ли он от угнетателей народа или борцов за его освобождение. Гонения против идеи для него равно противны, будет ли эта идея отсталой или передовой».

Все подобные рассуждения Ленин называл гнилым буржуазным либерализмом, который опаснее самого страшного врага. И понятно: для того чтобы победить, нужно было отказаться от всех норм общечеловеческой этики и придать ей классовый, партийный характер. Подобные взгляды входили как обязательная часть в состав воспитания «нового человека».

Это совсем не значит, что новый человек был безнравственным. В чем-то он превосходил нравственностью обычных средних людей. Допустим, жил не для себя, а для общего блага, для всех, или, точнее выражаясь, «для наших». Но при всем том нравственность его была изуродована сознанием, что убийство врагов — это не зло, а добро, а зло, наоборот, — это милосердие или сострадание к врагам.

Вот поэтический документ революционной эпохи — книга стихов пролетарского поэта Василия Князева «Красное евангелие». Князев — поэт весьма посредственный и сейчас забытый, а в то время громкий и широко известный. Достаточно сказать, что его книга «Красное евангелие», написанная в 1918 году, в том же году выдержала несколько изданий и, значит, нрави-

лась большевистской власти и рассматривалась как некий нравственный кодекс, пригодный для воспитания «нового человека». Это и был, по существу, кодекс коммунистической морали, изложенный стихами и призванный заменить Евангелие. Автор формулировал основные законы этики в роли нового пророка или, как он себя называл, в роли Второго Христа. Не нужно думать, однако, что поэт Князев старался лично себя как-то возвеличить в качестве новоявленного мессии. Он выступает не от собственного имени, а от лица всей победившей революции, перед которой возносится нравственный идеал «нового человека». Идеал должен быть реализован в ближайшее время. Поэтому автор отменяет все старые библейские и евангельские заповеди и утверждает — другие, красные:

Народ, внимай словам пророка:
Прочь от предательских дорог!
Нет в битве гибельней порока,
Чем милосердия порок!
Пощады враг не должен видеть.
Он пал; но... жив еще? — коли!
Лишь кто умеет ненавидеть —
Достигнет Царствия Земли.

«Царствием Земли», т.е. царствием коммунизма, предполагается заменить «Царствие Небесное». Впоследствии, в 30-е годы, самый широкий резонанс в советской прессе и в судебной практике приобрел знаменитый лозунг Максима Горького: «Если враг не сдается — его уничтожают». Но Горький, по крайней мере, чисто формально предполагает «Если не сдается...», если продолжает борьбу. А в данном случае, у Князева, мы имеем более точный и страшный призыв: убивайте и тех, кто просит пощады. Добивайте раненых, закалывая штыком, а пленных — расстреливайте:

Никого не берите в полон —
Пулю в лоб возрождающим трон!

Или:

Блажен незнающий пощады
В борьбе с противником своим!

При этом не следует думать, что Василий Князев какой-то исключительный садист, которому нравится убийство само по себе. Нет, это всего-навсего моральный кодекс коммунизма, который уже складывался тогда и предполагал самую естественную революционную нравственность: врага надо убивать без пощады, и милосердие в этих условиях граничит с предательством. Как писал тогда же Ленин: «Сентиментальность есть не меньшее преступление, чем на войне шкурничество». Сравните это с тезисом старых революционеров, которые, убивая врага, все же считали, что совершают грех, преступление против нравственности. Теперь же преступлением становится не убийство, а милосердие, либеральная сентиментальность.

Но вернемся к Князеву. Вместо заповеди любви к ближнему он предлагает заповедь ненависти к врагу. Много позже написанный рассказ Михаила Шолохова так и назывался — «Наука ненависти». И вот эта «наука ненависти» внедрялась в массы с первых дней революции. Предполагалось, что ненависть к врагу питается исключительной любовью к своему классу, к высшей идее. Но ненависть иногда ставилась даже впереди любви. Ибо ненависть предполагала переход идеи в действие, что было важнее и что составляло главное свойство «нового человека»:

Только зрячий солнце видит,
Только мощный цепи рвет;

Только тот, кто ненавидит,
В революцию живет.

Верный друг мне мил и дорог:
Разлучат — вздохну по нем;
Но... милей мне смертный враг,
Грудь мне полнящий огнем.

Главной добродетелью становится преступление против законов общечеловеческой этики во имя высшей, коммунистической морали. На этом перевороте нравственности и строится, и воспитывается новый человек.

Сошлюсь в связи с этим на обратную реакцию русской интеллигенции, на лучшего ее представителя, — В.Г.Короленко. Короленко был связан с революционно-народнической традицией, сам побывал в царской тюрьме и ссылке, но отличался тем, что, следуя нравственному долгу интеллигента, выступал за всех обиженных, независимо от партий. И вот этот интеллигент-праведник восстал против Октябрьской революции и против новой коммунистической морали. Восстал чисто нравственно, из соображений этики. Уничтожить физически Короленко советская власть не могла, поскольку он обладал громадным авторитетом — не только большого писателя, но «совести» русской интеллигенции. Поэтому в спор с Короленко вступил сам Луначарский, наиболее либеральный и культурный представитель правительства. Спор этот выразился в виде переписки между Луначарским и Короленко, которая, разумеется, ни к чему не привела, а только выразила разные позиции спорящих сторон — общечеловеческую этику Короленко и коммунистическую мораль Луначарского.

С точки зрения Короленко без этики не может быть никакой революции. Он писал еще в 1901 году: «Соци-

ализм без идеализма для меня не понятен. И не думаю, чтобы на сознании общности материальных интересов можно построить этику. А без этики мы не обойдемся». Под словом «мы» Короленко разумел русскую интеллигенцию, русских революционеров и весь народ. Эта этика была нарушена Октябрем, и начался спор между «нравственностью» и «политикой», между Короленко и Луначарским. Спор этот не закончился, потому что Короленко вскоре умер, а Луначарский написал некролог под названием «Праведник», где, отдавая дань Короленко, продолжал с ним спорить на тему — можно ли проливать неограниченно кровь и как это согласуется с нравственностью. «Праведники в ужасе от того, что руки наши обагрены кровью. Праведники в отчаянии по поводу нашей жестокости... Праведник никогда не может понять, что любовь “жертв искупительных просит”, да не только жертв со своей стороны (это-то праведник поймет), а и принесения в жертву чужих...»

Луначарский здесь выражается несколько высокопарно, но подразумевает нечто вполне конкретное: право и мораль революции — это неограниченное насилие. В той же статье в честь Короленко Луначарский произносит фразу, мне кажется, весьма примечательную для понимания морального кодекса коммунизма и психологии «нового человека»: «...Праведничество, сама незапятнанность одежды, несомненно включает в себя нечто, глубоко неприемлемое для революционных эпох». То есть запятнанность кровью — есть верный признак «нового человека», который, в отличие от праведников, делает какое-то реальное дело.

Не знаю, подозревал ли Луначарский, о чем он говорит. А говорит он о том, что «новый человек», революционер должен быть запятнан кровью, что революционер — это праведник, запятнанный кровью, чужой

кровью, которая и есть высший знак его праведности. Отсюда следует, что «новый человек» ради своей идеи, ради своей праведности должен обязательно кого-то убить, предать или обмануть. Таким образом, нравственный кодекс революционера-праведника превращается в нравственный кодекс палача и доносчика. И беда не в том, что палачи и доносчики появились в невообразимом количестве откуда-то извне, как нечто противоположное «новому человеку» с его героизмом и аскетическим отречением от собственного «я». А беда в том, что сам этот «новый человек», чтобы быть новым, стал палачом и доносчиком. «Запятнанность кровью» из случайности переросла в историческую — и более того — в психологическую необходимость.

Святой палач

Новая этика свой конкретный идеал или образец нравственности нашла в личности Дзержинского, председателя ВЧК (Всероссийской Чрезвычайной Комиссии). ЧК и чекисты занимались борьбой с внутренней контрреволюцией. То есть, практически самой низкой и грязной работой — арестами, допросами, расстрелами, обысками, изъятием ценностей, слежкой, организацией сети доносчиков и шпионов, тюрем и лагерей. ЧК — самое страшное и самое тайное орудие диктатуры, наводившее ужас на всю Россию. А Феликс Эдмундович Дзержинский — это первый и главный палач в новом государстве, показавший себя в самом кровавом и беспощадном блеске. И вот главному палачу и тюремщику в системе новых этических ценностей достается роль самого высокого нравственного образца. Это может показаться на первый взгляд извращением, какой-то патологией нового общества. Но если вдуматься в нравственный кодекс коммунизма и в психологию нового человека, ничего патологического

или противоестественного в этом нет. Ибо высшая мораль и состоит в том, чтобы отдать себя без остатка служению идее и обществу, переступив во имя долга все мыслимые границы личной или общечеловеческой нравственности. В этом смысле Дзержинский, взяв на себя функции главного палача, стал святым подвижником и воплощением добродетели. Роль палача не снижает, а увеличивает его моральный престиж. Потому что Дзержинский принес на алтарь революции не только жизнь, а — совесть и чистоту души. Вся кровь и грязь сосредоточены в ЧК. И согласно революционной логике это самая тяжелая и невыносимая работа. Не только с человеческой точки зрения, но в особенности с точки зрения революционера.

Революционер — если взять это понятие в аспекте русской традиции — это человек, который на себе испытал царские казни и тюрьмы. Революционер — это дворянин революции. Он достиг совершенства и благородства, пройдя весь этот опыт, и больше всего на свете возненавидел казни и тюрьмы, в отрицание которых он и борется, и живет. А теперь этому дворянину революции необходимо совершить новый подвиг — самому стать палачом и тюремщиком. Это, как тогда казалось, временная и печальная необходимость, самая важная, однако. Все убивали всех, но верховным убийцей, организатором казней и тюрем, должен был стать человек кристальной чистоты души. И, запятнав ее кровью, он становился в глазах почитателей поистине великим страдальцем. Он приносит себя на заклатие революционной космогонии, созданию нового мира и нового человека.

Мы много говорили о том, что русская революция имеет религиозные корни и истоки, что само советское государство в итоге — это Церковь, а не государство в обычном смысле слова. И вполне закономерно, что на

роль святого в этом иконостасе выдвигается палач. Отсюда неожиданное сближение Дзержинского — с самим Христом. И тот и другой приносят себя в жертву во искупление грехов человечества. Но Христос, как мы знаем, искупает человеческий грех своей смертью и воскресением. А новый святой, Дзержинский, берет на себя грехи в виде массовых убийств и мучительств, которые он совершает во имя установления Царства Небесного на земле. В итоге в советской иконографии Распятый Бог подменяется Святым Палачом.

Надо сказать, что сам Дзержинский в качестве нравственного образца революции был подготовлен к этой роли всей своей жизненной судьбой и психологией. Насколько мы можем судить объективно об этой таинственной личности, Дзержинский обладал рядом достоинств. Сам по себе, по-видимому, он не был жестоким человеком, но отличался душевной чистотой и благородством. Более того, по складу характера Дзержинский — это религиозный психологический тип. Известно, что до 16-ти лет он был очень религиозен, был убежденным христианином-католиком и даже собирался стать ксендзом или монахом. Однажды его старший брат Казимир, который не верил в Бога, спросил, как он представляет себе Бога. И юный Дзержинский ответил: «Бог — в сердце, — и указал себе на грудь. — Да, в сердце! И если я когда-нибудь пришел бы к выводу, как ты, что Бога нет, то пустил бы себе пулю в лоб. Без Бога я жить не могу».

Существовала даже легенда, что и будучи председателем ВЧК Дзержинский продолжал в душе оставаться католиком и между казнями и ночными допросами втайне молился Пресвятой Деве Марии. Очевидно, это выдумка. Но, как это иногда бывает, выдумка чем-то соответствующая психологической натуре Дзержин-

ского. А именно, свою юношескую религиозность он превратил в религиозность революционную и пламенную веру в Бога перенес на коммунизм.

Помимо того, Дзержинский любил природу, цветы. Был, что называется, поэтической натурой. И что нам особенно интересно и удивительно, — страстно любил детей. Вот отрывок из его письма к сестре 1902 года, когда 25-летний Дзержинский был уже убежденным и опытным социал-демократом: «Не знаю почему, я детей люблю так, как никого другого... Я никогда не сумел бы так полюбить женщину, как их люблю, и я думаю, что собственных детей я не мог бы любить больше, чем несобственных... Часто, часто мне кажется, что даже мать не любит их так горячо, как я...»

Это нам опять-таки кажется какой-то невероятностью. Человек, который больше всего на свете любит детей, превышая даже материнскую любовь, — становится в конце концов палачом. Но на таких переворотах и построена революционная этика. Самый любящий и самый чистый — Дзержинский — должен больше всего убивать. Потому что для него это жертва, которую он приносит детям. А дети — это наше будущее, это коммунизм. Любовь к детям Дзержинский пронес через всю жизнь. И, занимаясь расстрелами, попутно организовывал детские дома и колонии для беспризорных. После гражданской войны, помимо роли главного чекиста, Наркома Внутренних Дел, Дзержинский занимал еще важные хозяйственные посты. Но, по свидетельству жены Дзержинского, мечтал он об одной должности, хотя, увы, до нее не дожил. Он мечтал, что когда-нибудь со временем все свои полицейские и хозяйственные посты он сменит на один — народного комиссара просвещения, и всего себя отдаст детям и воспитанию молодежи. Не правда ли, прекрасная перспектива — в духе коммунистической

нравственности — главный палач в роли воспитателя?!
В роли творца нового человека.

Наконец, Дзержинский обладал еще одним качеством, которое позволило ему стать нравственным эталоном революции. Это натура необыкновенно деятельная, энергичная, отдавшая себя с юности практической борьбе. Он очень рано был арестован, и два десятилетия до революции — это для Дзержинского время арестов, побегов, подполья, ссылок и длительного тюремного заключения. В общей сложности в тюрьмах и ссылках он провел одиннадцать лет, притом порою в довольно тяжелых условиях — одиночного заключения и каторги. И если больше всего на свете он любил детей, то больше всего на свете ненавидел тюрьму. Он лучше многих других большевиков изучил тюрьму и знал ее изнутри. Для самого Дзержинского вся революционная борьба — это в первую очередь разрушение тюрьмы — и в узком, прямом значении этого слова, и в самом широком, социальном смысле. Ибо все современное общество, весь мир до революции, с точки зрения Дзержинского, это громадная тюрьма. Он писал в своих тюремных дневниках в 1908 году:

«...Я не проклиная судьбы и многих лет, проведенных в тюрьме. Вне тюремных стен существует другая тюрьма, огромная... И она будет разрушена именно из-за тех лет, какие в тюрьмах проводили заключенные. Это не пустое умствование, не расчет — это результат непреодолимого стремления к свободе и широкой жизни, результат тоски, стремление к красоте и справедливости».

И этот человек из ненависти к тюрьме после революции стал первым тюремщиком и основателем тюремной системы, какой, пожалуй, еще не знала история. Это не было для Дзержинского изменой своему идеалу — идеалу свободы, — но было конкретной

борьбой за этот идеал. На пост Председателя ВЧК был поставлен человек с ореолом тюремного мученика и репутацией праведника. Этого человека нельзя было заподозрить ни в садизме, ни в личной корысти, ни даже в особом пристрастии к тюремно-полицейской работе. Он занимался кровавым делом не из любви к этому искусству, а по самой тяжелой и крайней политической необходимости, исполняя задание партии. Но делал и исполнял беспощадно, проявляя исключительную энергию и волю. Товарищи по партии называли его «железным Феликсом», и это была правда, ибо человек на такой работе должен обладать железными нервами. Дзержинского величали и величают «рыцарем революции». И это к нему подходит. Ибо слово «рыцарь» предполагает как бы соединение пламенной веры, душевной чистоты, внутреннего благородства и неггибаемой силы и воли к действию. В самой наружности Дзержинского было нечто рыцарски-аскетическое: острая борода, худое, истощенное лицо с тонкими чертами. И быт свой он стремился обставлять аскетически, по-монашески и вместе с тем по-солдатски. Вот как описывает его кабинет на Лубянке, в самом сердце ЧК, заместитель Дзержинского Яков Петерс:

«В этом здании, в самой скромной маленькой комнате... в первые годы революции проходила жизнь тов. Дзержинского. В этой комнате он работал, здесь он спал, здесь же принимал посетителей. Простой письменный стол, старая ширма, за ширмой узкая железная кровать — вот где проходила личная жизнь тов. Дзержинского. Домой к семье он ездил по большим праздникам. Работал он круглые сутки, часто сам допрашивал арестованных. Усталый до последней степени, в больших охотничьих сапогах, в старой изношенной гимнастерке, он ел с того же стола, с которого ели все сотрудники ЧК».

Аскетический антураж — иногда подлинный, а иногда показной, декоративный — характерен для первых революционеров. Он призван был подчеркнуть, что у человека, отдавшего себя делу революции, нет ничего своего, или почти ничего. В 1918 г., уже находясь на посту председателя ВЧК, Дзержинский писал в письме к жене, что вся его жизнь проходит «в огне борьбы. Жизнь солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасти горящий дом. Некогда думать о своих и о себе. Работа и борьба адская. Но сердце мое в этой борьбе осталось живым, тем же самым, каким было и раньше. Все мое время — это одно непрерывное действие, чтобы устоять на посту до конца...»

Он действительно стоял на посту до конца, и работал до последней минуты, и умер сравнительно рано, в 1926 году, 48-ми лет отроду, умер внезапно, от разрыва сердца. Смерти Дзержинского его товарищи придавали символическое значение, говоря, что вся его жизнь была революционным горением, и он сгорел на работе, отдав свое сердце — революции.

Дзержинский еще при жизни пользовался большим авторитетом в партии. Он был чуть ли не единственным человеком в партии, который мог оказывать влияние на самого Ленина. Помимо деловых качеств, Дзержинский, очевидно, привлекал Ленина тем, что претворил до конца на практике ленинскую теорию насилия, ни перед чем не останавливаясь и не страшась никакой крови, никакого террора и в то же время соединяя эту холодную жестокость с личной нравственной безупречностью. Так возник в истории советского общества культ святого палача Дзержинского. Этот культ чрезвычайно важен и для государства в целом, и для развития карательного, чекистского аппарата в особенности. Но не менее он важен с нравственно-воспитательной точки зрения. Дзержинский становится

примером нового человека, достойным всяческого подражания. Ведь Ленину подражать невозможно. Ленин слишком велик и уникален в системе коммунистических ценностей. Ленин — гений, каких не знала мировая история. И не всем же быть гениями, не всем же быть вождями и политиками такого калибра, как Ленин. А вот «рыцарей революции» нужно много. И Дзержинскому можно и нужно подражать. Поэтому Маяковский в 1927 г. в поэме «Хорошо!» воскрешает Дзержинского, который проходит перед ним ночью по Красной площади:

в шинели измятой,
с острой бородкой,
прошел
человек,
железен и жилист.

Это и есть «Железный Феликс», на образ и путь которого, как на идеал нравственности, должно ориентироваться отныне советское юношество:

Юноше,
обдумывающему
жизнь,
решающему —
сделать бы жизнь с кого,
скажу
не задумываясь:
— «Делай ее
с товарища
Дзержинского».

Если мы вдумаемся в рекомендательные строчки Маяковского, нам станет не по себе. Ведь подражать рекомендуется не кому-нибудь, а палачу. Следовать примеру Дзержинского для советского юноши означает — пожертвовать чистотой души и стать, если надо, чекистом, доносчиком, шпионом, палачом. Ибо в

этом переступании через себя, через собственную индивидуальную совесть — и заключается высшая революционная мораль. А ведь Маяковский сам был человеком очень нравственным, чистой и нежной души. Но вместе с тем как истинный революционер он понимал, что путь в прекрасное будущее лежит через кровь и грязь. И чтобы в мире навсегда исчезло всякое насилие, нужно совершить величайшее насилие — и над самим собой, и над другими людьми. Чтобы повсюду разрушить тюрьмы, нужно сначала построить новую большую тюрьму, которая исправит человечество. И для всего этого нужны — Дзержинские...

Следует заметить, что в таком понимании этики Маяковский был далеко не одинок, а это присуще самой цивилизации нового типа с ее новым моральным кодексом. Сошлюсь на стихотворение Багрицкого, также посвященное Дзержинскому, — «ТВС», написанное в 1929 году. Речь в нем идет о больном поэте, страдающем туберкулезом (сам Багрицкий тяжело страдал астмой и, по сути, это стихотворение о самом себе), который страшно устал, и весь мир ему отвратителен, а надо работать, и нет сил. И вот ему на помощь — в туберкулезном жару и бреду — является призрак Дзержинского:

Жилка колотится у виска,
Судорожно дрожит у век.
Будто постукивает слегка
Остроугольный палец в дверь.

Надо открыть в конце концов!
«Войдите!» — И он идет сюда:
Остроугольное лицо,
Остроугольная борода...

Это приходит Дзержинский (к тому времени уже умерший), и, садясь на постель к больному, начинает

его учить и наставлять. Суть наставления в том, что надо преодолеть все личное и выполнять требования века, а век, время, революция требуют жестокости, как это ни тяжело. И Дзержинский говорит Багрицкому голосом века, голосом советской современности:

А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.
Иди и не бойся с ним рядом встать.
Твое одиночество веку под стать.
Оглянешься — а вокруг враги;
Руки протянешь — и нет друзей;
Но если он скажет: «Солги» — солги,
Но если он скажет: «Убей» — убей.

В советской литературе и в быту писателей в 20-е и 30-е годы наблюдается странное и необычное для истории литературы явление: дружба писателей с чекистами. С чекистами, как с друзьями и ценителями литературы, общались — Маяковский, Багрицкий, Светлов, Луговской, Бабель, Максим Горький. О чекистах как особой и новой породе людей писали многие авторы. И это не было только способом войти в доверие к власти или обеспечить себе, писателю, относительную безопасность в условиях, когда почти никто не был застрахован от ареста и подозрения в буржуазных недостатках или в пособничестве врагам революции. Тут чувствуется своего рода внутреннее влечение литературы к людям этого типа, этой профессии, к людям, облеченным какими-то высшими и таинственными полномочиями. Тут чувствуется некое сродство душ и принадлежность к советской элите — доверенных писателей и ответственных чекистов. И те, и другие в своей работе имеют дело с человеческим материалом, с разнообразной и сложной психологией, требующей определенной тонкости и пронизательности, умения читать в человеческих сердцах. Перед теми и другими

стоят задачи по исправлению человечества, у одних словом, у других — делом. Одни, писатели, — это «инженеры человеческих душ»; другие, чекисты, — своего рода «хирурги человеческих душ». А нравственные преграды для общения с чекистами у советского писателя, да и вообще у настоящего советского человека, отсутствуют. Ибо предполагается, что чекисты и есть самые нравственные люди, рыцари без страха и упрека, стоящие на страже завоеваний революции. Как учил еще Дзержинский своих сотрудников, чекист должен обладать тремя основными качествами: у него должно быть пламенное сердце (т.е. вера и готовность на все), холодная голова (точный расчет) и чистые руки (чекист не имеет права преследовать личные выгоды, брать взятки, присваивать чужое имущество и т.д.). А то, что эти чистые руки запачканы кровью, никого не смущало, поскольку моральные заповеди чекист переступал лишь в интересах общего дела, и это нравственно возвышало его в глазах общества: чекисту труднее, чем всем. Ведь выносить смертные приговоры и приводить их в исполнение — не так приятно и требует громадной воли, самообладания, внутреннего насилия над самим собой. Как говорит Багрицкий о Дзержинском:

О мать революция! Нелегка
Трехгранная откровенность штыка...

В 1927 году поэт Михаил Светлов написал одно из лучших своих стихотворений — «Пирушка», где изображается романтическое ночное застолье. Поэт участвует в пирушке на особом элитарном уровне, в узком кругу командиров Красной Армии и чекистов. И все это свои люди, которые пьют за 17-й год, за гражданскую войну и будущие бои и походы. Застольем владеет атмосфера душевной разнеженности и скорбной

восторженности, как это случается нередко в подобного рода мужских компаниях. Но удивительно, что восторг и нежность обращены главным образом на те жестокости и насилия, которые совершали эти красные командиры. И потому к восторгу и нежности примешивается скорбная нота: ведь это же печальная историческая необходимость — жечь города, убивать и мучить. Автор обращается к одному из присутствующих:

Расскажи мне, пожалуйста,
Мой дорогой,
Мой застенчивый друг,
Расскажи мне о том,
Как пылала Полтава,
Как тряся Джанкой,
Как Саратов крестился
Последним крестом ...

Видать, от этого застенчивого товарища пришлось солоно многим русским городам. А другого собутыльника Светлов просит рассказать:

Как мосты и заставы
Окутывал дым
Полыхающих,
Красногвардейских костров,
Как без хлеба сидел,
Как страдал без воды
Разоруженный
Полк юнкеров.

Но самый первый, главный и восторженный тост поэта обращен к председателю ЧК:

Пей, товарищ Орлов,
Председатель Чека!
Пусть нахмурилось небо,
Тревогу тая, —
Это звезды разбиты

Ударом штыка,
Эта ночь беспощадна,
Как подпись твоя.
Пей, товарищ Орлов,
Пей за новый поход!
Скоро выпрыгнут кони
Отчаянных дней,
Приговор прозвучал,
Мандолина поет,
И труба, как палач,
Наклонилась над ней...

Вот это братание поэтов с палачами, поэтизация тяжелой чекистской работы, культ насилия и чекизма, отрицание нравственных заповедей во имя высшей, коммунистической морали — все это плохо кончилось и для поэтов, и для народа, и даже для многих палачей. Под пером истории «новый человек» приобрел зверский образ. И многое здесь упиралось именно в этику, отвергнутую большевизмом.

Незадолго до гибели Бухарин, будучи в Париже в 1936 г., в частном разговоре высказывал тяжелейшие сомнения по поводу всего направления советской истории и партийного курса. Предчувствуя собственную гибель, Бухарин испытывал своего рода ностальгию по забытой общечеловеческой нравственности. А ведь тот же Бухарин в 20-е гг. требовал переделать коренным образом, в коммунистическом духе, саму психологию человека и находил, что главная задача советского общества «плановая подготовка новых людей». К середине 30-х гг. эта плановая подготовка была закончена. И вдруг Бухарин вспомнил о нравственности. Его собеседник в Париже (Б. Николаевский) был настолько удивлен, что спросил: «Николай Иванович, Вы, кажется, уверовали в десять заповедей?» Бухарин ответил: «Они не так уж плохи — десять заповедей». В одной этой реплике Бухарина, по сути дела, — призна-

ние ущербности всей системы воспитания советских людей, всего морального кодекса коммунизма. Но было поздно вспоминать о библейских заповедях. Да никто о них и не вспоминал, кроме людей, поставленных перед лицом смерти. А «новый человек» был уже сотворен. И этот «новый человек» повторял, как попугай, другую заповедь:

Но если он скажет: «Солги» — солги,
И если он скажет: «Убей» — убей ...

Причем этот многозначительный «он», диктующий убить и солгать, с течением времени заметно упростился. Это уже не XX век, не время, не историческая необходимость, а лично товарищ Сталин, отдававший такие приказы. Проще того, «он» — это вышестоящий начальник, который лучше знает, что требуется в данный момент от советского человека. В результате нравственный императив революции, призывавший на сделки с совестью, преобразовался в обычный конформизм. А «новый человек» обернулся заурядным служакой, угодливым рабом, механическим исполнителем чьих-то приговоров...

Роль и место интеллигенции

Если присмотреться к процессу формирования нового человека, то можно обнаружить интересную закономерность. Одним из самых серьезных его противников и, может быть, самым опасным с нравственно-психологической точки зрения оказалась интеллигенция. Не обладавшая никакой материальной и физической силой, лишенная права голоса, свободы слова, переживающая тяжелейший внутренний кризис, она воспринималась как главный оппонент «победившего класса» и «нового человека».

Об этом говорят многочисленные советские рома-

ны, написанные в 20-е и в начале 30-х годов на тему: интеллигенция и революция. Это «Города и годы» К.Федина, «Зависть» Ю.Олеши, «Жизнь Клим Самгина» Горького и т.д. Авторы этих книг чаще всего сами интеллигенты. Но интеллигенты, которые уже стоят на позициях победившего класса и выступают с критикой и разоблачением интеллигенции. Коллекция интеллигентских грехов громадна — индивидуализм, гуманизм, мягкотелость, бесхребетность, склонность к компромиссам, половинчатость, беспартийность, рефлексирование, свободомыслие, скептицизм и проч. и проч. И все эти грехи ведут, в конечном счете, к одному — к предательству. Причем имелась в виду не какая-то реакционная или консервативная часть интеллигенции, приверженная старым порядкам или примкнувшая к белому движению, но интеллигенция либеральная и даже революционно настроенная. На нее-то и обрушивается главный удар «нового человека». И логика здесь такова — либерал или оппортунист опаснее прямого врага, потому что своей половинчатостью и другими интеллигентскими пороками он предает дело рабочего класса. Скажем, герой-интеллигент в романе Федина «Города и годы» сочувствует революции, но по вине своей интеллигентской слабохарактерности и личного эгоизма проявляет жалость к врагу и помогает ему бежать, в результате чего становится предателем. И эта ситуация типична для ранней советской литературы, которая, расправляясь с интеллигенцией, противопоставляла ей твердокаменного пролетария или революционера-ленинца, большевика, чекиста, или простого мужика, грубого, невежественного, склонного к анархическим выходкам, к пьянству и разврату, но все же остающегося верным солдатом революции и потому более чистого и прямого, чем интеллигентская слякоть.

Нетрудно догадаться, что за всем этим поношением интеллигенции стояла воспитательная и даже самовоспитательная задача. Новый человек должен был отрешиться от общечеловеческой нравственности, которая получает презрительное наименование «абстрактного гуманизма», от всякого рода сомнений в правильности партийного курса, от стремления думать, рассуждать, критиковать, отстаивать личную человеческую свободу и независимость. Угрозой новому обществу стали интеллектуальные, нравственные и духовные запросы, живущие в каждой человеческой душе. Они-то и оформились в образ неустойчивого интеллигента, на которого пошла в атаку советская литература. По сути дела, литература пошла в атаку на человека вообще и на самое себя, в частности, на остатки интеллигентности, свойственной литературному творчеству. И если нравственным образцом становится Дзержинский, то нежелание следовать его примеру — это предательство интересов революции. И литература пугает читателей и себя этим жупелом предательства. Проявишь жалость — и станешь предателем. Будешь стоять в стороне от классовой борьбы — и станешь предателем. Начнешь отстаивать беспартийность и независимость личности — станешь предателем.

Русская интеллигенция несла свой комплекс вины перед новым обществом. Эта вина состояла прежде всего в непоследовательности. Ведь до революции русская интеллигенция в массе своей была весьма демократична, была революционно настроена, жалела и любила народ, верила в прекрасный, хотя и туманный социализм, мечтала о появлении «нового человека», который явился бы откуда-нибудь и эту интеллигенцию и все общество своим появлением оздоровил бы. А когда этот человек пришел и начал расстреливать, она в ужасе отшатнулась от него, как от чудовища Франкенштейна. И эту непоследовательность новое

общество вменяло интеллигенции в грех, приравняв непоследовательность к предательству.

В 1909 году вышел сборник статей «Вехи», который Ленин назвал «энциклопедией либерального ренегатства». Вся энциклопедия и все ренегатство «Вех» сводилось к выступлению весьма небольшой и умеренной группы интеллигентов, которая после кровавых ужасов 1905–1907 годов решила пересмотреть интеллигентские традиции и попыталась найти и наметить какой-то третий путь между крайностями царской реакции и крайностями революции. Авторы этого маленького и уникального в своем роде сборника призывали интеллигенцию к спокойной творческой работе, к отказу от революционной одержимости и деспотизма, к поискам положительных, конструктивных решений, без нигилистического отрицания или консервативного охранительства прошлого. И вместе с тем «Вехи» напоминали о вечных ценностях религии, нравственности, человеческой личности. Этого было достаточно, чтобы Ленин обвинил их в предательстве, как если бы вся либеральная интеллигенция должна была слепо следовать за Лениным к его будущей диктатуре. Такова была логика большевизма.

Все это повторилось после 1917 года. Передав свободу и демократию, запретив независимую печать и введя массовый террор, большевики в то же время требовали, чтобы интеллигенция все это радостно приветствовала. А интеллигенция дрожала от страха, тихо негодовала, смеялась в отчаянии, оплакивала свои идеалы и действительно колебалась между красными и белыми, оказавшись между двух огней. И в этом сказывались не только свойственные ей мягкость, слабость и нерешительность, но и высокая нравственность, и духовная стойкость. Сошлюсь в этой связи на позицию поэта Максимилиана Волошина. Он жил в Крыму, ко-

торый в годы гражданской войны переходил из рук в руки: то побеждали красные, то белые. И за каждой победой следовали кровавые расправы. Не будучи ни красным, ни белым, Волошин смотрел на эту междоусобицу как на очередное проявление всемирно-исторической трагедии. Но его позиция «над схваткой», позиция мыслителя, мудреца, не мешала ему сочувствовать и помогать, насколько это было в его силах, всем, кто в данный момент подвергался опасности. Рискуя собственной головой, Волошин спасал красных от белых и белых от красных. То есть стремился спасти каждого, отдельного, конкретного человека, независимо от его классовой и партийной принадлежности. Широта историософских взглядов и принципиальная веротерпимость Волошина позволили ему понять, что в этой страшной войне по-своему правы и не правы и те, и другие. Но всего ужаснее непримиримая вражда ко всякому инакомыслию, на чем сходятся оба стана:

И здесь и там между рядами
Звучит один и тот же глас:
«Кто не за нас — тот против нас!
Нет безразличных! Правда — с нами!»

А я стою один меж них
В ревушем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

Но в условиях революции молиться «за тех и за других» считалось лицемерием и преступлением. По той же логике: «Кто не за нас — тот против нас». Ибо революция и социализм строились на развязывании и всемерном раздувании и обострении классовой борьбы. А «молиться за тех и за других» — значило смягчать социальные противоречия и вырывать из рук революции ее главное оружие — учение о классовой борьбе. В этом

смысле стреляющий в красных белый офицер, с красной точки зрения, даже лучше, чем вот такой паршивый интеллигент-соглашатель, который не хочет ни в кого стрелять. Потому что белый офицер своей стрельбой подтверждает теорию марксизма-ленинизма и оправдывает наше насилие, а интеллигент своей беспартийной неопределенностью путает все карты и совершает самое ужасное кощунство над пролетарской религией.

Интересно, как повторяется русская история с этой проблемой интеллигенции в революции. Сорок лет спустя после стихов Волошина появился и обошел весь мир роман Пастернака «Доктор Живаго». (А спустя еще несколько лет Пастернак с этим романом оказался духовным отцом и предтечей диссидентов.) И вновь с советской трибуны зазвучали ругательства и обвинения Пастернака в «предательстве». «Предательство» Пастернака состояло в том, что его герой, Юрий Андреевич Живаго, в годы гражданской войны не хотел стрелять ни в белых, ни в красных, и, ужасаясь жестокости обеих сторон, молился за тех и за других. Слово в опровержение советской литературы, так долго и упорно поносившей интеллигенцию за ее мягкотелость и соглашательство, Пастернак в своем романе нарисовал образ чистейшего интеллигента, его печальную судьбу в новом обществе и его высокий подвиг. Подвиг неубийства, подвиг нравственного неприятия законов классово-партийной борьбы, когда люди из идейно-партийных разногласий истребляют друг друга и вменяют это в обязанность каждому. Особое возмущение в советской печати вызвал известный эпизод в романе Пастернака, когда его герой, насильственно взятый партизанами в качестве врача, вынужден принять участие в бою. И вот этот интеллигент, не желая никого убивать, нарочно стреляет мимо цели. Помню, особенно негодовал по этому поводу Константин Симонов.

За этим негодованием слышалось обычное: лучше бы он, Живаго-Пастернак, был с белыми и стрелял в красных, чем такая неопределенная — ни с теми, ни с другими — «предательская» позиция. В том-то и беда, что для советского государства и общества врагом стала сама человечность, само неучастие в борьбе. Отсюда и все нападки — на старую интеллигенцию.

К этому «классовому» подходу следует прибавить и резкое психологическое отталкивание людей новой породы от интеллигенции. Одной из причин этого отталкивания была внутренняя сложность, разветвленность и противоречивость самой природы интеллигента, что, в общем-то, и соответствовало положению интеллигенции, занимавшей очень широкое умственное пространство между простым народом и царской бюрократией, между Востоком и Западом, Россией и Европой. Интеллигент всегда допускал, что истин много, подвергая все на свете сомнению и анализу, включая самого себя, и недаром получил наименование «критически мыслящей личности». И сам этот психологический тип был неуместен и подозрителен в мире социализма, построенном на простых и однозначных основаниях. Какая может быть сложность, если истина — одна, объективна и абсолютна в своей научной непогрешимости?

К тому же залогом победы большевизма была его интеллектуальная узость и прямолинейность. Неслучайно в основателях нового литературного направления — социалистического реализма стоял Максим Горький, который в самом начале века выдвинул новый тип героя, пролетарского революционера, сказав о нем с восторгом в пьесе «Мещане» (1901 год): «Только эти люди, прямые и твердые, как мечи, только они пробьют». И тогда же, еще в 900-е годы, Горький обрушился на интеллигенцию с жестокой критикой именно за то, что она слишком сложна, внутренне запутанна и непонятна.

Правда, позднее, в годы революции и гражданской войны, в условиях террора и голода Горький спохватился, стал защищать интеллигенцию и даже провозгласил, что самое лучшее в России — ее интеллигенция. Но это было недолгим, временным помрачением или, как писала и пишет советская литературная критика, — «ошибкой» Горького, которую он сам вскоре признал и исправил. К середине 20-х годов Горький, приняв революцию и социализм в России, возобновляет и даже возглавляет травлю интеллигенции, о которой он пишет громадный роман «Жизнь Клима Самгина». Клим Самгин — собирательный образ среднего интеллигента дореволюционной эпохи, который находится в курсе всех идейных и политических течений конца прошлого — начала нынешнего века, все вобравший в себя и все смешавший в сложное, серое, безличное пятно. И это есть олицетворение интеллигенции, которая не имеет никакой твердой основы, которая обманывает и обманывается, меняя взгляды от либеральных к реакционным. В итоге Клим Самгин — потенциальный предатель и главный враг революции, хотя он ничего не делает, не борется, а только умствует и обо всем рассуждает. Но в этом-то и состоит его предательская сущность.

Роман этот Горький не дописал. Когда Горький в 1936 году умер, властью была создана официальная легенда, что его убили враги народа. Это было очередной провокацией, на которых строились судебные процессы тридцатых годов. Но к этой провокации был невольно причастен сам Горький, обвинявший интеллигенцию в предательстве и вредительстве. Получалось так, что теперь эти враги, эти Клим Самгины, ему отомстили. И Константин Симонов откликнулся на смерть Горького и одновременно на судебные процессы стихами, одоблив последние расправы с предательской интеллигенцией:

И беспощадным смертным приговором
Мы дописали Клима Самгина.

На этом история интеллигенции была закончена. В числе прочих причин она была ликвидирована за свою интеллектуальную и психологическую сложность и опасную, субъективную широту воззрений.

Конечно, советская власть, в особенности на первых порах, не могла обойтись без старой интеллигенции, главным образом в области точных наук и техники, столь необходимых индустриальной цивилизации. Но, привлекая интеллигенцию к полезной работе, государство стремилось всячески эту интеллигенцию ограничить и упростить, вынудить ее сосредоточиться исключительно на своей узкой научной специальности, а в качестве философского мировоззрения заправить марксизмом-ленинизмом. Короче говоря, хотело перевоспитать и пересоздать интеллигенцию по образу и подобию нового человека. Об этом весьма откровенно высказывался Бухарин в 1925 году на диспуте в Москве, посвященном судьбам русской интеллигенции, где весьма почтенный профессор-филолог П. Сакулин позволил себе заявить, что новая власть «посягнула на свободу научного исследования» и это может повредить развитию русской науки. Сакулину возражал Бухарин, который и сам был наиболее интеллигентным вождем, за что через двенадцать лет поплатился жизнью. И вот что сказал революционер-интеллигент ученому интеллигенту: «Когда говорят, что надо дать свободу творчества, то сейчас же у нас возникает вопрос о свободе проповедовать монархизм (никакого монархизма научная интеллигенция в 1925 году не проповедовала, а это просто был обычный демагогический прием, которым пугали бедных интеллигентов: ах, вы не довольны нашей властью, вы хотите

свободу научных исследований? — значит, вы хотите царя, значит, вы монархисты, значит, вы хотите покрыть всю Россию виселицами, значит, вы враги народа! Впоследствии Сталин применил к Бухарину ту же диалектику. — А.С.) или в области биологии свободу проповедовать витализм, или в области философии свободу идеалистам кантианского пошиба с субстанцией. При такой свободе из наших вузов выходили бы культурные работники, которые могли бы работать и в Праге, и в Москве. А мы желаем иметь таких работников, которые могут работать только в Москве... Нам необходимо, чтобы кадры интеллигенции были натренированы идеологически на определенный манер. Да, мы будем штамповать интеллигентов, будем вырабатывать их, как на фабрике...»

Но добавим от себя, штампованный интеллигент — это уже не интеллигент, а обычный советский механический исполнитель, имеющий кое-какую узкую специальность. И чем уже, чем проще — тем лучше. Бухарина не пугает, что снизится уровень русской науки на мировом рынке. Нам нужны культурные работники не для Праги и не для Парижа, но исключительно — для Москвы. Нам нужен — штамп.

И надо сказать, этому штампу интеллигенция не могла в массе своей слишком долго сопротивляться. Ведь вся интересная и полезная работа, все доступы к науке, к искусству, к печати и к образованию находились в руках государства. Оставалось либо умирать, либо корчить из себя нового человека. Но разыгрывать эту роль тоже было не просто. Нужно было предварительно отречься от себя, от своего прошлого, от своей среды, от своей интеллигентности. И вот начинается покаяние интеллигентов перед лицом победившего класса. В том состояло и состоит перевоспитание или изживание в себе «ветхого человека» во имя новой

карьеры. Процесс этот пронизывает всю советскую историю — от Октября до наших дней.

Не нужно думать, однако, что все это перевоспитание было непременно вынужденным. Большая часть интеллигенции искренне увлекалась революцией и добровольно, даже с восторгом, стремилась видоизменить себя. Помимо высоких и привлекательных идеалов коммунизма, тут срабатывало ощущение вины перед народом, с давних пор свойственное русской интеллигенции. Еще бы — народ работал, бедствовал и пребывал в невежестве, в то время как интеллигенция умствовала, наслаждаясь благами просвещения и цивилизации. В результате у русской интеллигенции родилось и выросло сознание великой исторической вины перед собственным народом. Возникло чувство неплатного долга, который нужно вернуть народу за грех своего социального и культурного превосходства. В XIX веке широкое хождение получил термин, передающий психологию русской интеллигенции — «кающиеся дворяне». Имелись в виду дворяне, которые стыдятся своего привилегированного положения и стремятся преодолеть свой вековечный разрыв с низшими классами. К этим «кающимся дворянам» принадлежала лучшая часть образованного общества в России.

Отсюда и хождение в народ, и революционный радикализм русской интеллигенции, и толстовское «опрошение», и повышенная сострадательность русской интеллигенции XIX века к «бедным людям», к «Антону Горемыке». Но при всем том большая часть «кающихся дворян» не находила себе достойного применения и предавалась самоедству, самоугрызениям, мучительному самоанализу. Так появился в русской литературе тип «лишнего человека», занявший в ней центральное место.

В революцию многие интеллигенты, принадлежавшие к психологическому типу «лишних людей», вдруг нашли применение своей энергии. Революция и социализм соблазнили их возможностью что-то делать, а не только рассуждать.

Весьма интересный документ оставила нам Мариэтта Шагинян, в прошлом декадентская поэтесса, а впоследствии видная советская писательница, перековавшаяся в согласии с партийными установками. Это статья 1922 года (в начале ее идейной перековки) «Как я была инструктором ткацкого дела (Правдивый рассказ). «В ней рассказывается о том, как Мариэтта Шагинян нашла себе неожиданное применение в годы революции и каким счастьем это ее наполнило. Счастье состояло в том, что и для нее — буржуазной поэтессы, чьи стихи никто не хотел печатать, — вдруг нашлось реальное дело. Шагинян не смущает, что работа оказалась не по ее специальности. Напротив, в этом-то она и видит служение народу и искупление давней вины интеллигенции. «Октябрьский абсолютизм был для нас... единственным всамделишным делом на земле, быть может, первым и последним, для которого стоит человеку жить на свете. Чем лучшие бредили, что во сне виделось, в молитве молилось, — искупление, — час жертвы за нашу вину перед мучениками жизни, вдруг пробило на часах у каждого из нас, вошло и стало. Надо было понять это именно как искупление и обратить все дальнейшее в радость исполненного долга...»

Что же с ней произошло? Да ничего особенного. Она рассказывает о нескольких безуспешных своих попытках применить себя. «И вот, когда я уже совсем отчаялась в возможности чем-нибудь послужить революции, меня призывают и назначают инструктором текстильного дела». Статья Шагинян заканчивается

так: «Я сделала свое дело, соскучилась по перу, вернулась на север. Но все написанные мной книги и те, что, может быть, еще напишу, кажутся мне ничтожными по сравнению с годом и двумя месяцами, когда я была инструктором текстильного дела на Дону. То, что я делала и сделала, кажется мне сейчас, при осознании собственной интеллигентской косности и бестолковости, — необъяснимым, но несомненным чудом».

Свою работу инструктора текстильного дела Шагинян пережила как чудо, на мой взгляд, по трем причинам.

Во-первых, в ней жила тоска «лишнего человека», который вдруг пригодился, и ущербность интеллигента, который до крайности удивлен, что в какой-то ситуации оказался способен на что-то реальное.

Во-вторых, радость Шагинян связана не просто с делом, а с общим делом революции, имеющим всемирно-исторический смысл. Поэтому она испытывает счастье самопожертвования. Ведь по профессии она писатель, а не ткачиха.

А в-третьих, восторженность Шагинян объясняется тем, что в роли инструктора ей пришлось работать недолго. Если бы ее оставили на этой работе на всю жизнь, я думаю, она скоро рассталась бы со своим романтическим энтузиазмом.

Конечно, в условиях нового общества многие люди нашли себя в работе. Но интеллигенция не как научно-техническая специальность, а как широко мыслящее сословие России в итоге почти исчезла. Ибо людям дали счастье делать, но лишили необходимой для интеллигента потребности свободно думать и говорить.

Человек массы

Какой бы острой ни была в 20-е годы борьба с интеллигенцией, не в ней заключался корень вопроса о

новом человеке. Ведь это был не только интеллектуальный, а прежде всего — социальный спор. Спор о том, сможет ли новая общественная и государственная система выработать особый психологический тип «нового человека», отчего зависела дальнейшая судьба и государства, и всей мировой истории. Понятно, что не интеллигент здесь возбуждал основное внимание. И даже не коммунист, поскольку коммунист представлялся уже готовым образцом новой человеческой породы. Но коммунисты находились в явном меньшинстве и им не хватало подкрепления, базы, опоры в массах. Поэтому главным объектом внимания, воспитания и приложения сил, а так же главной надеждой и упованием стал человек массы.

Советское, социалистическое общество возникло и победило в ходе реализации марксистского учения о классах и классовой борьбе. Так что в основу отбора «новых людей» с самого начала был положен классовый принцип. «Новый человек» понимался и трактовался как живое следствие особой, классовой природы пролетариата и отчасти крестьянства. На этой социальной базе он и должен был возникнуть. Притом возникнуть не в виде каких-то отдельных личностей, но в массовом проявлении.

Поэтому решающим фактором в отборе людей, в их жизненной судьбе и карьере стало социальное или классовое происхождение человека. Если ты пролетарий — значит ты уже заведомо хороший человек и тебе можно доверять, тебе оказываются знаки внимания и даются определенные общественно-бытовые преимущества. Вплоть до того, что в первые годы революции человека, совершившего какое-либо уголовное преступление, могло спасти от тюрьмы и даже от расстрела его пролетарское происхождение. Пролетарию делали скидки из двух расчетов — за его прошлое, ко-

гда он был угнетенным, задавленным, неграмотным и, таким образом, мог совершить ошибку не по собственной вине, а по вине буржуазии, которая его так долго эксплуатировала, что он и совершил теперь преступление. И в расчете на его будущее, когда чисто пролетарские задатки должны расцвести и победить. Ибо по самой своей природе пролетарий легко поддается исправлению, воспитанию и совершенствуется по пути к идеалу «нового человека».

Все это несколько напоминает феодально-аристократический принцип подхода к человеку, когда чистота крови или аристократическое происхождение обеспечивали человеку и привилегированное место в обществе, и дальнейшее продвижение. После революции такой элитой становится рабочий класс и беднейшее крестьянство. Различие состоит в том, что в прошлом дворяне, аристократия составляли меньшинство населения. А теперь такая элита стала большинством. Разумеется, реально обеспечить это большинство привилегиями государство не могло. И чаще всего рабочий как был, так и оставался рабочим. Но зато свою пролетарскую принадлежность он носил, как когда-то носили дворянский титул.

С другой стороны, учение о «классовой чистоте» пролетария перекликается с идеей «естественного человека», которую проповедовал Руссо, а за ним и многие другие авторы. С точки зрения Руссо, «естественный человек» безгрешен, а всю вину несет цивилизация, которая искажает облик и природу «естественного человека». Значит, нужно отбросить цивилизацию с ее пороками и вернуться к «естественному образу жизни». После революции таким «естественным человеком» стал пролетарий, чья классовая природа безгрешна, а все недостатки занесены буржуазией. А пролетарская психология — это как бы «*tabula rasa*», чис-

тая доска, прекрасная невинность души, на которую легко наносить новые письма коммунизма, отвечающие пролетарской природе.

В начале революции некоторые пролетарские идеологи судорожно держались за свое классовое первородство. Иные пролетарские поэты и писатели продолжали работать на заводах, за своими станками, хотя вполне могли зарабатывать на жизнь литературным трудом. Работа на заводе не оставляла достаточно времени на творчество и на образование. Но они продолжали держаться за свой завод и станок, ибо здесь ощущали себя истинными пролетариями, от которых должна родиться чистая, беспримесная пролетарская культура.

Вскоре идея рождения новой культуры прямо от станка или от сохи — провалилась. Потому что эти поэты, при всем своем «пролетарском энтузиазме», грамотнее не становились. Но сама по себе ценность рабоче-крестьянского происхождения до сих пор имеет большое значение в советском обществе. Недаром очень многие советские вожди всячески обыгрывают и подчеркивают свою рабочую генеалогию. Она служит как бы гарантией их идейной и политической чистоты и невинности, их преданности делу рабочего класса.

Все это несет не только какой-то абстрактный смысл, но облекается в весьма конкретные и жесткие формы и ограничения. Обратимся к такому специфически-советскому явлению, как анкета. Каждый советский человек заполняет так называемую анкету или множество анкет — при поступлении на работу, при поступлении в институт, при выезде за границу и т.д.

Первоначально, после революции и в течение многих лет анкета предполагала в первую очередь социально-классовый отбор и главным анкетным пунктом было социальное происхождение. Для множества лю-

дей с дурным (т.е. чужеклассовым происхождением — из дворян, из чиновников, из купцов, из духовенства) двери в новое общество автоматически захлопывались. Эти лица не могли устроиться на работу, не могли поступить в высшее учебное заведение. Их лишали продовольственных карточек, лишали избирательных прав. В 20-е и в 30-е годы их называли «лишенцами». А иногда одно только классовое происхождение влекло за собою арест и смерть.

Анкета была решетом, через которое просеивали население, разделяя его на разные категории в зависимости от прошлой принадлежности человека к тому или иному классу. Через анкету решалось, кого выбросить или уничтожить, кого оставить прозябать, а кому дать возможность участвовать в жизни нового общества и обеспечить счастливое продвижение по службе или в учебе.

Самый счастливый исход был обеспечен представителям трудящихся масс, людям рабоче-крестьянского происхождения. Они были «чистой расой», на которую государство возлагало все свои надежды, производя социальный отбор. Для этой категории открывались наиболее широкие возможности, она составляла опору государственной власти, и на нее было направлено основное благожелательное внимание партии при создании «нового человека». Такой человек изначально социально-чист, классово-безупречен. Только его нужно воспитать в коммунистическом духе и чему-то слегка обучить. И вот после революции возникает гигантская сеть массового просвещения трудящихся. Само государство берет на себя просветительские функции. Обучение шло по трем основным направлениям. Первое — обучить трудящихся читать и писать. Ликвидировать в стране безграмотность. Второе — обучить массы марксизму-ленинизму как единственно

правильной теории и руководству к действию. Третье — технически-прикладное образование, которое позволит из сегодняшних рабочих и крестьянских парней сделать завтрашних механиков и инженеров, заменив этими новыми кадрами старую научно-техническую интеллигенцию.

Массы благодарно откликнулись на это приглашение к знанию. Все шли учиться. Известный философ и историк Федотов, который до отъезда в эмиграцию сам наблюдал жизнь страны после революции, отмечает: «голод к знанию, охвативший массы, особенно юные поколения». Однако он с горестью добавляет: «Россия кишит полуинтеллигенцией, полужайками, но в ней редко встретишь «культурного» человека в старом смысле слова. Новая школа его уже не дает... Что характерно для революции, так это экстенсификация культуры, приобщение к ней масс «от станка и от сохи». Такая резкая демократизация сама по себе таит опасность: резкого снижения уровня, измельчания духовных вод... Старые кадры редуют, на смену им приходит новый тип: практически-ориентированный варвар-специалист, относящийся с презрением к высшим культурным благам».

Таким образом, происходит двоякий процесс: необыкновенного расширения образования, который охватывает громадные массы неграмотного и полуграмотного населения России при заметном снижении уровня культуры. Просвещение выигрывает в широте, но проигрывает в глубине. Однако и этот выигрыш, и этот проигрыш вполне устраивают государство. И устраивают массы — ведь люди впервые приобщались хоть к какой-то культуре.

В первых советских школах для детей и взрослых на первых же уроках писали:

«Мы — не рабы». «Рабы — не мы».

Рабов отучали от рабства с помощью правописания. Эти уроки грамматики совпадали с первыми шагами советской власти. Так что первоначально казалось, что с помощью элементарной грамотности, упавшей на чистое, классовое сознание, и родится наконец этот новый человек. И он, действительно, родился. Но это был не свободный человек, а самодовольный раб. Его самодовольство проистекало из двух источников: его социального положения и самосознания, во-первых, и его поверхностной образованности, во-вторых. При этом он остается рабом государства и общества, в котором живет, но не осознает своего рабства, потому что угнетение или эксплуатация осуществляется над ним в безличной форме. Если раньше, до революции, работая на какой-нибудь фабрике, он работал на «буржуя», на конкретного хозяина, то теперь та же фабрика принадлежала государству, которое всем распоряжалось от имени всего народа, от лица рабочего класса в целом. Рабочему говорили: ты работаешь на самого себя, ты и есть хозяин. И не только этой фабрики, но всей страны. К тому же в нем постоянно подогревают чувство классового превосходства, превосходства перед людьми буржуазного происхождения, перед той же интеллигенцией и перед всем остальным миром, лежащим за пределами Советского Союза. Рядовому, простому рабочему все время твердят — ты самый лучший, ты самый первый, ты самый передовой, исходя не из личных качеств или достоинств конкретного человека, а единственно — из его классовой принадлежности. И он постепенно пропитывается этим самомнением и поет о себе в известной советской песне 30-х годов:

Я другой такой страны не знаю.
Где так вольно дышит человек.

Перед нами очередной парадокс: раб не только не чувствует своего рабства, но считает себя самым свободным человеком на свете и мечтает о том, как бы к такому же состоянию привести трудящихся всего мира, которые страдают в оковах капитализма.

Теперь представим, что этот раб идет учиться. Заканчивает так называемый рабфак, то есть школу при заводском производстве. Или идет учиться в техникум. Или даже в институт. При этом особых трудностей он не встречает: при приеме в высшие учебные заведения громадное преимущество имели люди рабоче-крестьянского происхождения. Это делается для того, чтобы высший или правящий слой общества состоял не из интеллигенции, а из «своих», из людей социально, умственно и психологически близких к партийной верхушке. И вот это образование — все равно какое — низшее, среднее или высшее — делает самодовольного раба еще более самодовольным: к чувству классового превосходства прибавляется самодовольство полуобразованного человека. Это происходит не потому, что в Советском Союзе плохо учат. А потому, что даже высшее образование чаще всего носит узкоспециализированный характер. Человек может закончить какой-нибудь технический институт и прекрасно разбираться в конструкции станков, но по культурному уровню и умственному кругозору он остается, по сути, таким же простым рабочим, каким был раньше, до начала учебы.

К этому надо прибавить, что все гуманитарные дисциплины и вся идеология проникнуты марксизмом-ленинизмом — единственной философской доктриной, которую изучают в Советском Союзе. Марксизм-ленинизм — это учение по своему философскому уровню весьма невысокое и к тому же невероятно самодовольное. Поэтому самодовольный раб, принявший в

душу марксизм-ленинизм как единственную истину, еще более возвышается в собственных глазах, мыслит только марксистскими стандартами и ни в чем не сомневается. Он может очень много и долго учиться, но при этом очень мало думать. Ибо думать — означает искать, сомневаться, ставить вопросы. А если мир легко и просто объясняется и до конца понятен и ясен — то думать не надо.

Такой стандартизованный человек — человек массы — может быть, самое ужасное порождение советской цивилизации. И на нем-то она и держится. По своему духовному миру, по своему нравственному облику и даже по интеллекту он стоит неизмеримо ниже самого темного, невежественного, безграмотного мужика. Ибо он утратил все или почти все добрые свойства, которые присущи простым людям, а взамен приобрел — наглость, развязность, высокомерие, готовность судить обо всем на свете и все объяснять, разумеется, самым примитивным образом. Это дикарь, которому кажется, что он все знает и что именно он перл творения, самое прекрасное и разумное существо в мире.

Блестящая сатира на «нового человека», его чистый, идеальный «литературный портрет» — это повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» (1925).

Сюжет этой небольшой повести заключается в том, что профессор Преображенский, великий ученый, хирург и биолог, совершает фантастическую операцию. Отсюда и его фамилия Преображенский: он преобразует природу. Это типичный представитель старой русской интеллигенции, которого советская власть терпит только за его мировую известность и великолепные операции, но сам он советскую власть выносит с трудом. Не потому, что он реакционер и сторонник капитализма, а потому, что вместе с революцией все

перевернулось вверх ногами — и в быту, и в мозгу людей. Профессор — Филипп Филиппович — за обедом разговаривает со своим ассистентом и другом, доктором Борменталем. А в это время сверху доносится какое-то пение — это идет общее собрание жильцов под руководством домкома, то есть домового комитета.

И вот, услышав очередное хоровое пение, Филипп Филиппович горестно восклицает:

«— Почему электричество, которое, дай Бог памяти, тухло в течение двадцати лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц?..

— Разруха, Филипп Филиппович.

— Нет, — совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, — нет... Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует... Это вот что: если я, вместо того чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах... Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удастся, доктор, и тем более — людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны!»

Итак, революция и наступившая вслед за ней советская цивилизация — это перевернутый порядок вещей. И такой же переворот происходит, когда профессор Преображенский подбирает на улице бродячую собаку, берет ее в дом, а затем пересаживает ей гипофиз человека, только что погибшего в пьяной драке. И после

операции собака Шарик начинает постепенно превращаться в человека, наследуя при этом и свои собачьи черты, и черты того пролетария, у которого был взят гипофиз. Природа нового существа — это классовая природа, но возведенная в превосходную степень путем вивисекции, т.е. путем революции. Из дневника доктора Борменталья:

«...сегодня впервые прошелся по квартире. Смеялся в коридоре, глядя на электрическую лампу. Затем, в сопровождении Филиппа Филипповича и меня, он проследовал в кабинет. Он стойко держится на задних лапах (зачеркнуто)... на ногах и производит впечатлительные маленького и плохо сложенного мужчины.

Смеялся в кабинете. Улыбка его неприятна и как бы искусственна. Затем он почесал затылок, огляделся, и я записал новое отчетливо произнесенное слово: «буржуи». Ругался. Ругань эта методическая, непрерывная и, по-видимому, совершенно бессмысленная».

Таково проявление классовой природы. И неслучайно одно из первых слов «нового человека» — «буржуи» (адресованное хозяину и всей профессорской обстановке). А когда профессор сказал ему за едой — «не бросай объедки на пол», новый человек неожиданно ответил: «Отлезь, гнида». А вот его новая внешность:

«У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности... Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над черными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щетка.

Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской. На шее у человека был подвязан ядовито-небесного цвета галстук с фальшивой рубиновой булавкой».

Профессор начинает его воспитывать:

— Убрать эту пакость с шеи. Вы... вы посмотрите на себя в зеркало, на что вы похожи. Балаган какой-то. Окурки на пол не бросать — в сотый раз прошу. Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире! Не плевать! Вот плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете. Смотрите! Кто ответил пациенту «пес его знает»? Что вы, в самом деле, в кабаке, что ли?»

Затем новое существо требует выправить документы для прописки в квартире, выбирает себе изысканное имя — Полиграф Полиграфович и наследственную фамилию Шариков. Была неплохая собака Шарик; появился ужасный Шариков. Вот разговор за обедом:

«— Вы бы почитали что-нибудь, — предложил он (Борменталь. — А.С.), — а то, знаете ли..»

— Уж и так читаю, читаю... — ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки.

— Зина, — тревожно закричал Филипп Филиппович, — убирай, детка, водку. Больше уж не нужна. Что же вы читаете?..

— Эту... Как ее... переписку Энгельса с этим... как его — дьявола — с Каутским...

Филипп Филиппович локти положил на стол, взгляделся в Шарикова и спросил:

— Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного.

Шариков пожал плечами.

— Да не согласен я.

— С кем? С Энгельсом или с Каутским?

— С обоими, — ответил Шариков.

— А что бы вы со своей стороны могли предложить?

— Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут...

конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять все, да и поделить...»

Таким образом, главная идея Шарикова — идея социального равенства — все поделить поровну. А в его суждениях особенно поражает исключительная безапелляционность и самоуверенность.

Повесть кончается благополучно: не выдержав натиска Шарикова, профессор делает новую операцию, пересаживает Шарикову назад его собачий гипофиз, и тот возвращается в мирное и спокойное собачье состояние, в хорошего пса Шарика.

Какой же вывод можно сделать из этой очень смешной и очень печальной истории? Нельзя безнаказанно и в таком радикальном, революционном порядке менять человеческую природу. Изменения действительно происходят, но, увы, подчас не в лучшую, а в худшую сторону.

Теперь остановимся еще на одной особенности советского человека, связанной с его социально-классовой природой. Этот человек очень прост. И понять его нам бывает трудно подчас именно в силу его необыкновенной простоты. Это его качество может проявляться и как достоинство и как недостаток. Достоинство его простоты в том, что человек этот не любит всяких условностей, принятых в обществе, они кажутся ему каким-то лицемерием, кривлянием, чем-то нечестным. А быть честным — значит быть простым, т.е. не вилить, не хитрить, говорить прямо что думаешь и т.д. И та же простота может оборачиваться крайней примитивностью мысли, грубостью, вульгарностью, хамством, фамильярностью.

Федотов пишет, как удивительно обновилась Россия в социально-психологическом смысле после революции. И обновилась, в частности, тем, что на поверхность вылезла и вышла на первый план — простота: и

в быту и в людях, в их отношениях и в их психологии. «Традиции в России сметены так радикально, как, может быть, еще ни одной революцией в мире. Революция обнажила тот психологический склад, который определяется «простотой» как высшим критерием ценности».

Продолжая мысль Федотова, можно сказать, что это произошло потому прежде всего, что самой почетной категорией в обществе стало простонародье. Простота вообще характеризует рабочего и мужика. Но после революции эта простота стала куда заметнее и сильнее, ибо она поперла вверх и стала признаком человеческой полноценности.

Когда-то, накануне революции, Ленин сказал, имея в виду будущее коммунистическое общество: «...Любая кухарка должна уметь управлять государством». Эти слова множество раз повторялись в разных вариантах: «Мы и кухарку выучим (или научим) управлять государством». В результате фраза стала сакраментальной как обозначение нового общества и нового человека. В устах Ленина (да и до сих пор) эта формула предполагает высший тип демократии. Но у Ленина она имела еще два оттенка: во-первых, предполагалось, что кухарка должна уметь управлять, т.е. должна учиться и, таким образом, из кухарки превратиться в интеллигента новой формации, в человека, способного разбираться в сложных политических вопросах. А во-вторых, Ленин тогда мыслил еще утопически и предполагал, что новое общество будет построено целиком и полностью на принципах самоуправления. То есть не будет никакого особого государственного аппарата, а все люди по очереди, в том числе даже кухарки, будут принимать участие в государственном управлении, не приобретая за эту общественную работу никаких привилегий. Вскоре, с приходом к власти, Ленин

был вынужден отказаться от этой демократической идеи.

Тем не менее эта ленинская фраза стала крылатой, и действительно — реализовалась, только реализовалась навыворот. Кухарки пустились управлять государством, не приобретая, однако, для этого никаких особых знаний, не проявляя ни умения, ни таланта. Кухарка просто-напросто воссела на трон, оставаясь по своему культурному уровню и психологическому складу кухаркой. Победил Шариков. Притом, повторяю: ни собака Шарик, ни кухарка сами по себе не есть какие-то низкие или ужасные твари. Свою низкую природу они проявляют, лишь заняв командное положение. Мы видим это по лицам, по манерам, по речи, по способам управления многих советских вождей послесталинской формации. Это не какие-то злодеи или изверги. Это просто-напросто кухарки. Причем сами по себе они, может быть, даже не виноваты в том, что оказались не на месте, как не виновата собака Шарик, что ее сделали человеком. Виноваты социально-исторические судьбы, пути и процессы, которые произвели эту вивисекцию. Ведь любой современный советский вождь, будь он на своем месте, я уверен, мог быть прекрасным конюхом, пастухом, извозчиком или даже инженером. И, наконец, оказался бы прекрасной и доброй кухаркой.

Так великая ленинская фраза, реализовавшись, превратилась в фарс, комический и ужасный. И это стало воплощением мечты о «новом человеке» — основе основ советской цивилизации.

*Глава шестая***СОВЕТСКИЙ БЫТ****Постоянное непостоянство**

От метафизики нового мира перейдем к его физике. Иными словами, с высот идеологии и с высоты общих понятий опустимся на землю и займемся, я бы сказал, молекулярным рассмотрением этой системы. этого организма.

Что такое советский быт? Слово «быт» предполагает самый нижний, простой и приземленный слой общественного бытия и характеризует повседневную и заурядную жизнь и отдельного человека, и всего народа или какого-то сословия. С другой стороны, «быт» — это что-то длительное и стабильное, связанное с привычками, с традициями и просто с элементарными формами существования — как потребность и необходимость есть, работать, иметь жилье, одеваться, развлекаться, размножаться, хоронить своих близких. Однако как феномен собственно советской цивилизации и истории этот быт особым образом трансформирован и представляет собою весьма своеобразное явление.

Его специфика определяется в первую очередь сочетанием двух полярных тенденций — разрушения и созидания, отрицания и консервации. По идее, в согласии с первоначальной моделью нового общества, разрушению и отрицанию подвергается весь так называемый «старый быт» во имя нового «советского быта». Отрицательные и разрушительные тенденции так велики и настолько постоянны в жизни общества, что само словосочетание «советский быт» или «новый быт» представляет собой какой-то нонсенс, оксюморон, со-

единение взаимоисключающих по смыслу понятий. В самом деле, сказать «новый быт» — это все равно что сказать «новое старье», поскольку «быт» всегда включает в себе что-то старое, извечное.

Если продолжить дальше эту филологическую игру, то «советский быт» можно назвать «постоянным непостоянством», которое и держится потому, что «постоянное» и «непостоянное» здесь тесно взаимосвязаны, переплетены, создавая своего рода неустойчивое равновесие.

Попробую пояснить это простым житейским примером. Бытовое и притом нормальное, постоянное явление в Советском Союзе — очереди. Очереди за хлебом, за мясом, за картошкой, за колготками, за автомашинами и холодильниками. Очереди в баню и очереди в столовую. Есть очереди, в которых люди стоят иногда по многу часов, а то и с утра до вечера и с вечера до утра. Есть очереди, растянувшиеся на несколько улиц, а порою и на несколько лет. Спрашивается, что представляют собой эти очереди? Это извечная потребность человека в хлебе насущном при отсутствии или, точнее говоря, при недостатке хлеба. Это — устойчивость, построенная на непостоянстве, на неустойчивости. Это — соединение старого и нового. Так что живая и бесконечная очередь стала самым олицетворением «советского быта».

Разумеется, на протяжении 70-ти лет картина советского быта менялась: за периодами резкого материального ухудшения следовали периоды относительно улучшения, и наоборот. Но почти всегда и повсюду в советском быту наблюдается эта странная стабильная нестабильность, в основе которой лежит противоречие между старым и новым или взаимодействие, взаимосвязанность сил разрушения и созидания. Те же очереди, как постоянное явление быта, советская

власть специально не организует, не создает. Они стихийное явление, притом конструктивное и созидательное, которое возникает само собой на основе социалистической недостаточности, голода, нищеты, то есть, в широком смысле, — на основе разрушения.

Элементарный «быт» становится ценностью и всячески обыгрывается, подчеркивается, превозносится именно в силу его уничтожения или общебытовой недостаточности. В разговорах советских людей — на улицах и дома, в гостях и с незнакомыми прохожими часто можно услышать фразу: «где вы это достали?» Не купили, а достали: где вы достали эту шапку? где вы достали мясо? и даже: где вы достали туалетную бумагу? Элементарный продукт потребления становится достижением и знаком особого достоинства, за который надо бороться. Иными словами, быт выдвигается на первое место в условиях, где с этим бытом туго и плохо. Этот быт примитивен, мелок, ничтожен. А вместе с тем он приобретает какие-то утрированные, гиперболические черты, поскольку от него роковым образом зависит само существование человека.

Быт эпохи революции

В первые же годы революции остро и явно проявились разрушительные тенденции, направленные против старого быта и быта вообще. Внезапно страна словно обнищала. Конечно, виною была война со всеми ее бедственными последствиями — голодом, разрухой, эпидемиями, бандитизмом. Но одновременно революция перевернула весь уклад жизни — хозяйственный и собственно бытовой, чем усугубила все эти последствия и наложила на существование людей резкий отпечаток собственно «советского быта». Исчислить все эти перемены мы не в состоянии. Достаточно сослаться на бесконечные реквизиции, выселения, уп-

лотнения (уплотнение — это когда тебе в квартиру насильно вселяют чужих людей), ликвидацию частной собственности, уничтожение целых сословий и классов и начавшуюся в результате всеобщую неразбериху. Разумеется, в итоге кто-то выигрывал, и кто был ничем, порой становился «всеми», хотя бы номинально.

Процесс сопровождался невероятными издержками и потерями. Объективный свидетель, Короленко, записывал в своем дневнике 1919 года: «...“Мой дом — моя крепость”, — говорят англичане. Для русского теперь нет неприкосновенности своего очага, особенно если он “буржуй”. Нет ничего безобразнее этой оргии реквизиций. При этом у нас в этом, как и ни в чем, нет меры. “Учреждения” то и дело реквизируют и то и дело меняют квартиры. Загадят одну — берут другую. “Уплотнение” тоже сомнительно: часто выдворяют целые большие семьи и вселяют небольшую семью советских служащих».

Перевернутый быт особенно болезненно ощущали лица и сословия, выдернутые из привычной среды и колеи и поставленные в самые тяжкие обстоятельства. Притом это вовсе не обязательно были богачи и аристократы, но — вообще люди, не приспособленные вести ежедневную и ежечасную борьбу за существование. Даже пользуясь какими-то небольшими привилегиями по месту работы, по своему ученому или писательскому званию, они попадали в ситуации, совершенно для них невозможные, невыносимые.

В очерке «Мои службы» (1918–1919 гг.) Марина Цветаева вспоминает, как она служила в канцелярии одного учреждения и, как это практиковалось тогда, ее сослуживцы организовали специальную экспедицию в деревню за продуктами, проехали два месяца и привезли одну мороженую картошку.

«По три пуда на брата. Первая мысль: как довести?»

Вторая: как съесть? Три пуда гнили. Картошка в подвале, в глубоком непроглядном склепе. Картошка сдохла, и ее похоронили, а мы, шакалы, разроем и будем есть. Говорят, привезли здоровую, но потом вдруг кто-то «запретил», а пока запрет сняли, картошка, сперва замерзнув, затем оттаяв, сгнила... Картошка на полу: заняла три коридора. В конце, более защищенном, менее гнилая. Но иного пути к ней, как по ней же, нет. И вот: ногами, сапогами. Как по медузье горе какой-то. Брать нужно руками: три пуда. Не оттаявшая слиплась в чудовищные гроздья. Я без ножа. И вот, отчаявшись (рук не чувствую), — какую попало: раздавленную, мороженую, оттаявшую... Мешок уже не вмещает. Руки, окончательно окоченев, не завязывают. Пользуюсь темнотой, начинаю плакать... Взваливаю, тащу. Ругань, пинки. Задние напирают. Я загромождила весь проход... Мешок, слабо завязанный, рассыпается. Ключанье. Хлипанье. Терпеливо и не торопясь подбираю».

Обратный путь, домой, с картошкой на детских поломанных санках по Москве. Лицо перемазано слезами, потом, картошкой. «Я не лучше собственного мешка. Мы с картошкой сейчас — одно».

В этой сценке важно отметить черты, присущие собственно советскому быту. Не просто голод, но страшная бесхозяйственность — как одна из причин голода. Картошку сначала гноят, а потом уже раздают. И эту же картошку приходится топтать сапогами, для того чтобы наполнить мешок. Все это потому, что обычные нити торговли оборваны, личная инициатива отсутствует, запрещена, а чиновникам — наплевать. Всюду господствуют декреты, запреты, мандаты, пропуска, спецснабжение, а не естественный товарообмен. И великий поэт России — Марина Цветаева с горькой иронией отождествляет себя с картошкой: «Мы с картош-

кой сейчас — одно». Это не только художественный прием и не только ирония. Это — быт, который давит человека и заполняет его сознание, выдвигаясь на первый план бытия, подобно вот этой медузообразной горе мерзлой и мокрой картошки.

Конечно, к этим бытовым лишениям, трудностям и превратностям люди относились по-разному. Маяковский в аскетическом быту революции находил высший смысл советской истории. Ибо, в его понимании, в этой нужде и рождалось истинное единство людей, нравственное и духовное, то единство, которое он называл «социалистическим отечеством». Об этом он говорит в поэме «Хорошо!», рисуя достаточно мрачную картину московского быта времен гражданской войны. Вот, к примеру, одна деталь — зима, отопление не работает, водопровод и канализация замерзли. Реплика Маяковского по этому поводу звучит грубо, резко и прямо. Но за этими скупыми словами встает эпоха:

Шапчонку

взял

оборванную

и вытащил салазки.

— Куда идешь?

— В уборную

иду.

На Ярославский.

Для того чтобы сходить в уборную — нужно идти далеко, на Ярославский вокзал. И, отправляясь в этот нелегкий путь, человек берет с собою салазки, с тем чтобы по дороге подобрать какие-нибудь доски от разломанного забора. Но это одновременно означает заботу о ближнем, о родном гнезде, о семье. И поэтому вдруг вся картина озаряется счастьем, счастьем жить в эпоху, когда вдруг, на мизерном уровне этого,

с позволения сказать, быта открываются новые человеческие отношения:

Землю,
 где воздух,
 как сладкий морс,
 бросишь
 и мчишь, колеса, —
 но землю,
 с которою
 вместе мерз,
 вовек
 разлюбить нельзя.

В результате какие-то приметы нищенского революционного быта становятся для Маяковского знаменем любви:

Не домой,
 не на суп,
 а любимой
 в гости,
 две морковинки
 несу
 за зеленый хвостик.
 Я
 много дарил.
 конфekt да букетов,
 но больше
 всех
 дорогих даров
 Я помню
 морковь драгоценную эту
 и пол-
 полена
 березовых дров.

Быт революции схвачен и зафиксирован Маяковским на границе уничтожения быта и человеческой жизни вообще. И потому самые жалкие вещи преиспол-

нены величайшей значимости — не только материальной, но уже и духовной, нравственной, знаменуя добро, любовь и взаимопомощь. Сверх того, для Маяковского они освещены гуманистическими идеалами революции, произведенной ради всеобщего, социалистического блага. Для него в муках этого быта происходит рождение нового общества. Отсюда и трагическая, и героическая, и патриотическая тональность в изображении голода, холода, разрухи.

Самая крайняя недостаточность быта, помимо связанных с нею страданий или, скорее, благодаря этим страданиям, способна вызывать и вызывает иногда самые положительные, возвышенные эмоции и душевные движения. Много позднее, во время второй мировой войны, о днях страшной ленинградской блокады Ольга Берггольц писала:

В те дни исчез, отхлынул быт. И смело
В права свои вступило бытие.

Слова «быт» и «бытие» здесь подчеркнуты и противопоставлены — как маленькое и большое, как низкое и высокое. Разумеется, вполне исчезнуть «быт» не может, но, сведенный до минимума, он порождает стремление и способность жить «бытием», то есть чем-то грандиозным и всеобщим, отрешившись от всего личного, мелкого и пошлого. В этой ситуации, случается, человек переживает величайшее счастье, небывалую внутреннюю свободу и духовный подъем. Ольга Берггольц писала в дни ленинградской блокады в 1942 году:

В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
Где смерть, как тень, тащилась по пятам,
Таковыми мы счастливыми бывали,
Такой свободой дикою дышали,
Что внуки позавидовали б нам.

Конечно, это свойство вообще человека и его духовной природы — переживать иногда состояние высшей свободы, озарения, вдохновения или близости к Богу в минуты крайней опасности. Недостаток материи тогда порождает как бы всплеск идеи. Соответственно, нищета и голод одухотворяются, идеализируются, а люди, пройдя через страдания войны и революции, очищаются и закаляются.

Но громадная масса людей воспринимала все эти бытовые ужасы по-другому и с жадностью хваталась за последние крохи еды и тепла. Переносимые муки ничего возвышенного в их умах и душах не пробуждали. Люди просто гибли или обучались выносливости, терпению, изворотливости, умению вырвать или защитить свой кусок. В тот же период революции, когда Маяковскому стала понятна «теплота любовей, дружб и семей», протекали иные, противоположные процессы. Усиливалась вражда людей на почве голода и холода, взаимная подозрительность, страх, отчужденность. Наблюдалось огрубение человека, отупение и озверение.

Тому есть множество примеров. Но я остановлюсь лишь на одном небольшом рассказе Евгения Замятина «Пещера» (1920 г.), который может служить жестоким контрастом и дополнением к быту эпохи революции в освещении Маяковского. У Замятина перед нами зимний, заледеневший город — бывший Петербург. С первых же фраз мы попадаем как бы в ситуацию каменного века, в доисторический период, в эпоху ледников:

«Ледники, мамонты, пустыни. Ночные, черные, чем-то похожие на дома, скалы; в скалах пещеры». Пещеры — это квартиры и комнаты (отсюда и название рассказа), это последнее жилье, в котором живут и укрываются люди от холода и друг от друга. В центре вселенной, в центре пещеры, — говорит Замятин, —

«бог, коротконогий, ржаво-рыжий, жадный пещерный бог: чугунная печка... Люди... благоговейно, молча, благодарно, простирали к нему руки. На один час — в пещере весна; на один час — скидывались звериные шкуры, когти, клыки, и сквозь обледеневшую мозговую корку пробивались зеленые стебельки-мысли».

В центре рассказа семейная пара — Мартин Мартинович (Март) и его больная жена Маша. Это интеллигенты, тонкие, благородные и совершенно неприспособленные к жизни в новых, первобытных условиях. Маша вдруг вспоминает, что завтра у нее именины и просит в честь этого события затопить с утра печку. Она не знает, что дрова уже кончились. И вот Мартин Мартинович идет к соседу, у которого есть запас дров, и совершает кражу. Печка растоплена. Маша блаженно вспоминает молодость и взаимную любовь, Мартин Мартинович покорно ей поддакивает. Но кража дров уже обнаружена, а он обязался вернуть ворованные поленья, которые уже сожжены. И тогда поздно вечером Мартин Мартинович достает последнее, что у него осталось, — пачку писем той же Маши и синий флакончик с ядом. Письмами он в последний раз возжигает огонь, а яд намерен принять, чтобы уйти из этой невозможной жизни. Но Маша замечает синий флакончик.

«— Март, если ты меня еще любишь... Ну, Март, ну вспомни! Март, милый, дай мне!

Мартин Мартинович медленно встал с колен. Медленно... взял со стола синий флакончик и подал Маше.

Она сбросила одеяло, села на постели румяная, быстрая, бессмертная — как тогда вода на закате, схватила флакончик, засмеялась.

— Зажги еще лампу — ту, на столе. Так. Теперь еще что-нибудь в печку — я хочу, чтобы огонь...

Мартин Мартинович, не глядя, выгреб какие-то бумаги из стола, кинул в печь.

— Теперь... Иди погуляй немного... Не забудь — возьми ключ, а то захлопнешь, а не открыть — ...»

Можно провести параллель между этой сценой у Замятина и тем эпизодом из поэмы «Хорошо!», где Маяковский дарит своей возлюбленной лучшее и последнее, что имеет: две морковинки и березовое полено. У Замятина же высший и блаженный дар человека человеку — яд. Но это так же, как и у Маяковского, проявление любви и последнего тепла, последней человечности. Только у Маяковского в любви побеждает — жизнь, а в рассказе Замятина — смерть. Оба они правы, потому что советский быт того времени и качался между жизнью и смертью. И то одно побеждало, то другое.

Но, возразит читатель, ведь это же исключительные периоды в советской истории — и революция, и война! Не этими же крайностями измеряется нормальный советский быт? Да, конечно, это исключения из общих правил. Но бывает так, что исключения в утрированной форме выявляют правило. По ним, в какой-то мере, можно судить и о норме, об обычном, мирном, повседневном советском быте. Помимо войны и революции в советский быт периодически вторгаются какие-то катастрофы — то коллективизация, которая принесла на рубеже 20–30-х годов не меньше разрушений, чем сама революция; то массовые аресты; то какие-нибудь полеты на Луну или гонка вооружений, за счет чего население вынуждено садиться на полуголодный паек; то хронические трудности в сельском хозяйстве, как это мы видим сегодня. И в любые периоды советской истории быт в большей или меньшей мере принимает образ нищеты.

Утрированная простота

В одном раннем рассказе Мих. Зощенко говорится: «Ах, милостивые мои государи и дорогие товарищи! Поразительно это, как меняется жизнь и как все к про-

стоте идет». Действительно, после победы советской власти упростился человек, упростились человеческие отношения и упростился быт. Эта простота проявлялась по-разному, но лучше других писателей ее воплотил в своих рассказах Зощенко — грустный философ, размышляющий на тему советского и общечеловеческого быта. В его ранних повестях мы читаем по поводу судьбы отдельного, обыкновенного человека:

«Никто никогда не узнал, какая катастрофа разразилась над ним. И была ли катастрофа? Вернее всего, что ее не было, а была жизнь, простая и обыкновенная, от которой только два человека из тысячи становятся на ноги, остальные живут, чтобы прожить».

Расшифруем эту фразу. «Катастрофа», в широком смысле, это революция. И вот, оказывается, она не коснулась человеческих масс и жизнь идет, как она всегда шла. «Два человека из тысячи», которые становятся на ноги, — это герои, это люди идеи. А остальные? — остальные, говорит Зощенко, «живут, чтобы прожить». Это и есть формула жизни обыкновенных советских людей в обыкновенном советском быту. Все люди живут ради того, чтобы жить. Но в советской ситуации, люди живут, для того чтобы — выжить.

«Жизнь в городе изменилась, а в общем люди жили по-прежнему. По-прежнему и даже с большей силой боролись за право свое — прожить: мошенничали, грабили и плутовали». (Там же.)

Но если жизнь, с одной стороны, изменилась, а с другой стороны, осталась неизменной, только приобрела более резкие черты в борьбе за существование, то, значит, революция в высоком смысле — была проиграна. Все переменяя и всех уравнивая, социалистическая революция на бытовом уровне принесла еще большую, по сравнению с капиталистическим миром, грызню за право есть, за право владеть каким-то минимальным куском.

Зощенко для нас в изучении советского быта самый главный писатель и свидетель, потому что в поле его внимания оказались не общие идеи, а конкретный человек. И не какой-то выдающийся герой, не интеллеktуал, а представитель массы, самый простой, маленький человек с его повседневным заурядным существованием.

Богачей в прежнем смысле слова не стало. Но в ситуации общей бедности невероятным богатством становится что-то незначительное, мелкое и даже ничтожное. Например — коза — из ранней повести Зощенко «Коза», где герой — мелкий служащий Забежкин, проходя по улице, увидел объявление:

«Сдается комната для одинокого».

... Забежкин в волнении прошелся по улице и вдруг заглянул в калитку. И отошел.

— Коза! — сказал Забежкин. — Ей-богу правда, коза стоит...

Дай бог, чтоб коза ее была, хозяйкина... Коза! Ведь так, при таком намеке и жениться можно. И женюсь, Ей-богу, женюсь. Ежели, скажем, есть коза — женюсь. Баста. Десять лет ждал — и вот... Судьба... Ах, ты штука какая! Хозяйство ведь. Корова, возможно, или коза дойная. Пускай коза: лучше — жрет меньше.

Забежкин открыл калитку.

— Коза! — сказал он, задыхаясь. — У забора коза. Да ведь ежели коза, так и жить нетрудно. Ежели коза, то смешно даже...»

Весь мир для нашего героя замкнулся и сосредоточился на этой козе. Ибо коза для него — это реальное воплощение сытой и спокойной жизни, основа материального благополучия. И он прилагает необыкновенные усилия, отдает всего себя этой задаче, этой идее фикс — добиться благосклонности хозяйки и получить доступ к ее козе.

И Зощенко своей повестью «Коза» как бы хочет сказать, что хотя и произошла социалистическая революция, а ничего в этом мире для маленького человека принципиально не изменилось. Более того, в ситуации всеобщей нищеты эта жалкая коза становится каким-то сокровищем, недостижимым идеалом. В результате собственнические инстинкты и вожделения не убывают, а возрастают, принимая в новых условиях самые неожиданные и уродливые очертания.

Но дело не только в бедности, не только в тяжелых условиях существования. Советская власть во многом изменила психологию человека. Многие общечеловеческие свойства и пороки в условиях советской жизни приобрели особый, обостренный характер. Поражает утрированная мелочность советского быта. Ведь сфера большого предпринимательства и, так сказать, больших страстей в социалистическом мире чрезвычайно сужена, а то и поставлена вне закона, запрещена. Поэтому страсти кипят на самом низком, бытовом уровне. Да к тому же низы общества сплошь и рядом не осознают социального гнета. Массы населения — в особенности в 20-е и в 30-е годы — ощущали себя на высоте положения, хозяевами жизни, всегда и во всем правыми и совсем не стеснялись проявления своих низменных инстинктов. Все это вместе и придает такие утрированные черты тому, что мы называем советским бытом.

В рассказах Зощенко любой пустяк становится причиной конфликта и непропорционально разрастается. В рассказе «Гости» (1927 г.) хозяйка, созвав гостей, вдруг появляется бледная, как смерть, и говорит:

«— Это, — говорит, — ну, чистое безобразие! Кто-то сейчас выкрутил в уборной электрическую лампочку в 25 свечей. Это, говорит, прямо гостей в уборные нельзя допускать...»

А в конце выясняется, что сам хозяин дома выкрутил лампочку на всякий случай, чтобы гости не сперли, и спрятал в карман, а потом заснул на подоконнике и лампочку в кармане раздавил.

Подобные казусы, которыми переполнен советский быт, конечно, не результат бедности в прямом смысле слова. Но привыкшие к бедности люди порою и в нормальных условиях, даже при достатке, ведут себя как крохоборы. И не потому, что они скупы по своей природе, а потому, что уже выработался навык урывать по мелочам и соответственно подозревать по мелочам друг друга, даже если сами по себе эти мелочи уже не проблема.

Новый быт

В 20-е и в начале 30-х годов были серьезные попытки создать и принципиально новый быт, целиком и полностью рожденный идеями и потребностями социализма. Я имею в виду прежде всего проектирование и строительство домов и жилых массивов особого типа, рассчитанных исключительно на коллективный образ жизни. Ведь с точки зрения идеологов социализма, человек должен жить и воспитываться в коллективе. Согласно этой доктрине, старый быт негоден и вреден уже по одному тому, что люди в нем жили отдельно — семьями или в одиночку, в отдельных домах и в отдельных квартирах. И в результате старый быт рождал разъединенность людей, укреплял индивидуалистические и собственнические навыки. Этот быт, казалось, необходимо сломать и заменить другим, который будет строиться на принципах коллективизма. Если в основе нового общества — коллективный труд и коллективное хозяйство, то и быт должен быть коллективным — коллективный отдых после работы, коллективное воспитание детей, коллективное питание, не только на заводе, но и дома.

Вот что писал по этому поводу в 20-е гг. Луначарский, тогдашний нарком просвещения:

«Революция имеет своей целью сделать людей братьями... она хочет построить большие дома, в которых кухня, столовая, прачечная, детская, клуб были бы устроены по последнему слову науки и обслуживали бы всех жильцов дома-коммуны, живущих в уютных, чистых, снабженных водой и электричеством комнатах».

Эти дома и проекты назывались по-разному: «Дом-коммуна», «Жилкомбинат», «ДНБ» (Дом Нового Быта), «Жилище пролетария». Большие столовые назывались «фабрики-кухни» и были призваны заменить семейные обеды.

Отдельному человеку или семейной паре отводится минимальная жилплощадь — только чтобы спать или переодеться. Ведь индивидуальная жизнь должна быть предельно урезана во имя жизни в коллективе. Дети тоже должны жить и воспитываться отдельно от родителей — в своем коллективе. Это обеспечивало им более чистое социалистическое сознание. И соответственно много пространства в этих проектах отводилось всяким общим мероприятиям — там были общие залы для чтения, для спорта, общие холлы для встречи с гостями и т.д.

Помимо воспитания людей в духе коллективизма, новый быт преследовал и другие задачи, которые поначалу рисовались тоже весьма заманчиво: скажем, освобождение женщины от кухонной плиты, от стирки и вообще от быта, поскольку все женщины, предполагалось, должны работать наравне с мужчинами, должны учиться и жить в коллективе. Но главное заключалось в том, что отдельная личность и отдельная семья отодвигались на задний план по сравнению с общим делом и по сравнению с идеей пролетарского равенства и братства.

Проектам нового быта не суждено было осуществиться. Хотя дома-муравейники строились, они не выполняли полностью своей функции и от них впоследствии отказались. Новый быт не привился по разным причинам. И потому, что государство не могло обеспечить такое гигантское строительство, и потому что оно не могло взять на себя полностью бытовое обслуживание людей — общественное питание, стирку и прочее. Тем более, что организация материального быта всегда стояла для советского государства на последнем месте по сравнению с тяжелой промышленностью и военными приготовлениями.

Но строительство нового быта не удалось еще и потому, что проекты эти были слишком утопичны и вступали в противоречие с самой природой человека. Даже воспитанный в духе коллективизма человек хочет иметь свой угол, свою кастрюлю, свой обед в семейном кругу. Наконец, он жаждет уединения. Без общества, как известно, жить невозможно, но и жить все время на людях — тяжелая обуза.

В итоге, в чистом виде новый быт не получился. Так же как не получился в чистом виде новый человек. Но советский быт, тем не менее, отмечен многими новыми или особыми чертами. Начать с того, что советский человек вынужден вести более коллективный образ жизни, чем ему того хочется. Недаром словосочетание «советский быт» прежде всего вызывает в нашем сознании образ коммунальной квартиры.

Коммунальные квартиры остались в жизни как бы невольной пародией на те дома-коммуны, которые рисовались в мечтах ранним идеологам нового, социалистического быта. Каждая семья в коммунальной квартире живет сама по себе — кто как может и кто как умеет. Кроме того, коммунальные квартиры — мера вынужденная, вызванная острым и длительным жилищным

дефицитом в стране. Дефицит объясняется и тем, что жилищное строительство резко отстает от нужд населения, и тем, что в больших городах в короткие сроки во много раз увеличилось население, благодаря росту промышленности, по причине разорения деревни и по другим причинам. Отсюда людская теснота и скученность на ограниченной жилплощади. Квартира, раньше рассчитанная на одну семью, заселяется пятью или шестью семьями и более — по числу комнат. Или — большие комнаты делятся перегородками для размещения разных семей. В крупных городах вводится так называемая санитарная норма, согласно которой один человек не имеет права располагать более чем 9-ю квадратными метрами жилой площади. На одну семью еще дается право на 4 дополнительных квадратных метра. Вводятся и другие ограничения. На этой базе жилищного голода и складывается коммунальный быт со своими особыми законами и специфическим колоритом.

Характеризуется он в первую очередь необыкновенной теснотой жизни и необходимостью вступать в постоянное общение с совершенно чужими тебе людьми. Каждая семья живет в своей комнате. Чаще всего — в одной комнате. Люди женятся, заводят новую семью, плодятся и продолжают тем не менее жить в одной комнате со своими родителями, братьями, сестрами, дедушками и бабушками.

Один мой знакомый — из семьи интеллигентной и достаточно состоятельной — всю жизнь, до солидных лет, жил в одной маленькой комнате — вместе с родителями и с бабушкой, и спал на раскладушке, которая днем убиралась за недостатком места, а на ночь ее ставили, но опять же, за недостаточностью места, значительная часть этой раскладушки уходила под обеденный стол. Так что практически мой знакомый наполовину спал под столом.

Но это жизнь одной семьи. А в коммунальной квартире много семей, и поэтому коридор, кухня, уборная — общие. Они так и называются — места общего пользования. Если есть ванная — то и ванная общая. И телефон общий, если, конечно, есть телефон. Места общего пользования и составляют основной жизненный нерв и специфику коммунальной квартиры. На этом небольшом пространстве чужие друг другу люди вынуждены постоянно встречаться, общаться, ругаться и вести борьбу за клочок этой общей площади — каждый в свою пользу. И оттого сам этот интерьер мест общего пользования выглядит несколько необычно и даже экзотично. В коридоре, допустим, чей-то сундук или чья-то вешалка, или висит на стене чей-то велосипед. Вокруг этого возникают бесконечные драмы и ссоры. Потому что на сундук в темноте коридора натыкаются другие жильцы и требуют его убрать, или хотят на это место поставить свой сундук. Удивительно выглядит общая кухня, заставленная множеством столиков или тумбочек — по числу семей. Столики разной величины. Кому-то удалось захватить больше места, а кому-то почти ничего не осталось. Газовая плита — общая, но число горелок ограничено, и всем сразу не хватает места. А раньше, когда не было газа, на каждом столике стояла своя керосинка или свой примус, и потому на кухне было невыносимо копотно и чадно. К тому же на кухне стирали белье и вешали здесь же сушить, протягивая веревки через всю кухню. У каждого — своя веревка. А кран водопроводный — общий и один на всех. Под этим краном люди и умываются, и моют посуду, и отсюда же заливают чайники, и берут воду для стирки. Людей много — а кран один...

В условиях коммунальной квартиры слово «соседи» звучит весьма зловеще и требует объяснений. Добрососедские отношения здесь устанавливаются редко,

соседи по квартире — это чаще всего что-то враждебное, опасное или, во всяком случае, чуждое и мешающее жить. Любая мелочь превращается в гиперболу, пустяк — в катастрофу. Здесь процветает взаимная подозрительность, взаимная ненависть, которая разрешается в скандалах, сплетнях, клевете, в драках, доносах. Коммунистическое братство чревато страшной междоусобицей, войной всех со всеми. Помимо тесноты и борьбы за жизненное пространство здесь роковым образом сказывается неравенство людей — имущественное, социальное, интеллектуальное, возрастное, физическое и даже вкусовое. Ведь в коммунальной квартире совместно, в тесном соседстве, вынуждены жить люди самых разных категорий и вкусов: кто-то любит по вечерам брать ванну, кто-то хочет прополоскать в той же ванне детские пеленки; кто-то встает рано и включает радио на полную громкость, а кто-то поздно вечером принимает гостей; кто-то слишком долго сидит в уборной. Этот список взаимных обид можно продлить до бесконечности. Понятно, что в этой коммунальной клоаке хуже всего приходится интеллигентам: и потому, что они оказываются в меньшинстве, и потому, что они по своим манерам и привычкам не похожи на прочих простых людей.

У Зоценко есть рассказ «Летняя передышка» (1929), где мы сталкиваемся с самым обычным коммунальным конфликтом, возникшим из-за неразрешимости жгучего вопроса: кому, как и сколько платить за электричество. Ведь счетчик один, общий на всю квартиру. А свет жильцы жгут по-разному. Рассказ звучит издевательски по отношению к идеологам коммунального быта, утверждавшим, что коммунальная квартира научит людей дружбе и братству и станет ячейкой социалистического общества:

«Конечно, займет собственную отдельную квар-

тирку — это все-таки как-никак мещанство. Надо жить дружно, коллективной семьей, а не запираяться в своей домашней крепости.

Надо жить в коммунальной квартире. Там все на людях. Есть с кем поговорить. Посоветоваться. Подражаться. Конечно, имеются свои недочеты. Например, электричество дает неудобство. Не знаешь, как рассчитывать. С кого сколько брать. Конечно, в дальнейшем, когда наша промышленность развернется и когда Америка на цыпочках будет ходить перед нами, тогда можно будет каждому жильцу в каждом углу поставить хотя по два счетчика... И тогда, конечно, жизнь в наших квартирах засияет, как солнце.

Ну, а пока, действительно, имеем сплошное неудобство.

Для примеру, у нас 9 семей. Один провод. Один счетчик. В конце месяца надо к расчету строиться. И тогда, конечно, происходят сильные недоразумения и другой раз мордобой.

Ну, хорошо, вы скажете: считайте с лампочки.

Ну, хорошо, с лампочки. Один сознательный жилец лампочку-то, может, на пять минут зажигает, чтоб раздеться или блоху поймать. А другой жилец до 12 ночи чего-то там жует при свете. И электричество гасить не хочет...

Один у нас такой был жилец — грузчик, так он буквально свихнулся на этой почве. Он спать перестал и все добивался, кто из жильцов по ночам алгебру читает и кто на вилках продукты греет... У него контроль был очень хорошо поставлен. Он, я говорю, буквально ночи не спал и каждую минуту ревизию делал. То сюда зайдет, то туда. И все грозил, что топором зарубит, если найдет излишки...»

Ну а дальше начинается вакханалия: каждый жилец, подозревая другого в обмане, старается на себя

персонально потратить как можно больше общего электричества. А счет за электроэнергию все растет и растет.

«Одним словом, когда докрутили счетчик до 38 рублей, тогда пришлось прекратить энергию. Все отказались платить. Один интеллигент только умолял и за провод цеплялся, но с ним не посчитались. Обрезали».

Все это не выдумка и не художественное преувеличение. Лично я 40 лет прожил в коммунальной квартире и могу подтвердить, что лампочка, или помойное ведро, или как поставить чайник на общей плите — это действительно проблема. В продолжение рассказа Зощенко добавлю следующее, в виде живого примера. В нашей квартире я и моя семья были единственные интеллигенты. И, естественно, по вечерам я зажигал настольную лампу и долго читал или писал, иногда до глубокой ночи. И, естественно, соседи это заметили и предложили мне прекратить чтение и гасить свет, и ложиться спать пораньше. Тогда я начал платить вдвойне за мою настольную лампу. Но это не помогло. Тогда я завел для своей комнаты отдельный электросчетчик. Но тогда возникла новая проблема: ведь поздно вечером я иногда выхожу в коридор или на кухню, или прогулять собаку. Это значит, я излишне пользуюсь общим электричеством. Тогда я поставил отдельную, собственную лампочку в коридоре, которая зажигалась из моей комнаты и была подключена к моему электросчетчику. Наконец-то, мне казалось, проблема электроэнергии была улажена. Но тут же возникла новая проблема — моя собака. Правда, она никогда не лаяла и не выбегала из нашей комнаты, а сидела всегда тихо, чтобы не возбуждать нареканий со стороны соседей. Однако когда я выводил ее гулять — два раза в день, — она же шла все-таки по общему коридору и, значит, своими ногами пачкала больше, чем каждый

отдельный жилец, и, следовательно, мы должны мыть пол в коридоре чаще, чем все прочие жильцы. Я на это согласился. Но тогда возразили, что собака, поскольку у нее четыре ноги, а не две, как у всех, оставляет больше следов в коридоре. И надо за нее мыть пол в коридоре в два раза чаще, чем за одного человека. Тогда я стал ее выносить на руках через общий коридор, благо собака была маленькой. Словом, целая война, в которой победить невозможно и которую нельзя унять или успокоить. Потому что чем больше я тратил денег и сил, чтобы удовлетворить соседей, тем пуще возрастала их ненависть ко мне. Ишь, барин, отдельный электрический счетчик завел, и собаку держит, и платит больше прочих за мытье полов в коридоре и в других местах общего пользования. Причем другие жильцы своими руками моют пол в коридоре, а он нанимает уборщицу. Откуда у него деньги? И почему он так долго не спит и жжет свет? И хотя у меня была неплохая зарплата и я имел некоторые советские привилегии как научный работник и член Союза Писателей — это не помогало. Потому что мой быт как-то отличался от общего быта коммунальной квартиры, возбуждая зависть и подозрительность: а чем я на самом деле занимаюсь, и не американский ли я шпион, если поздно вечером у меня в окошке горит свет?

А ведь это только одна маленькая деталь, связанная с электросчетчиком. Но бывает и пострашнее. Когда на кухне у каждой хозяйки кастрюля стоит на огне под замком. И для того чтобы помешать ложкой суп или попробовать жаркое, кастрюлю каждый раз отпирают, а потом снова запирают на ключ. Ведь хозяйка не может все время находиться на кухне, пока варится обед, а пока она уходит в свою комнату, соседка может украсть мясо — и не с голоду, а просто, чтобы досадить. Или — что-нибудь нехорошее подсыпать в суп:

лишнюю соль, допустим, или грязь с полу, или просто плюнуть в соседскую еду...

По этим крайностям можно судить, как накалена атмосфера коммунального быта. Разумеется, идеологи и устроители социализма не предполагали, что человеческая природа настолько сильна и что соединение людей на одной жилплощади обернется такой враждой. Все подобные казусы долгое время было принято объяснять наследием проклятого капиталистического прошлого, буржуазными пережитками в сознании людей, которые постепенно должны исчезнуть. Но они не исчезают, а только оборачиваются по-новому, что и составляет отличительную черту нового, советского быта.

Борьба с мещанством

Все 20-е и отчасти 30-е годы продолжалось искоренение буржуазных пережитков в быту и в сознании людей. Это совпадало во многом с государственной политикой, направленной на ликвидацию остатков частной собственности в деревне и в городе, на ликвидацию так называемой «мелкой буржуазии», то есть частных предпринимателей, торговцев, ремесленников, кустарей и, наконец, зажиточных крестьян или, по официальной терминологии, — кулаков. Но это было одновременно борьбой за новый быт и за новую психологию человека в социалистическом обществе. Ведь источником всех зол и пороков — в том числе и в быту, и в человеческом сознании — считалась «собственность», заставляющая людей жить для себя, а не для всех, и питающая всевозможные эгоистические инстинкты. Отсюда и в быту ведется борьба с собственным домом, с собственным маленьким мирком человека. Не будет собственности, не будет собственников — и все пойдет хорошо. По сути это типично революци-

онное мирозерцание. Но теперь оно интересует нас в чисто бытовом аспекте. По многим произведениям советской литературы мы можем наблюдать, как само понятие «быт» (или «старый быт») ассоциируется с остатками индивидуальной собственности. В особенности такой собственности, которая приносит человеку хоть какой-то самостоятельный доход и позволяет ему жить более или менее независимо. Вот здесь-то, предполагалось, и скрывается главный враг, главная опасность.

В этой связи я коснусь небольшой поэмы Эдуарда Багрицкого «Человек предместья». Она была написана в 1932 году, то есть уже к концу коллективизации и раскулачивания деревни, и по духу своему отвечала именно этим процессам и событиям. Но герой поэмы Багрицкого и, соответственно, его главный противник, названный презрительно «человеком предместья», — это не кулак, не крестьянин, а житель пригорода — из тех, кого еще не трогали и у кого Багрицкий тогда снимал часть избы. То есть «человек предместья» — это хозяин маленького дома с небольшим садом и кое-какою скотиной, притом человек трудящийся, как он здесь изображен, который все наживает собственным трудом. Но уже один тот факт, что этот человек — собственник, заставляет поэта выражать ему крайнюю неприязнь и рисовать его в духе первоначальников капитализма, суть которых состоит в том, чтобы все тащить к себе и никому не отдавать:

Недаром учили: клади на плечи,
За пазуху суй — к себе таща,
В закут овечий,
В дом человеческий,
В капустную благодать борща.
И глядя на мир из дверей амбара,
Из пахнущих крысами недр его,

Не отдавай ни сора, ни пара,
Ни камня, ни дерева — ничего!

Короче говоря, никаких серьезных обвинений против «человека предместья» Багрицкий не выдвигает и выдвинуть не может. Единственная вина этого человека в том, что он — собственник, что у него дом, и он живет ради этого дома. И потому — это враг. Это — воплощение быта, эгоистической инерции, которой всегда жили люди и которая теперь, в новую эпоху, подлежит уничтожению. Багрицкий в своих мечтах, в воображении, рисует картину близкого будущего: как в этот дом вторгается эпоха, а конкретно, как вторгаются сюда носители эпохи — нынешние победители:

Прошедшие с боем леса и воды,
Всем ливням подставившие лицо,
Чекисты, механики, рыбоводы,
Взойдите на струганое крыльцо.
Настала пора — и мы снова вместе!
Опять горизонт в боевом дыму!
Смотри же сюда, человек предместий:
— Мы здесь! Мы пируем в твоём доме!

Это звучит патетически. Но если вдуматься в то, что здесь происходит и что с таким восторгом описывает и предвидит Багрицкий, — то станет страшно. Перед нами загнанный, замученный государством «человек предместья», то есть маленький, обыкновенный, простой человек, ради которого и делали революцию. А теперь революция, на новом этапе, выгоняет его из собственного дома, разоряет его быт. И все это только потому, что он «мелкий собственник», от которого и происходит главное зло на свете.

Но мы уже знаем, что и уничтожив мелких собственников, и поселив людей в единой, коммунальной квартире, новое общество не избавилось от злого микроба

человеческого эгоизма и своекорыстия. Раньше, допустим, маленький хозяйчик все, что мог, тащил в свой дом, в свой амбар. А теперь он сражается с соседом за свои права на кухне или в уборной, хотя это уже вполне советский человек.

Итак, сквозь новый быт все время прорастает старый. Но только в новом обличье он подчас еще ужаснее. Ибо все крутые меры по ограничению человека, которые предпринимала и предпринимает советская власть, не спасают, а лишь увеличивают его мелочный эгоизм и переводят этот эгоизм в иную плоскость нескончаемой взаимной бытовой вражды.

В 20-е годы и в начале 30-х годов для обозначения причины всех зол, помимо ярлыка «мелкий собственник», был в ходу еще термин «мещанин». Мещанство теснейшим образом связалось с бытом, а иногда даже приравнивалось к нему. В понимании идеологов после-революционной поры всякий быт неизбежно окрашивался мещанством. У «мещанина» много общего с «мелким собственником»: он тоже эгоистичен, тоже живет для себя, для собственного благополучия, и находит его в своей квартирке, своих вещах, своем маленьком семейном счастье. Но в отличие от мелкого собственника, «мещанин» — понятие менее определенное и более размытое в социальном плане. «Мещанином» может быть кто угодно — и мелкий частник, и пролетарий, и партийный чиновник, и бывший герой революции. Достаточно человеку обзавестись каким-то уровнем благополучия и довольствоваться им, утратив духовность, идейность, как ему грозит опасность превратиться в мещанина. С другой же стороны, слово «мещанин» несет в себе всегда эстетический оттенок и говорит о дурных вкусах, которые так и именуются — «мещанскими вкусами». Эти мещанские вкусы могут быть отсталыми, заимствованными из прошлого, но

могут быть и новыми, благоприобретенными вместе с победой советского режима и с укреплением материального достатка.

В стихотворении 1921 года «О дряни» Маяковский открывает следующую после революции и гражданской войны страницу советской истории и в ужасе кричит о наступающем мещанстве, которое вдруг полезло из всех щелей:

Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина.

Выясняется, что перед нами не просто старый мещанин, который где-то отсиживался, пока шла война, а теперь выполз на свет, — перед нами мещанин новой, социалистической формации, вполне усвоивший советские замашки и признаки и ощущающий себя хозяином положения. Недаром его жена, которую он по-новому, по-партийному величает «товарищ Надя!», собирается на бал в Реввоенсовете, который стал для нее высшим светом. И бальное платье у нее, соответственно, должно быть разукрашено советскими государственными гербами с серпом и молотом. А сам хозяин дома мечтает завести себе широчайшие, как Тихий Океан, штаны-галифе, — по тогдашней военно-революционной моде. Словом, перед нами не какие-нибудь старые обыватели, а представители советско-партийной бюрократической элиты. И вся картина этого мещанского счастья и дома строится на кощунственном для Маяковского совмещении архаически-мещанских и новомодных, собственно советских, признаков быта, когда, например, рядом с портретом Карла Маркса заливается канарейка в клетке:

«Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»

Канарейка — испытанный символ мещанской идиллии и мещанского вкуса. Но зачем в своей ненависти к мещанству Маяковский палит из пушек по канарейкам? Неужели коммунизм может быть побежден канарейками? С точки зрения Маяковского — да. Потому что для него канарейка — признак буржуазной стабильности и человеческой косности, которые берут верх над революцией с ее высокими идеалами. Это не просто «пережитки прошлого», которые причудливо совмещаются в быту с чертами советской современности. Опасность, о которой говорит Маяковский и с которой он пытается всеми силами бороться, — это угроза мещанского перерождения самой революции в собственную противоположность. Это не реставрация старых порядков и не возврат к дореволюционным временам, но окостенение, окаменение революционной энергии и воли, переходящих в новую пошлость, в неподвижность быта. Именно этим и объясняется страх Маяковского перед канарейками, канцелярскими чернильницами, бюрократическими портфелями и другими символами новой стабильности. Они — конец революции. И ужас поэта и гнев тем сильнее, что новый враг неуловим. Враг рассеян теперь повсюду — в виде микроба пошлости и своекорыстия, микроба мещанско-бюрократической силы, и против него крайне трудно бороться, потому что это не какой-то чуждый, а свой же победивший и утвердившийся советский строй.

Однако и за бытом, за воцарившемся мещанским,

косным бытом была своя человеческая правота. Люди не могут все время гореть революционным пламенем во имя светлых идеалов. Людям необходим быт в сегодняшнем, а не в завтрашнем светлом дне, — и в собственном доме, а не в масштабах вселенной. У Маяковского в комедии «Клоп» обывательские настроения неожиданно выказывает рабочий парень. На вечные разговоры о том, что нужно стремиться не к своему, а ко всеобщему счастью, то есть оставаться верным идеям и делам революции, этот парень возражает: «Теперь не 19-й год. Людям для себя жить хочется».

Вот это роковое желание «жить для себя» и сделалось уравнивающим и стабилизирующим фактором нового общества. На бытовом уровне оно как бы застыло и покрылось мещанской плесенью. Ведь и сами руководители захотели жить для себя. Неслучайно в 30-е годы презрительное слово «мещанство», которым так пестрела раньше советская печать, постепенно исчезает. «Мещанство» победило и наверху, и внизу советской иерархической пирамиды и не хотело тревожить себя излишними попреками.

Конечно, советское государство никогда не дает человеку полной возможности жить для себя и требует, чтобы он жил для государства. Но, платя как бы необходимую дань государству, человек упорно, тайно или явно, предпочитает «жить для себя», пуская корни в трудный советский быт.

Великий Комбинатор

Пути, чтобы «жить для себя», в Советском Союзе весьма ограничены или вообще перекрыты. Но в то же время — они достаточно разнообразны и порою весьма неожиданны. Человеческая природа находит самые хитроумные и удивительные лазейки, чтобы обойти преграды и хотя бы временно восторжествовать. На

этой почве мы сталкиваемся еще с одним интересным явлением советского быта и с определенным социально-психологическим типом, который я бы для простоты пока что обозначил словом «пройдоха». Это очень условное обозначение, которое, в свою очередь, охватывает чрезвычайно много сторон и явлений советской жизни и быта. Фигурально выражаясь, всякий советский человек в каком-то смысле — прохиндей. Сумел вступить в партию и сделать выгодную карьеру, не имея на то ни морального права, ни деловых способностей? — прохиндей. Получил жилплощадь раньше других дураков, стоящих на очереди, — прохиндей. Зашел в магазин как раз вовремя, в тот момент, когда на прилавок, в продажу, выкинули какой-нибудь редкий товар, будь то колбаса или цигейковая шуба — прохиндей. Вообще, чтобы жить, нужно быть прохиндеем.

Разумеется, всюду, в любом обществе существуют пройдохи, которые знают и находят какие-то свои, особые, скрытые пути к богатству или к власти. И все же советский быт требует от человека большой изворотливости, и это накладывает отпечаток «прохиндейства» на самую психику человека, любого человека. Попробую это пояснить анекдотом.

Американский миллионер решил жениться на девушке с хорошим характером и не мог найти подходящую. Например, одну юную английскую леди, за которой он ухаживал, он застал однажды в слезах: девица потеряла бриллиантовое кольцо. Но если она плачет из-за такого пустяка, что с ней будет в серьезной беде? Нет, не женюсь, — подумал миллионер и поехал в Советский Союз. Была эпоха продуктовых карточек. И вдруг на московской улице он встретил девушку, которая шла и смеялась. Миллионер спросил, почему? И услышал в ответ: — Ах, у меня такая радость! В магазине мне выдали макарончики и не вырезали талончи-

ки! — Но если она радуется из-за такого пустяка, значит у нее прекрасный характер! — И миллионер тут же женился!

Из этого анекдота с неизбежностью следуют два вывода. Во-первых, советские люди не так уж несчастны, как это может показаться с первого взгляда. Жизнь советских людей, которые ухитряются в этих обстоятельствах что-то найти и сделать «для себя», по своему достаточно интересна. А во-вторых, советская девушка в данном случае выступает в качестве «пройдохи», поскольку ей удалось получить макароны, сохранив талоны продуктовой карточки. То есть — как-то обойти поставленную на ее пути государственную преграду. И вот у простой советской девушки появляется азарт жизни, и она веселится...

Но прохиндейство, так или иначе присущее советскому человеку, не всегда столь невинно. И потому сам этот социально-психологический тип, столь распространенный в советском быту, лучше всего изучать в каком-то более ярком и сфокусированном выражении — профессионального пройдохи, получившего особое развитие при социалистическом режиме. О таком герое были написаны на рубеже 20-х и 30-х годов, знаменитые романы И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Отдельные ситуации и словечки из этой книги вошли в повседневный язык и быт советских людей. Это объясняется не только талантом авторов в построении увлекательного, авантюрного сюжета. И не только живым юмором этой книги. Главное достижение Ильфа и Петрова — их герой, Остап Бендер, которого авторы обнаружили как бы в самом воздухе советской жизни, и этот герой обеспечивает в романе и цепь острых приключенческих коллизий, и комизм предложенных авторами ситуаций, подробностей, речевого строя.

«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» принадлежат к жанру плутовского романа, который особенно процветал в 16–17 веках в Испании, Франции, Англии и других европейских странах. И вдруг обнаружилось, что жанр плутовского романа весьма и весьма актуален в условиях советской современности.

Остап Бендер — тип идеального пройдохи, до некоторой степени несущий черты возвышенного, положительного героя, хотя авторы, безусловно, не стремились прославлять корыстные стимулы и мошенничество, лежащие в основе всей деятельности Остапа. Ильф и Петров были вполне лояльные советские писатели. И они даже стараются как-то осудить своего Остапа, показав конечную бесперспективность его авантюрных притязаний в мире победившего социализма. Но такая уж логика и сила художественного образа и такова реальность советской повседневности, что мошенник и обманщик Остап Бендер оказывается здесь самым светлым персонажем, самым умным, интересным, смелым и великодушным человеком. Все дело в том фоне, на котором он выступает. А фон этот — инерция советского быта, который при всех героических лозунгах и устремлениях лишен жизни, лишен игры, ибо личность здесь находится в подчинении у государства.

И вот на этом фоне появляется Остап Бендер, первое и главное определение которого — «Великий Комбинатор». Комбинатор он — потому что непрестанно изобретает и комбинирует идеи. Сам он говорит о себе: «меня кормят идеи», «я не налетчик (то есть не вор и не бандит), я идейный борец». Но идейный борец особого рода: «Я идейный борец за денежные знаки». То есть аферист, мошенник, воодушевленный идеей не просто обогащения, но изобретения обходных путей и маневров, гениальных махинаций по части обмана общества, в котором он вынужден жить. Это — гений на-

ходчивости, действующий на низовом уровне быта, поскольку только сфера быта и дает еще какой-то относительный простор для изобретателей типа Остапа Бендера. Ведь сфера большого бизнеса закрыта, сфера политической борьбы и интриги тоже закрыта. И вот вся энергия, и весь талант, и весь пафос брошены в единственно доступную область — быта. Символически это выражено следующей эмблемой: «На груди великого комбинатора была синяя пороховая татуировка, изображавшая Наполеона в треугольной шляпе и с пивной кружкой в короткой руке».

Это и есть символ новой эпохи. Соединение Наполеона с пивной кружкой знаменует новый этап в истории человечества, этап советской истории, взятый на уровне быта. И действительно, Остап Бендер ведет себя по-наполеоновски. Но величие идей и гениальные способности проявляются у него там, где все мелко, смешно и убого, и носит какой-то вымороченный и плоский характер «социалистического общества», социалистической коммунальной квартиры.

Между тем Остап Бендер совсем не враг советской власти. Но, как он говорит о себе: «Мне скучно строить социализм». И правда, независимо от воли авторов, мы видим: что строить социализм — это дело, может быть, и великое, но очень скучное, поскольку оно лишает людей личной инициативы и яркой индивидуальности. Но и в этой скуке Остап Бендер проявляет личную инициативу и в самом социализме находит богатые возможности для своего изобретательства.

Таким образом, хотя строить социализм ему скучно, Остап Бендер выступает как порождение социалистической, советской системы. Это — дитя нового общества. И потому он появляется в романе как молодой человек современности, чувствующий себя в этом современном мире как рыба в воде. Отсюда его преимуще-

ства в роли проходимца. Ведь в романе, рядом с Остапом Бендером, представлены и другие проходимцы: воры, мошенники, хищники, стяжатели... Но все они меркнут в лучах славы Остапа Бендера по той простой причине, что Остап Бендер — это советский человек, знающий все ходы и выходы в условиях нового строя. Его философия одновременно мудра и проста. Эту философию можно выразить одной его тирадой, которую он произносит перед воображаемым судом и одновременно перед всем человечеством:

«Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука, но, господа присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто, как ящик. Надо только уметь его открыть. Кто не может открыть, тот пропадает...»

Остап Бендер умеет открывать этот ящик, потому что он вырос и воспитался в этой системе и знает ее как свои пять пальцев. И одна из пружин системы — это советская демагогия, которой он овладел в совершенстве. Поэтому он так легко находит необходимые идеи для своего мошенничества. Вроде лозунга: «Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству», или организации новой промышленной конторы под вывеской «Рога и копыта», или революционное происхождение, которое он себе присваивает: «сын лейтенанта Шмидта, героя революции 1905 года». Любопытно, что хранится в его саквояже бродячего музыканта и фокусника, советского проходимца и жулика:

«Бендер присел над чемоданчиком, как бродячий китайский фокусник над своим волшебным мешком, и одну за другой стал вынимать различные вещи. Сперва он вынул красную нарукавную повязку, на которой золотом было вышито слово «Распорядитель». Потом на траву легла милицейская фуражка с гербом города Киева, четыре колоды карт... и пачка документов с круглыми сиреневыми печатями».

То есть советские знаки власти, знаки привилегированного и доверенного положения в новом обществе идут наравне с игральными картами, которыми всегда пользовались мошенники. И то, и другое — фальшивка. Однако новая, советская фальшивка действует лучше и дает больший шанс на успех: все благоговеет перед бумагой с государственной печатью и перед красной повязкой с надписью «Распорядитель».

Посмотрим, как ведет себя Остап Бендер в роли мнимого сына лейтенанта Шмидта. Подобного рода самозванцы издавна время от времени промышляли на Руси, начиная от Лжедмитрия и кончая Хлестаковым. Но теперь пошли в ход мнимые герои революции и мнимые дети этих мнимых героев. Причем Остап Бендер не просто выдает себя за сына лейтенанта Шмидта. Важно — куда он идет и каким тоном, каким языком он разговаривает, чтобы получить деньги за свое революционное прошлое. Он идет в Горисполком, в официальное учреждение, и в разговоре с председателем исполкома начинает играть на политических струнах, внятных именно представителю социалистического государства:

«Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу... Мне всякий даст, но, вы понимаете, это не совсем удобно с политической точки зрения. Сын революционера — и вдруг просит денег у частного, у нэпмана...

— И очень хорошо сделали, что не обратились к частнику, — сказал... председатель».

Формула «с политической точки зрения» срabатывает безотказно. И, не желая потерять «политическую бдительность», государственное лицо клюет на удочку афериста.

При всем том Остап Бендер никогда не идет на прямое и открытое преступление. Он говорит о себе: «Я чту уголовный кодекс... В мои четыреста честных спо-

собов отъема денег ограбление не входит, как-то не укладывается».

Как советский человек, впитавший эту систему в свою душу и тело, он знает прекрасно всю ее клавиатуру, все кнопки, на которые надо нажимать, чтобы без особого труда и без какого бы то ни было риска разжиться деньгами. В самом начале романа «Двенадцать стульев», в экспозиции сюжета, Остап Бендер, оказавшись в маленьком провинциальном городе без копейки денег, обдумывает ситуацию. Перед его мысленным взором возникает очень простой и быстрый вариант мошенничества:

«...А можно было завтра же пойти в (городскую комиссию) и предложить им взять на себя распространение еще не написанной, но гениально задуманной картины: «Большевики пишут письмо Чемберлену», по популярной картине художника Репина: «Запорожцы пишут письмо султану». В случае удачи этот вариант мог бы принести рублей четыреста.

...Вариант родился в голове Бендера, когда он... обозревал выставку Ассоциации художников революционной России... С картиной... не все обстояло гладко: могли встретиться чисто технические затруднения. Удобно ли будет рисовать т. Калинина в папахе и белой бурке, а т. Чичерина (Чичерин был тогда наркомом иностранных дел. — А.С.) — голым по пояс? В случае чего можно, конечно, нарисовать всех персонажей в обычных костюмах, но это уже не то. Не будет того эффекта!..»

Бендеровский вариант мошенничества пародийно отражает специфику советской официальной живописи: соединение революционной, партийной темы со старой, избитой формой реализма передвижников. Это и есть господствующий, государственный эстетический вкус: соединить запорожцев Репина с вождями

Советского Союза. И неслучайно идея картины пришла в голову Бендеру на выставке АХРР — Ассоциации художников революционной России — правого и консервативного крыла советской живописи того времени, которое и победило окончательно в 30-е годы под знаком социалистического реализма в изобразительном искусстве. Так что Остап Бендер оказался довольно прозорливым прожектером и угадал сегодняшней и завтрашний день советского искусства.

Между прочим, — забавная историческая деталь, которую не знали и не могли знать тогда Ильф и Петров. Сталин, по свидетельству его дочери Светланы, обожал «Запорожцев» Репина и любил повторять кому угодно непристойный текст того самого письма, которое запорожцы когда-то действительно написали и пишут на картине турецкому султану, покатываясь от хохота. Репродукция этой картины Репина, в рамке и под стеклом, висела у Сталина на даче, рядом с портретом Ленина, в конце его жизни.

Только под сенью советского государства и только в советском быту могли и могут появляться, размножаться и процветать подобные типы. Остап Бендер — это их собирательный и облагороженный образ. Облагороженный, в частности, потому, что он относится и к этому обществу, и к собственной миссии с юмором. Он смеется над тем, что в этом обществе преуспеть может только прохиндей. И чтобы не погибнуть в этом обществе, надо быть прохиндеем...

Интересно отношение советской молодежи к Остапу Бендеру. Ведь с точки зрения официальной литературной критики, Остап Бендер — это чужеродный элемент в советском обществе, персонаж отрицательный и подлежащий разоблачению. Но такая оценка не совпадает ни с отношением авторов к своему герою, ни с его влиянием, ни с его восприятием в читательском со-

знании. В качестве примера сошлюсь на один реальный эпизод, связанный с посмертной судьбой Остапа Бендера.

В 50-е годы, уже после смерти Сталина, то есть в относительно либеральные времена, студенты юридического факультета МГУ устроили вечер с шуточной инсценировкой показательного суда над Остапом Бендером. Все-таки, как-никак, Остап Бендер — жулик, уголовный преступник. Практика подобных судов в какой-то степени отвечает духу советской жизни и советского быта. Ведь многие большие судебные процессы в Советском Союзе часто сопровождались собраниями трудящихся, начиная от заводов и фабрик и кончая Академией Наук, которые были призваны подчеркнуть, что весь советский народ единодушен в приговоре. Это было, так сказать, музыкальное сопровождение Государственного Суда.

Так что студенты-юристы, поставившие судебное разбирательство на сцене, действовали в соответствии с нормами советского общества. Но как специалисты, они привнесли в этот судебный спектакль свои детали, свое знание материала. Суд над Остапом Бендером окончился колоссальным скандалом. Потому что этот суд Остапа Бендера не то оправдал, не то вынес ему слишком мягкий приговор. Кого-то за этот спектакль исключили из комсомола. Кого-то выгнали из университета. Хуже всех досталось адвокату, который, увлекшись своей ролью, искренне защищал Остапа Бендера. И между прочим сказал: «Остап Бендер — это любимый герой советской молодежи!» Ради этой фразы я и излагаю сейчас весь этот эпизод. Адвокат сказал правду. Не в том смысле, что Остапу Бендеру буквально поклоняется советская молодежь или ему подражает. Но в том смысле, что Остап Бендер, в общем-то, возбуждает к себе симпатию. Ловкий пройдоха оказался

приятнее и популярнее, теплее, интереснее, чем герои официальной добродетели. И, значит, Ильф и Петров не ошиблись, избрав Остапа Бендера в лидеры советской повседневности...

Преступный мир и правящий слой

Разумеется, в реальности все выглядит не так романтично, как в литературе. «Великий комбинатор» проявляет себя в виде тенденций, пронизывающих советское общество сверху донизу. Эти проявления даже трудно перечислить, настолько они обильны и разнообразны: всевозможные работы и комбинации «налево», то есть вне контроля государства, в собственную пользу; коррупция, спекуляция, блат, подпольная промышленность и подпольная торговля, кражи на производстве, вошедшие в быт рабочего и колхозника. Понятно, государство с этим борется, принимая самые строжайшие меры. В советской истории бывало, что за украденную катушку ниток давали до 10-ти лет тюремного заключения. Притом оформляли эти судебные приговоры в соответствии с обычной советской демагогией. Украденную катушку разматывали, измеряли и произведенную экспертизу оформляли следующим образом — в зависимости от длины нитки: «украдено 50 или 100 или 300 метров пошивочного материала». Человек, работающий на швейной фабрике, сунул катушку ниток в карман, а это рассматривается как если бы он, допустим, украл несколько сотен метров полотна или шелка.

До сих пор Советский Союз — единственная держава среди цивилизованных, европейских стран, где существует и постоянно практикуется смертная казнь за хищения в крупных масштабах. И это совсем не означает, что преступник совершил налет на государственный банк или кого-то ограбил. Главные преступники в

этой области это те, кто сумел организовать свой частный бизнес нелегальным путем: производство побочного товара, который идет не в карман государства, а в руки того, кто это организовал и произвел, в руки рабочих, которые в сверхурочное время это сделали, в руки директора предприятия, который сумел при социализме рядом с основным производством устроить свой маленький капитализм.

Очень часто эти операции и махинации практически не приносят никакого вреда или ущерба государству. Это «сверхприбыль», добываемая окольным способом, путем личной инициативы. Но государство как бы ревнует к этим личным, независимым от него способам обогащения. И поэтому «великие комбинаторы» кладут голову на плаху, если они не сумели вовремя дать взятку начальству, то есть вовлечь в нелегальный бизнес само государство.

В нормальном обществе, при нормальной организации труда и производства эти «комбинаторы», эти Остапы Бендеры могли бы обогатить не только себя, но и государство. Однако парадокс советской экономики и советского быта заключается в том, что выше собственной выгоды государство ставит собственный престиж и преследует всякое проявление частной инициативы, даже если инициатива могла бы пойти ему на пользу. Такова метафизика Советской власти, построенная на противопоставлении государства и личности и, соответственно, на подавлении личности государством.

Но человеческая природа берет свое, и поэтому дух «великого комбинатора» не умирает. Советский быт пронизан множеством историй в духе Остапа Бендера, не подлежащих огласке и не попадающих обычно в печать. Например, однажды рабочие трамвайного парка на собственный страх и риск починили и вернули к

жизни трамвай, который был уже совершенно негоден к хождению по рельсам и списан на слом за ненадобностью. Они этот трамвай отделали, как новенький, и, не будь дураками, пустили по линии в виде собственного, частного трамвая. Внешне трамвай был как все трамваи, но в нем сидели свой вагоновожатый и свой кондуктор, так что копейки, получаемые от пассажиров, которые ни о чем не подозревали, шли не в государственную кассу, а тем, кто починил и возродил к жизни этот трамвай. Это было, можно сказать, частное предприятие внутри городского, социалистического транспорта. А когда это стало известно и комбинаторы оказались в тюрьме, простые советские граждане, пассажиры, с тайным восторгом долго-долго пересказывали друг другу легенду о том, что по Москве какое-то время ходил частный трамвай.

Расскажу случай из области частного предпринимательства, особенно замечательный своим хитроумием. На московском рынке в какой-то палатке торговал один инвалид, который за определенную сумму брался устроить почти в любой институт любого молодого человека. Инвалид работал очень честно и всегда предупреждал, что он человек не всесильный, что он, конечно, постарается сделать все возможное, но ручаться заранее за успех дела не может, и если ваш сынок или дочка не поступят, деньги он непременно вернет и такое обещание аккуратно сдерживалось. Но удачи бывали достаточно часто, он-таки устраивал кого-то в институт и имел таким образом широкую и щедрую клиентуру. Как же это ему удавалось? А — никак! Он ровным счетом ничего не делал, никуда не ходил, ни за кого не хлопотал и вообще не имел никаких связей в учебном или административном мире. И тем не менее хорошо зарабатывал, исходя из простого расчета. Во-первых, думал он, если родители очень хотят, чтобы их

ребенок поступил в институт, они не ограничатся его помощью, а станут искать попутно иные каналы и нажимать на все кнопки, какие у них найдутся. Может быть, даже кому-нибудь наверху дадут взятку. И какой-нибудь рычаг сработает, а какой точно — они не знают. Во-вторых, молодой человек может сам проявить усердие, хорошо подготовиться к экзаменам и пройти по конкурсу. Ну а если уж ничто не поможет, то он честно вернет деньги.

Все мошенничество было построено на чистой смекалке и на прекрасном знании советского быта со всеми его приводными ремнями и рычагами. Инвалид делал деньги в буквальном смысле из воздуха, из советского воздуха, не затрачивая притом никакой энергии и не принося никакого вреда. Безусловно, он принадлежал к разряду великих комбинаторов.

В Советском Союзе невероятное развитие получили преступления, которые официально называются «рахищением социалистической собственности». За хищение социалистической собственности предусмотрены более строгие наказания, чем за кражу частного имущества. Государство строже охраняет себя, нежели своих граждан. А во времена Сталина существовала даже тенденция подводить обычные преступления, связанные с государственным имуществом, под политическую статью, то есть самую опасную. Известны случаи, когда мужика, срубившего, допустим, дерево в лесу, судили не за кражу дерева, а за так называемое вредительство, то есть он становился политическим преступником.

Расхитителей «социалистической собственности» очень много — миллионы и миллионы. Я говорю о мелком и систематическом воровстве, которое сами люди и за воровство не считают. Например, пойти в лес и накосить мешок травы для собственной коровы

тоже считается кражей. Трава-то казенная, государственная, хотя государство ею и не пользуется. Подобные кражи по мелочам порою сопровождают человека со младенчества и до могилы и становятся бытом.

Но существуют одновременно целые отрасли в социалистической системе хозяйства, где расхищение имущества и всевозможные махинации становятся особенно густыми и оказываются чуть ли не обязательным приложением к профессии. Таковы вся торговая сеть и сеть снабжения. То, что продавец магазина или его директор, или бухгалтер, или директор ресторана, или снабженец, поработав некоторое время на своей должности, идут в тюрьму — это бытовое явление, которое мало кого удивляет. На таком месте человек не может не воровать, даже если хотел бы оставаться честным. Потому что за свое место он должен платить постоянную дань своему начальству, а начальство другому начальству, и получается, что преступная цепочка охватывает чуть ли не всех, работающих в данной отрасли, и в тюрьму тогда идут не единицами, а косяками, коллективом.

Всему этому, понятно, сопутствует коррупция, действующая в колоссальных размерах, охватывая и милицию, и суды, и органы контроля, и руководящие партийные инстанции. Поскольку какие-то вещи или блага крайне дефицитны, их можно достать лишь за дополнительную плату (т.е. за взятку), которая вручается лицу, располагающему судьбой этой вещи. Взятки давали и дают за что угодно — за покупку железнодорожного билета и за кусок хорошего мяса, всего не перечислить. Мне рассказывали, что в свое время взятки брали даже в самом Президиуме Верховного Совета СССР, где Президентом был тогда Михаил Иванович Калинин. И вот его секретарь, допуская к нему посетителей, брал с них взятки. За что? На разговор с Ка-

лининым, на вручение какой-нибудь жалобы или просьбы отводилось строго ограниченное время. Ведь посетителей было очень много: стояла длиннейшая очередь. Люди приезжали в Москву и порой ждали месяц-полтора, чтобы попасть к Калинин у со своим делом. Калинин благожелательно с ними разговаривал и, конечно, сам не смотрел на часы и не отсчитывал положенные для приема минуты. А делал это за него секретарь, входя в кабинет Калинина и говоря посетителю: ваше время истекло. Этот секретарь мог сделать так, чтобы посетитель просидел у Калинина не пять, а, допустим, семь или десять минут и, соответственно, имел возможность изложить свое дело более толково и подробно. Вот за эти дополнительные минуты у Калинина секретарь и брал взятки, в собственный карман, разумеется. Но ведь если даже у самого Президента страны секретарь торгует минутами, то можно представить, каких степеней достигает коррупция в Советском Союзе.

Расширив картину, я бы сказал, что советский человек — это всегда преступник, потенциальный преступник или пока что еще не пойманный. По той простой причине, что сама задача «выжить» в социалистическом обществе всегда как-то связана с нарушением законов, если, конечно, ты не хочешь сделаться совсем последним подлецом и строить свою карьеру путем восхождения вверх, в социалистическую элиту, для которой вообще никакие законы не писаны.

Вот почему в Советском Союзе так много заключенных. Каждый в чем-нибудь виноват и живет, пока не поймали. А рядом с этим всеобщим и бытовым явлением развивается, конечно, уже профессиональная преступность — профессиональные воры, грабители, бандиты. Или так называемый «блатной мир», «блатные».

Свой уголовный мир, своя преступность, свои мафии есть во многих странах. Наша задача состоит не в том, чтобы описывать этот специфический мир и быт, но в том, чтобы попытаться выявить в нем собственно советские черты и корни. Происхождение его, разумеется, уходит в далекое прошлое, а затем этот мир питался такими новыми источниками, как революция, война, голод и разруха. Но существуют и постоянно действующие советские факторы. Первый из них — это «облатнение» всего советского общества. В прошлом дореволюционная Россия отличалась довольно строгой сословностью: «дворяне», «купечество», «духовенство», «крестьяне», «мещане», «рабочие» — все это были достаточно замкнутые в себе группы населения и сферы влияния со своими устоями и традициями. Все эти сословные перегородки внезапно рухнули; все смешалось и переместилось. К тому же громадные массы крестьянства, которые вначале составляли подавляющее большинство населения России, были выдернуты из земли и развеяны по ветру, либо механически прикреплены к месту своего труда и рождения, превращенные из крестьян в крепостных рабов государства. Вот это изымание земли у крестьян, той земли, ради которой они и жили веками, той земли, из-за которой они в какой-то мере сочувствовали революции и новой власти, пообещавшей им землю, — роковым образом сказалось и на составе народа, и на его социально-психологической структуре. Народ перестал быть народом и превратился в массу, в человеческую пыль. Естественное порождение этой пыли — блатные. Это люди деклассированные, потерявшие место под солнцем, потерявшие почву под ногами. В социалистическом обществе произошло, можно сказать, разобществление человека. Человек лишился корней и связей, лишился смысла жизни и превратился в голого человека,

в блатного, в хищника, который ищет и находит только таких же хищников в мире, построенном на перевернутой морали, чем и явился, в конце концов, так называемый «воровской закон».

Согласно воровскому закону, воры — единственные настоящие люди. Поэтому в блатной среде само слово «вор» означало «человек». Приведу пример из времен Сталина. В лагерь прибывает громадный, в несколько тысяч, этап новых заключенных. Пока эта толпа стоит под охраной у вахты, у ворот, и ждет, когда ее пустят в зону, кто-то из зоны кричит: — А сколько человек? — И кто-то из толпы новых заключенных спокойно отвечает: — Пять человек! — Это значит, что на несколько тысяч, на всю партию арестантов в этом этапе находятся только пять воров, только пять настоящих людей, которые отрицают советский и общечеловеческий закон и придерживаются своего особого, «воровского закона».

Второй фактор «облатнения» советского общества — чисто психологический, и связан с нищетой и дефицитом. Логика здесь такая: если все воруют, то почему бы и мне не воровать. Но если все воруют понемногу, прикидываясь «честными» людьми, то я сделаюсь настоящим, честным вором. И морально я буду выше, чем директор ресторана, чем директор магазина, чем партийный руководитель, которые тоже воруют, но при этом делают вид, что «строят социализм». Так зарождается либо прямой, либо скрытый цинизм, пронизывающий советское общество. Воровство становится доблестью. От воровства удерживает не стыд и не совесть, а страх наказания. Но если человек победил страх, если он настоящий человек, он должен стать вором.

Третий фактор «облатнения» — это странный характер собственности, которая принадлежит всем и никому. Если она принадлежит всем, то, значит, она принадле-

жит и мне. Но почему тогда ее мне не дают? А если она никому не принадлежит, то почему какие-то группы и категории людей ею пользуются, будто она их собственность?

Здесь мы подходим к еще одной проблеме советского быта, к проблеме привилегий и ограничений. Формально в социалистическом обществе все равны, все — трудящиеся или должны быть трудящимися. Более того, даже малая собственность, приносящая личный, независимый от государства доход человеку, — подозрительна и подлежит ликвидации как зачаток «буржуазии», как опасность «капитализма». А рядом с этим растет и процветает огромная категория людей, принадлежащих к правящему классу, который пользуется и наслаждается благами и богатствами жизни, работая не больше, а меньше, чем все прочие трудящиеся. Происходит разделение общества на два класса — бедных и богатых, которое особенно болезненно ощущается на уровне быта. Но это не капитализм, а социализм, и поэтому разделение на классы выглядит вдвойне нелепо. Мужика, который имел две коровы, отправляли в Сибирь как «кулака». А рядом с ним благоденствовал какой-нибудь председатель райисполкома или секретарь райкома, которому социальные привилегии куда большее богатство. Но буржуем считался мужик, и председатель уничтожал мужика как буржуя.

Парадокс не так уж парадоксален. Мужик при помощи двух коров пытается жить личной инициативой, личным трудом, личным интересом в жизни. А председатель живет как бы не для себя, а ради государства и получает законное вознаграждение в виде всего района со всеми коровами и всеми мужиками в придачу. Он живет, как князь. Власть и богатство даны ему государством ради соблюдения интересов государства. Короче, новое разделение на бедных и богатых происходит

не способом естественной капиталистической конкуренции, но путем государственного вмешательства, которое слугам дает привилегии, а рабам спускает ограничения. Буржуев в собственном смысле слова нет, но есть поразительный контраст между жизнью высших и низших классов, между господами и рабами. И этот контраст между роскошью и нищетой при социализме еще ужаснее, чем при капитализме. Потому что социализм вопреки реальности все время прокламирует бесклассовое общество. То есть лицемерно скрывает собственную структуру. А так как скрыть это очень трудно, то вокруг богатых домов возводятся заборы, чтобы бедные не видели, как живут богатые. Возводятся перегородки, не социальные только, но физические, в виде закрытых магазинов, закрытых дач, закрытых конвертов, в которых ответственные лица получают дополнительные большие деньги в приложение к официальной зарплате. Возникает общество, не только закрытое от внешнего мира, но и внутри перекрытое непроницаемыми перегородками.

Разделение на классы, правящий и подчиненный, началось с первых лет советской власти. Ему сопутствовало — имущественное разделение, против которого коммунисты выступали до захвата власти. А теперь вдруг оказалось, что коммунистические руководители — это некая элита, которая и должна быть лучше обеспечена государством, чем рядовые пролетарии. Вот как описывает это мгновенное перерождение Владислав Ходасевич в своем мемуарном очерке «Белый коридор» (1937). Время действия — конец 1918 — начало 1919 года, место действия — Кремль. Ходасевича пригласила к себе Ольга Давыдовна Каменева, жена известного большевистского лидера, впоследствии расстрелянного, и родная сестра Троцкого.

«В ту пору Белый коридор был населен сановника-

ми. Там жили Каменевы, Луначарский, Демьян Бедный. Каждый апартамент состоял из трех-четырёх комнат. Коридор жил довольно замкнутой жизнью, не лишенной уюта и своеобразия. Сюда не допускался простой народ и здесь можно было не притворяться... В те дни дамы, знавшие только “Эрфуртскую программу”, спешили навести на себя лоск. Они одевались у Ламановой, покровительствовали искусствам, ссорились из-за автомобилей и обзаводились “салонами”. По обязанности они покровительствовали пролетарским писателям, но “у себя”, на равной ноге, хотелось им принимать “буржуазных”».

И вот Ходасевич, «буржуазный писатель», входит в новый салон:

«Стол в столовой не только был “сервирован”, но и, так сказать, — маскирован. Сервирован узкими фаянсовыми чашками с раструбом кверху. К чаю, как всем известно, такие не полагаются: они служат для шоколада. Но возможно, что Каменевым только такие при дележе и достались: это — дворцовые чашки, с тонким золотым ободком и черным двуглавым орлом. На таких же тарелочках лежали ломти черного хлеба, едва-едва смазанные топленным маслом, а в сахарнице — куски грязного “игранного” сахара: свое название он получил оттого, что покупался у красноармейцев, которые им расплачивались, играя друг с другом в карты. В этом и заключалась маскировка: скудостью угощения хотели нам показать, что в Кремле питаются так же, как мы».

Разумеется, мы не обязаны полностью доверять Ходасевичу, который, глядя на этих «нуворишей», зло фиксирует каждую мелочь, каждый просчет в новом, тоже по-своему аристократическом, быту. Поэтому его реплику, что только такие дворцовые чашки и достались Каменеву при дележе добычи, нельзя воспри-

нимать вполне объективно и буквально. И тем не менее Ходасевич верно уловил стиль быта новой, социалистической элиты: царские чашки в соединении со скромностью, с лицемерием, которое призвано прикрыть границу между высшими и низшими.

Особенно гнетущее чувство на фоне этой «новой знати» возбуждает маленький сын Каменевых — Лютик, в котором Ольга Давыдовна души не чает:

«Слушать ее мне противно и жутковато. Ведь так же точно, таким же матросиком недавно бегал еще один мальчик, сыну ее примерно ровесник: наследник, убитый большевиками, ребенок, кровь которого на руках вот у этих счастливых родителей...»

Пройдет еще лет десять, и этот награбленный достаток станет условием «золотого детства» дочери Сталина Светланы. Она пишет с восторгом о детстве, конце 20-х гг., пока была жива мама, когда Сталин еще не построил свои новые дома и дачи, в которых потом и замкнулся в окружении охраны, как затравленный волк.

«Но у нас был и другой дом. Да, представь себе, милый друг, что у нас был некогда совсем иной дом — веселый, солнечный, полный детских голосов, веселых радушных людей, полный жизни. В том доме хозяйствовала моя мама. Она создала тот дом, он был ею полон, отец в нем был не бог, не «культ», а просто обыкновенный отец семейства. Дом этот назывался «Зубалово», по имени его старого, дореволюционного владельца...» («Двадцать писем к другу».)

Все прекрасно, но на последней фразе спотыкаешься... Ведь дом-то, оказывается, на самом деле принадлежал не Сталину, а какому-то старому владельцу, у которого он и был реквизован во время революции и передан новым хозяевам. А Светлана словно не понимает и поет и заливается, как хорошо было в этом ста-

ром доме, когда была жива мама, и все было по-старому, с боннами и гувернантками, со старой мебелью.

«На даче у Микояна до сегодня сохранилось все в том виде, в каком бросили дом эмигрировавшие хозяева. На веранде мраморная собака — любимица хозяйина; в доме — мраморные статуи, вывезенные в свое время из Италии; на стенах — старинные французские гобелены; в окнах нижних комнат — разноцветные витражи. Парк, сад, теннисная площадка, оранжерея, парники, конюшня — все осталось как было. И так приятно мне всегда было, когда я попадала в этот милый дом добрых старых друзей, войти в старую столовую, где все тот же резной буфет и та же старомодная люстра, и те же часы на камине. Вот уже десять внуков Анастаса Ивановича бегают по тем же газонам возле дома и потом обедают за тем же столом под деревьями, где выросли его пять сыновей, где бывала и мама...»

Все это очень трогательно и немного жутковато. Жутко потому, что дом-то ведь чужой, краденый. Ведь не Микоян привозил из Италии все эти гобелены и статуи...

А Светлана радуется: «...Мы, дети, — пишет она о детях партийной верхушки, — росли, по существу, в условиях маленькой помещичьей усадьбы с ее деревенским бытом...»

Возникает множество риторических вопросов. Стоило ли менять одних помещиков на других, только более грубых, пролетарского происхождения? И какое же может быть золотое детство у Светланы, построенное на крови и на чужом имуществе, которое воспринимается не как награбленное, чужое счастье, а как свой собственный, родной дом? И при всем том, в восприятии Светланы, в 20-е и в начале 30-х годов все это еще было лишено мещанского стяжательства, жадности к богатству, тяги к роскоши. Она вспоминает, что

Сталин одевался очень просто: «носил летом полувоенный костюм... пальто носил тоже лет 15, а странную куцую шубу, крытую оленьим мехом, на беличьей подкладке, должно быть, «справил» сразу после революции и вместе с ушанкой носил зимой до последних своих дней».

Показательно, что у старых большевиков, к каким принадлежал Сталин, еще сохранялись революционные привычки и традиции. Ведь никто из них не стремился стать буржуем — это было бы позором. Но постепенно все изменилось, и тяга к роскоши и довольству взяла свое. Стыд быть богатым исчез. Возобладал цинизм. Исповедуя социалистическую идеологию и прикрываясь социалистической фразеологией, люди правящей элиты хотят жить по-буржуазному, но вынуждены скрывать это от народа, а иногда и от самих себя.

В метафизическом смысле трудности и противоречия советского быта связаны с тем, что этот быт перевернут и потому его бывает трудно даже назвать бытом. Внизу — это разгромленность быта и всяческая нехватка. А наверху — тоже не свой, а как бы чужой, нагребленный быт. Человек и в этих условиях, как всегда, сражается за свое личное счастье и делает это подчас еще усерднее, чем обычно: обманывает, ворует, лавирует, желая создать для себя какую-то нишу. И все напрасно. Быта в настоящем смысле этого слова нет. Быт как бы проклят, поскольку он строится на пустом месте — там, где нет личности, нет общества, но есть одно Государство.

*Глава седьмая***СОВЕТСКИЙ ЯЗЫК****Переименованный мир**

Сдвиги и перемены, происшедшие после революции в русском языке, так велики и значительны, что заставляют думать об особом советском изводе русского языка. Были поэты и исследователи, которые говорили даже о революции в языке, о перевороте в нем, и сравнивали происшедшее с переворотом в русском языке на рубеже XVII—XVIII столетий, с эпохой Петра Первого.

В 1921 году известный литературный критик А.Горнфельд, человек либеральный, эрудированный и сочувствовавший революции, сделал доклад, в котором пытался объективно проанализировать перемены, случившиеся в языке всего за три-четыре послереволюционных года:

«На наших глазах, можно сказать, произошел — и уже не первый — прорыв словарного языкового фронта. Язык, создание органическое, исполинское, многообъемлющее, живет обычно спокойной, степенной жизнью. Он развивается медленно и последовательно, и в каждый данный момент его движения не видно, как непосредственно не видно движения часовой стрелки, хотя она движется. Но и здесь — как во всем на свете — бывают толчки, бывают стремительные переходы ... И новые слова, новые обороты, новые выражения неудержимым потоком низвергаются на язык».

Любопытно, что даже в докладе, выдержанном в академическом стиле, Горнфельд пользуется новой лексикой, ранее невозможной. И если он говорит, что «произошел *прорыв словарного фронта*», то это стало

возможным только в той исторической ситуации, где все стало *фронтом*, где наряду с фронтами гражданской войны и вслед за ними появились такие выражения, как «хлебный фронт», «трудовой фронт», «учебный фронт», «идейный фронт», «литературный фронт», «левый фронт искусства» и т.д.

Что же происходило на этом «фронте»? *Какой язык* внедряло новое государство? Прежде всего оно хотело видоизменить весь официальный, весь канцелярский язык, связанный с самим понятием — «государство», поменять всю старую государственно-юридическую терминологию. Вместо понятий «самодержавие», «империя» в быт и в язык вошли словосочетания: «диктатура пролетариата», «советская власть», «совет рабочих и крестьянских депутатов». «Министры» уже не могли быть «министрами», поскольку это слово ассоциировалось либо с царскими министрами, либо с министрами Временного правительства и вообще с буржуазными представлениями о республике старого типа.

Перемены произошли и в обозначении военных чинов и должностей. Из речи выпали такие слова, как «генерал», «адмирал», «офицер» и даже «солдат». Был «солдат» — стал «красноармеец». «Офицер» превратился в «командира» — и далее по рангам, по возрастанию (вместо бывших полковников и генералов): «комбриг» (командир бригады), «комдив» (командир дивизии), «командарм» (командир армии).

Всему старому надлежало исчезнуть. И сам язык нового мира должен был обновиться и стать совершенно новым языком.

В этих переименованиях заметны две тенденции, противоречащие друг другу. Первая: язык обгоняет жизнь. На языке, в идеологии все должно быть новым, даже если этого нового на самом деле еще нет. Поясню

это примером лозунга, самого важного и влиятельного в первые дни революции и до сих пор сохраняющего значение магической словесной формулы: «*Вся власть Советам!*» Лозунг этот был провозглашен в виде чистого заклинания: Советы никогда не играли и не играют роли высшей государственной власти. «Советы», как орган управления страной, — словесная фикция. Однако эта фикция вошла не только в быт и в язык, но и в название государства — «Советская власть», «Советская страна», «Советский Союз». Слово заменило собою реальность.

Но здесь же начинает действовать вторая тенденция: практическая невозможность изобрести абсолютно новый, идеальный язык. Отсюда возникают попытки создать искусственный язык пополам с естественным, заменить отдельные ключевые слова новообразованиями, либо снабдить старые слова новыми эпитетами. Не просто — «государственная власть», а — «советская государственная власть». Не просто «республика», а — «советская республика». Не просто «народ», а — «советский народ». Не просто «человек», а «советский человек».

Это как бы пометка на языке, знак, что всякая важная вещь или понятие теперь призваны нести не старый, а новый смысловой и лексический оттенок. И то, что мог делать просто «человек», «советский человек» уже не имеет права делать.

Такую же, дополнительную, вернее даже исправительную функцию несли эпитеты: рабочий или рабоче-крестьянский, революционный (ревтрибунал вместо просто «трибунал»), социалистический, коммунистический, государственный... В Советском Союзе все принадлежит государству. Зачем, казалось бы, постоянно вставлять это определение, это словечко — «государственный»? Тем не менее оно вставляется: «госуни-

вермаг»; «Госплан», «госконтроль»; любой университет — называется государственным, хотя иных, не государственных университетов нет и не может быть. Цирк — Госцирк. Известен анекдотический случай, когда в 1923 году по России с гастрольями разъезжал фокусник (частное лицо — тогда это еще было возможно). В афишах он именовал себя жрецом и чародеем, но выступал под маркой государственного учреждения, которое называлось у него — «Госфортуна». Древнее, вечное слово «фортуна», замененное «госфортуной», это и есть советский язык, который вторгается во все сферы жизни и старается всему придать и навязать новую официальность.

Нетрудно заметить, что это язык, в первую очередь, *политизированный*. Государство стремится придать своим словам не просто какой-то новый смысл, но ярко выраженную политическую окраску.

Новые названия государственных учреждений, как правило, были очень длинными и сложными. Эти лексические новообразования предполагали включение дополнительных, политических эпитетов — типа «народный», или «социалистический», или «советский», или «государственный». Произносить полностью все эти новые титулы было делом долгим и затруднительным. Отсюда в языке начинается развитие *аббревиатур*.

Язык XX века во многих странах характеризуется развитием и распространением аббревиатур. Это связано с ускоренным темпом жизни, с развитием техники и с усиленной технизацией и схематизацией языка. В язык как бы вторгается математика. Многие названия по своему написанию и звучанию напоминают сейчас алгебраические формулы.

Новое государство для своего обозначения сразу внедряет новую и сложную терминологию, которую

для простоты обозначает сокращенно: слово «Россия» как обозначение страны заменяется аббревиатурами: РСФСР и СССР. Аббревиатуры по ходу истории меняются. Но каждое изменение внедряется в быт, в язык, в сознание масс. Сначала политическая полиция называлась ЧК (Чрезвычайная комиссия) или — в более расширительном виде — ВЧК; потом — ГПУ (Государственное политическое управление) и ОГПУ; потом НКВД; потом МГБ; потом КГБ. И советский человек все эти обозначения держит в голове, даже не всегда понимая, что все эти буквы реально означают. Или возьмем аббревиатуру одной и той же правящей партии: РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б), КПСС. А параллельно накапливается всякая другая абракадабра: РККА, Рабкрин, ЦК, ЦИК, Главбумсбыт, Совнархоз, ЦПКО, Осоавиахим, МОПР, ВДНХ, ССП, ИМЛИ, ГУМ, ЦУМ, ВВС, ДСА, ДСО, ДОПР, Моссельпром, Комсомол, Торгсин.

В начале революции для рядового российского жителя все это звучало как «заумный язык», лишенный смысла и одновременно исполненный какого-то скрытого, тайного, зловещего содержания. Поскольку все эти буквы были не просто буквами, но угрожали жизни, либо лежали в ее основании как некая магическая подоплека самой действительности.

В одном рассказе Евг. Замятина персонаж из интеллигентов, заходя к кому-нибудь в гости и прощаясь, произносит всегда одно слово: «ЧИК». И все пугаются, потому что в буквальном смысле междометие «чик» означает — конец, убийство. Кому-то перерезали горло: «чик». Кого-то ликвидировали, послав пулю в затылок: «чик». И восклицание «чик» ассоциируется с «ЧК» и с «чекистами», которые только тем и занимаются, что делают кому-нибудь «чик». Но интеллигент тут же разъясняет, что это всего-навсего

аббревиатура старого изысканного оборота: «честь имею кланяться».

Переименованная действительность кажется зыбкой и ненадежной. Особенно это чувствуется в советской географии. Меняются имена городов и улиц. Новые имена размножаются и размножаются. Мало того, что Петербург сделался Ленинградом, а Царицын — Сталинградом. Возникло много почти одноименных городов, в которых легко запутаться. Например: Сталинград, Сталинабад, Сталиногорск, Сталино, Ворошиловград, Ворошиловск, Киров, Кировск, Кировоград, Кировакан и т.д. В стремлении советской власти все переименовывать есть что-то иррациональное, какая-то внутренняя неполноценность. Как если бы государство спешило названиями подменить действительность.

Город Самара — стал Куйбышевым, Нижний Новгород — Горьким, Пермь — Молотовым, Екатеринбург — Свердловском, город Верный — Фрунзе, и так до бесконечности. Но и эти имена не навек: город Молотов, когда Молотов оказался в опале, возвращается к старому названию — Пермь, Сталинград становится Волгоградом. И неизвестно, какой город каким именем будет называться завтра.

Во всех, даже самых маленьких городах, многие улицы были переименованы по правилам новой советской номенклатуры. Центральная улица в провинциальном городе называется Советской или — Ленинский проспект, а главная площадь — площадью Свободы или Ленина, поскольку на ней воздвигнут памятник Ленину (немного раньше она могла быть площадью Сталина, тогда на ней стояла статуя Сталина). А все прочие, боковые улицы, самые грязные и несчастные, называются тоже героически: улица Володарского, либо — Красногвардейская, либо Маркса и Энгельса,

либо улица Космонавтов, либо Коммунистическая, либо — Социалистическая... Порою это приводит к комическим эффектам. Бывший Коровий или Козий тупик теперь переименован в Коммунистический тупик или тупик Марксизма-Ленинизма. И торжественный титул обращается в пародию.

Появились именные прибавки: Завод имени Ленина, Государственный Музей изобразительного искусства имени Пушкина (хотя никакого Пушкина там не стояло). Театр имени Горького. Театр имени Кирова. В результате родилась острота — памятник Пушкину имени Горького.

Новая торжественная стилистика, как бы странно она ни звучала для русского уха, оказывала влияние на общество, чему свидетельством изменившаяся мода на имена. Самые распространенные в России мужские имена — Иван и Николай — в 20-е годы попали в немилость. Почему? Имя Иван было слишком традиционным, слишком простонародным. И вот простонародье, придя к власти и возвысившись в собственных глазах, все меньше и меньше стало называть своих сыновей — Иванами. Вместо русского Ивана подыскивались другие имена — более возвышенные и взятые из обихода бывшего верхнего слоя общества — Анатолий, Виктор, Александр. В 30-е годы вошло в моду мужское имя Валерий (в честь летчика Валерия Чкалова). А имя Николай пошло на убыль, потому что ассоциировалось с именем последнего царя России. Зато появилось много Владимиров — разумеется, в честь Владимира Ленина. Появилось и редкое в России имя — Феликс, по аналогии с Феликсом Дзержинским. А когда Сталин свою дочь назвал Светланой — очень много появилось девочек с тем же именем — Светлана.

Но после революции возникли и совершенно новые, доселе неслыханные и невообразимые имена,

которые создавались искусственно, наперекор традиции и во славу нового общества. Среди женских имен появляются имена во славу Ленина — «Ленина» или «Владилена». От имени Сталина — «Сталина» или «Стальнира». Встречаются также имена «Марксина» (от Маркса), «Энгельсина» (от Энгельса). В ранней юности (середина 30-х гг.) я знал девочку по имени «Электрификация», что звучало возвышенно, почти как древнегреческое — «Электра». И мальчиков это коснулось так же, как девочек, может быть, даже больше, поскольку на сыновей родители возлагают самые большие надежды. Отсюда новые странные мужские имена: например, Жорес (фамилия Жорес становится именем мальчика). Или тоже французского происхождения имя — Револют (то есть — бунт, восстание). Бывали и более прямые имена. Например, мужское имя: «Мир». Или мужское имя: «Ревдит» — революционное дитя. А в разгар индустриализации и коллективизации одного мальчика назвали: «Трактор».

В XX столетии во все языки мира широко входит всевозможная научно-техническая терминология. Советский язык в этом отношении — не исключение. Исключительно в нем то, что научно-техническая терминология опять-таки обращается к политической символике. Термины не только обозначают новую вещь, вошедшую в быт и в производство, они знаменуют вхождение общества и человека в стадию социализма. Поэтому «Трактор» — не просто название сельскохозяйственной машины, но символ победы социализма над капитализмом, знак приобщения к чему-то высшему и светлому. Термин превращается в знамя, в орден, в торжественную эмблему. Повседневная речь наполняется парадными, возвышенными и «красивыми» словами: механизация, индустриализация, электрификация, мелиорация, химизация, авиация, радио, антен-

на, аккумулятор, коммутатор, автомат, кадры и т.д. За всей этой терминологией слышатся восклицательные знаки и что-то большее и высшее. Например, за словом «кадры» стоит известное изречение Сталина «Кадры решают все». А за словом «электрификация» предполагается ленинская формула «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны».

Это сакральный язык советского государства, который спускается сверху — через газеты и речи вождей, к которому тянутся или должны тянуться массы. Слова заменяют знания. Достаточно знать определенный набор слов, чтобы чувствовать себя на высоте положения. Люди стараются к месту и не к месту употреблять эти «высокие» слова, порою даже не понимая толком, что они обозначают, и не умея правильно их произносить.

Здесь мы сталкиваемся еще с одной тенденцией в советском языке — стремлением говорить научно. Это связано, безусловно, с научной утопией, лежащей в основании советской цивилизации. Отсюда, в частности, бесконечные «измы»: социализм, капитализм, империализм, троцкизм, ревизионизм, идеализм, материализм и прочее. По образцу этих абстракций создаются новые псевдонаучные слова из самых обыкновенных и порою даже вульгарных слов. Так, от слова «наплевать» возник термин — «наплевизм», и все должны были бороться с «наплевизмом», то есть с равнодушием людей к идеалам, к словам и к делам государства. Можно даже сказать, что «социализм» без конца боролся с «наплевизмом», то есть с естественным поведением человека, которому наплевать на все это строительство и на весь этот язык.

Внутри советского языка складывается совершенно особый, специфический жаргон, на котором объясняются между собою и с народом люди, управляющие страной. Они пользуются не словами, а словами-сигна-

лами, под которыми подразумевается что-то многозначительное, но что именно — никто не может в точности объяснить, включая самих говорящих.

Складывается индустрия абстрактных слов и понятий, которые фактически ничего не обозначают, но тем не менее произносятся с апломбом в ходе переливания из пустого в порожнее. И это составляет верхний, элитарный этаж советского языка и служит одновременно его метафизическим зерном и основанием.

Речевая стихия

Живая, народная речь, языковая стихия, тоже претерпевает существенные перемены с первых же дней революции. Прежде всего простонародный язык, получив все права гражданства, затопил собою и перемолол русский литературный язык. Произошло вторжение улицы в язык. Разумеется, язык улицы существовал и раньше в виде широкого российского просторечия. Но раньше языковая стихия была отделена от основного словарного фонда перегородками культуры, языка образованного общества, социальными, сословными и областными границами. Язык деревни резко отличался от языка горожан, язык окраины и провинциальной периферии не вторгался в столицу, речь простонародья не могла проникнуть в нормализованную, интеллигентскую речь.

А теперь все эти перегородки и разделения рухнули. Столичная толпа пополнилась массой крестьян и солдат, вернувшихся с фронта, которые привезли с собою жаргоны и диалекты всех концов России. Причем масса почувствовала себя хозяином страны, хозяином улицы и хозяином языка. В новых условиях происходит необычайно бурный процесс речетворчества и этот процесс вступает в конфликт с правильной литературной речью. Ведь правильная или слишком изы-

сканная речь предполагала принадлежность человека к бывшим правящим классам. Старые нормы языка стали одиозными, социально подозрительными. Да и чисто физически, количественно, язык простонародья захлестывает все, включая саму русскую литературу. Об этом революционном языковом перевороте, приветствуя его, с пафосом рассказывает Маяковский в статье 1926 года «Как делать стихи?»:

«...Революция выбросила на улицу корявый говор миллионов, жаргон окраин полился через центральные проспекты; расслабленный интеллигентский язычишко с его выхолощенными словами: «идеал», «принципы справедливости», «божественное начало», «трансцендентальный лик Христа и Антихриста» — все эти речи, шепотком произносимые в ресторанах, — смяты. Это — новая стихия языка. Как его сделать поэтическим? Старые правила с «грезами, розами» и александрийским стихом не годятся. Как ввести разговорный язык в поэзию и как вывести поэзию из этих разговоров? ...Сразу дать все права гражданства новому языку: выкрику — вместо напева, грохоту барабана — вместо колыбельной песни...»

Приветственным словам Маяковского противостоят пуристские, заградительные стихи Зинаиды Гиппиус, поэтессы из круга символистов, которая еще накануне революции с ужасом видела, как вторгаются в поэзию простонародные слова, коренным образом меняя современный литературный язык и поэтический стиль:

Немало слов с подолом грязным
Войти боялись... А теперь
Каким ручьем однообразным
Втекают в сломанную дверь!

Втекли, вшумели и впылились...
Гогочет уличная рать...

Факт неоспорим и все сильнее дает о себе знать: язык улицы побеждает и не просто засоряет литературный язык, но начинает определять новые литературные формы. Никакие преграды и заслоны не в силах остановить этот языковой поток. Многие интересные и значительные достижения русской литературы в период революции и в 20-е гг. строятся на широком освоении этого нового языка. Таковы поэма Блока «Двенадцать», рассказы Мих. Зощенко, проза Бабея. Слова — поганые, грязные, неправильные — сыграли в литературном развитии положительную формообразующую роль, они повернули литературу лицом к самому факту живого языка, поставив перед ним задачу этот язык стилистически освоить. Успехи советской литературы в первое десятилетие определялись этим столкновением писательского слуха с очень густым и непривычным языком. И поэтому литература после Октября сделала в определенном смысле как бы новый скачок по сравнению с до-революционной литературой. А те писатели и поэты, которые отгораживались от нового языка, — создают вещи тоже порою прекрасные, но как бы уже заранее мертвые, ушедшие в прошлое, «музейные» вещи.

Однако нас интересуют не вопросы собственно литературного развития, но стихия простонародного языка как таковая.

В одном из очерков 1917 года «Октябрь в вагоне» Марина Цветаева рассказывает, как она ехала в Москву в дни октябрьского переворота. Рядом с ней, в одном вагоне, матрос — из тех, что брали Зимний, а потом входили в самые яростные, штурмовые отряды на полях гражданской войны. Но *такого* матроса Цветаева видит и слышит впервые.

«Об этом матросе. Непрерывная матерщина. Другие молчат (большевик!) Я, наконец, кротко: “Почему вы так ругаетесь? Неужели вам самому приятно?”

Матрос: “А я, товарищ, не ругаюсь, — это у меня поговорка такая”.

Солдаты грохочут...

Этот же матрос, у открытого окна в Орле, нежнейшим голосом: “Воздушок какой!”»

Два полюса в русском языке — грубость и ласковость — тесно соседствуют. Свою ругань матрос даже не воспринимает как ругань, а просто это обычное сопровождение его разговорного, обиходного языка.. Новое здесь и явленное революцией — переход барьера, наступление языка. В день переворота матрос матерится в полный голос, на весь вагон, не стыдясь присутствия барышни-дворянки, какой была тогда Марина Цветаева. Он величается перед ней, он торжествует — потому что ему дана полная власть говорить все то и так, как он хочет. Это и есть язык народа, который обрел наконец свои гражданские права. И в первую очередь — в ругани, в грубости. Отсюда пойдет заметное огрубление всей разговорной речи в советском обществе, которое тянется и до сегодня.

Когда критики упрекали Зощенко за излишнюю грубость, он возражал им так:

«Обычно думают, что я искажаю “прекрасный русский язык”, что я ради смеха беру слова не в том значении, какое им отпущено жизнью, что я нарочно пишу ломаным языком, чтобы посмешить почтеннейшую публику. Это неверно. Я почти ничего не искажаю. Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица» («Письма к читателю»).

А улица говорила, разумеется, на ломаном языке. Но из этой огрубленности и неправильности рождалась масса новых слов, не учтенных словарями. И это были, как правило, грубые слова, отвечавшие духу улицы, иногда удачные, меткие, точные, иногда — слова-уроды.

В сближении языка интеллигенции с просторечием огромную роль играл и играет советский быт, грубый и упрощенный, заставляющий человека приспособляться к какому-то новому языку. Зощенко в начале 30-х гг. напечатал письмо одной своей юной корреспондентки, из круга интеллигенции, которая сама с собой или дома говорит одним языком, а со своими товарищами по ФЗУ (фабрично-заводскому училищу) — совершенно другим. Дома она говорит о своих подругах — «девочки», а в школе — «девчата». Если кто-нибудь из мальчиков к ней пристает дома, она говорит: «Как не стыдно!» А в школе на то же самое она отвечает: «Уйди, а то съешь по морде!» Эта интеллигентная девушка раздвоена между двумя языками. Разумеется, и жизнь, и быт, и язык толкают ее дальше и дальше в сторону просторечия, в сторону огрубления и упрощения языка. Сами того не замечая, современные молодые и даже не очень молодые интеллигенты обращаются друг к другу так, как когда-то в старину разговаривало между собою русское простонародье: — Машка! Ленка! Юлька! Андрюшка!.. И это означает не какое-то пренебрежение, а напротив, теплоту и интимность отношений.

Все это происходит отнюдь не только под давлением извне и со стороны. Появилась внутренняя потребность быть проще и грубее, чем ты есть на самом деле. Интеллигенция потянулась к народу и постаралась опроститься. Так бывает иногда с образованной женщиной, которая выходит замуж за простолюдина и вдруг почти бессознательно начинает говорить на просторечьи. Фигурально выражаясь, русская интеллигенция вышла замуж за мужика.

Теперь вернемся к мужику наверху, т.е. к языку правительственной элиты. С одной стороны, в голове у этого мужика весь тот искусственный язык партийных

абстракций, о котором мы уже говорили. А с другой — естественный, грубый и малограмотный язык, к которому он привык с детства, разнузданная стихия русского просторечия, которая теперь вылезает на поверхность. Что же в итоге?

Обратимся к воспоминаниям Хрущева, весьма интересным с языковой точки зрения. Скажем, Хрущев рассуждает о захвате Прибалтики, по договоренности с Гитлером, — в 1940 году:

«Теперь, значит, Литва, Латвия, Эстония. Это было уже позже, это были уже проведены соответствующие мероприятия. И я, так сказать, в подробностях, кроме газетных, или, так сказать, на основе бесед, которые я имел, значит, когда приезжал в Москву, со Сталиным, значит. Ну, эти беседы были... они тоже такого характера... носили, так сказать, радости, что мы, значит, вот имели возможности, что эти литовцы, латыши, эстонцы опять, значит, будут входить в состав советского государства, значит. Ну, во-первых, это расширение территории и... увеличение населения Советского Союза. Значит, и усиление государства Советского Союза, значит...»

Что это значит — не в смысловом, а в стилистическом отношении? Это означает, что многие советские руководители не могут словами выразить свою мысль, потому что безграмотны, грубы и примитивны. Любому образованному человеку в Советском Союзе режет ухо, когда такие вожди перед всем народом выступают по радио или по телевидению.

Реакция на грубость, хамство и безграмотность элиты всего точнее выражена в не совсем приличном анекдоте о Хрущеве, который написал речь для выступления в Конгрессе США и дал ее проверить своим референтам. Те прочитали и сказали: — Никита Сергеевич, все прекрасно. Только две маленькие сти-

листические поправки: «насрать» пишется вместе, а «в жопу» — отдельно.

Бюрократизация языка

Бюрократический язык не ограничивается только средой партийной бюрократии. Весь быт советских людей настолько бюрократизирован, настолько координирован и нормализован, что советские штампы и бюрократические обороты пронизывают общество сверху донизу. Это отметил уже Александр Блок в поэме «Двенадцать», написанной через два месяца после Октябрьского переворота. Как известно, поэма эта написана языком улицы, языком разговорного, народного просторечия. Но в эту вульгарную речевую стихию уже проникают словечки сверху, из совершенно иной, государственной сферы влияния. Раньше подобные слова канцелярски-бюрократического обихода, из языка политических митингов и газет, были просто немыслимы в необразованной уличной среде. А теперь они звучат как естественное проявление языка советской современности.

Один из героев поэмы, Петька, нечаянно совершает убийство. Он убил свою возлюбленную, Катьку, и мучается по этому поводу угрызениями совести и жалуется товарищам. А товарищи по отряду утешают его — сначала по-простому, по-рабочему, грубой мужской шуткой, а затем, используя новые штампы политической агитации:

- Ишь, стервец, завел шарманку,
Что ты, Петька, баба что ль?
- Верно, душу наизнанку
Вздумал вывернуть? Изволь!
- Поддержи свою осанку!
- Над собой держи контроль!...

Последняя строка попала сюда, в эту простонародную речевую стихию, разумеется, из бесконечных партийно-государственных заявлений о том, что рабочий класс должен держать контроль над обществом, над фабриками и заводами. Но в данном случае политический лексикон вышел из сферы экономики и политики в сферу повседневного быта.

В той же поэме «Двенадцать» по-новому разговаривают между собою уличные проститутки, весьма далекие от политики, но тоже подвластные языку, принесенному революцией. В качестве языкового образца для них — носится в небе, по ветру, развешанный повсюду на улицах плакат на красном полотнище: «Вся власть Учредительному Собранию». Проститутки в поэме Блока пользуются словами: «собрание», «обсудили», «постановили», но выносят свою «политическую» резолюцию — сколько надо брать с клиентов в зависимости от продолжительности труда — на основе равенства, демократии и нового лексикона:

Ветер веселый
И зол, и рад.
Крутит подола,
Прохожих косит,
Рвет, мнет и носит
Большой плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию»...
И слова доносит:

...И у нас было собрание...
...Вот в этом здании...
...Обсудили —
Постановили:
На время — десять, на ночь — двадцать пять...
...И меньше — ни с кого не брать...
...Пойдем спать...

Но ведь это только самое начало бюрократизации языка: «Обсудили — постановили — держи конт-

роль...» По мере развития и укрепления советской цивилизации — укрепляется и этот язык. Причем он имеет тенденцию все более и более бюрократизироваться, т.к. бюрократия приобретает все больший вес в новом обществе.

Этот язык характеризуется двумя основными чертами:

Во-первых, он *отчужден* от нормальной человеческой речи. Это слово, оторванное от своего первоначального, предметного значения. Это — выхолощенный язык, в котором слова обозначают не конкретные вещи, но некие символы или условности, принятые в государственном обиходе, но не имеющие никакого отношения к реальности. Во-вторых, это крайне нормализованный язык, где за основу, за норму берется несколько устойчивых слов и оборотов, которые пользуются особым распространением в партийной пропаганде и политической агитации, язык партийно-газетных штампов. Например, лозунг «советский народ единодушно поддерживает решения 25-го партийного съезда». Это и отчужденный язык: потому что никто не помнит и не знает, что это конкретно за решения 25-го съезда, но это и нормализованный язык, который может пользоваться только такими апробированными словами, как — «партийный съезд», «советский», «единодушно», «народ» и «поддерживает»...

Это престижный язык, апробированный и санкционированный самим государством. У Маяковского в комедии «Клоп» не какой-нибудь партийный бюрократ, а недавний простой рабочий Присыпкин говорит на собственной свадьбе: «Я желаю жениться в организованном порядке...» И далее: «Объявляю свадьбу открытой...»

На семейном празднике — как на партийном собрании...

Бюрократизация языка происходит на всех уровнях, но преследует самые разные и порою противоположные цели. Приведу два контрастных примера употребления бюрократического языка народом.

Первый пример носит характер доноса, посланного в милицию советским обывателем. В форме такого доноса построен рассказ Зощенко «Честный гражданин»:

«Состоя, конечно, на платформе, сообщаю, что квартира №10 подозрительна в смысле самогона, который, вероятно, варит гражданка Гусева и дерет, кроме того, с трудящихся три шкуры.

...А еще, как честный гражданин, сообщаю, что девица Варька Петрова есть подозрительная и гуляющая. А когда я к Варьке подошедши, так она мной гнушается.

Каковых вышеуказанных лиц можете арестовать или как хотите.

Теперича еще сообщаю, что заявление мной проверено, как я есть на платформе и против долой дурман, хоша и уволен по сокращению за правду...»

В самую естественную и грубую стихию народного языка вкрапливаются трафаретные словечки языка официального: «на платформе», «как честный гражданин сообщаю», «каковых вышеуказанных лиц», «против долой дурман» (т.е. против религии). Зачем же эти слова? Да единственно затем, чтобы обратиться к начальству на его языке.

Но та же самая словесная демагогия может быть использована ради самых человеческих движений души. Сошлюсь (второй пример) на рассказ Аллы Кторовой — современного эмигрантского автора. Рассказ про домработницу, няньку в московском доме, которая вспоминает о своем деревенском прошлом, о том, как ей довелось хлопотать за сирот. И на высокое партийное начальство она наступает так:

«Значит, ты думаешь, что если я неграмотная, то и не знаю ничего? Нет, товарищ командир, все я знаю не хуже тебе! Думаешь, Ленин умер, так теперь заступиться за нас некому, потому неграмотные мы? Да! Ленин-то умер, а Ленинизма жива! Думала я, по правде сказать, тогда-то, что Ленинизма — жена Ленина, а начальник чуть со стула не упал, ни за что поверить не хотел, что неграмотная я!»

Реальное значение официальных слов не важно, а важна формальная сторона языка. Даже не понимая этих слов, народ понимает, на каком языке следует разговаривать с начальством и довольно широко этим пользуется. Потому что бюрократическая лексика и фразеология в новом обществе всеильны.

Сошлюсь на собственный опыт. В начале 50-х годов коллега и близкий товарищ попросил меня быть оппонентом на защите в Московском университете диссертации, которой он руководил. Диссертацию написал вьетнамец, и посвящалась она Маяковскому. Диссертация была хорошая, но вьетнамец, получивший западное образование, позволил себе вещи, невозможные в Советском Союзе. Он опирался на философию Гегеля, широко его цитировал и положительно оценивал русский футуризм. И эти два момента были криминалом, с точки зрения советской идеологии. Естественно, я дал положительный отзыв. Но ученый совет, который все решает, начал сомневаться — из-за ссылок на Гегеля и из-за оценки футуризма. И тогда мне пришлось прибегнуть к демагогии, причем исключительно средствами языка. Я сказал примерно так: «Товарищи! Это первая диссертация, написанная вьетнамцем (а тогда шла война во Вьетнаме) и не о ком-нибудь, а о первом поэте русской революции, о Владимире Маяковском! Так не будет ли политической ошибкой, если ученый совет ее не пропустит?» Эти несколько слов

имели магическое действие. Диссертация, со всеми ее криминалами, была принята единогласно. И действовала здесь не столько логика, сколько заклинательная сила официального языка.

Наиболее нормализован и особенно стандартен в советском обществе язык газеты. Советская газета не просто информирует своих читателей, но непрестанно их агитирует в духе партийной политики и партийных лозунгов, которые без конца вдалбливаются в сознание масс. Повторение одних и тех же слов становится обязательным условием газетной работы. Малейшее словесное отклонение от стандарта рассматривается как политическая ошибка, а то и как преступление.

В 1937 году Партиздатом ВКП(б), т.е. ответственным политическим издательством, был выпущен сборник статей, посвященный разоблачению «врагов народа», «вредителей» и «шпионов». Одна из статей специально посвящена методам вражеской работы в печати. Что считалось криминалом? Один журналист позволил себе назвать Германию «страной с высокоразвитой промышленностью». Этой фразы было достаточно, чтобы автора обвинили в пособничестве нацизму и в сотрудничестве с германской разведкой. Другой автор, разоблачая Гитлера и ругая его последними словами, позволил себе привести цитату из выступления Гитлера. Эта цитата рассматривается как вражеская вылазка, как прогитлеровская агитация. А то, что автор клеймит Гитлера, — это просто маскировка. Вообще, цитировать противника в советской печати не принято, даже если цитата сопровождается критикой. Для этого дела существует специальный термин, обозначающий особого рода политический криминал: «предоставлять платформу врагу» путем цитирования.

А вот специальный раздел на тему опечаток:

«Особенно широкое распространение опечатки по-

лучили за последние два-три года. Причем опечатки эти в значительной своей части отличались от прежних, обычных опечаток тем, что они искажали смысл фразы в антисоветском духе...

Чаще всего техника опечаток такова: заменяются одна-две буквы в одном слове или выбрасывается одна буква, и фраза в целом приобретает контрреволюционный смысл. Скажем, вместо слова “вскрыть” набирается “скрыть”; вместо “грозное предупреждение” — “грязное предупреждение”; вместо “брестский мир” — “братский мир” и т.д.

Часто “пропадает” отрицание “не” или “невинным” образом снимается или переставляется запятая, и все это делается с определенным умыслом — грубо извратить смысл.

Враг прибегает ко всем этим ухищрениям и маскировке там, где ослаблена бдительность. Имеется немало фактов замены в тексте газетного или книжного оригинала целых слов или появления новых, “невесть откуда взявшихся” слов и фраз. Вместо слова “социализм” набирается, а иногда и проникает в печать “капитализм”; “испанский народ” превращается в “фашистский народ”; “враги народа” — в “друзья народа”; “теоретический уровень” — в “террористический уровень” и т.д.».

К этому следует прибавить необыкновенную высокопарность официального лексикона. Причем по мере развития советского государства этот торжественный, возвышенный стиль усиливается. Раньше, допустим, крестьян называли крестьянами, потом, в 30-е годы, их стали называть колхозниками, а после войны и до сих пор их величают в официальной печати, по радио и даже в стихах — «хлеборобами». Слово «хлеборобы» звучит торжественно и даже сакрально, на старославянский манер.

Высокопарный стиль советской печати есть отражение официального представления, что советский человек — самый важный и великий на земле человек, живущий в самой могучей и прекрасной в мире стране. Поэтому о нем нельзя сказать, что он едет на верблюде — верблюд звучит слишком грубо и смешно: он должен ехать на «корабле пустыни». А если он едет на пароходе, то пароход уже называется «лайнером». В дурмане высоких и напыщенных слов человек оказывается в каком-то выдуманном мире, приподнятом над реальной действительностью. Язык, таким образом, не отражает действительность, а ее подменяет.

Подобную же роль играет ругательный язык советской прессы. Этот язык призван представить врага или вообще человека иного образа жизни, иного образа мыслей в самом черном свете. Начало этому ругательному языку, задолго до революции, положил сам Ленин, который был мастер наклеивать ярлыки на идейных противников. Вот как рассказывает об этом бывший сподвижник Ленина — меньшевик Николай Валентинов:

«Ленин умел гипнотизировать свое окружение, бросая в него разные словечки; он бил ими словно бухом по голове своих товарищей, чтобы заставить их шарахаться в сторону от той или иной мысли. Вместо долгих объяснений — одно только словечко должно было вызывать, как в экспериментах профессора Павлова, “условные рефлексы”. В 1903 году и половине 1904 года таким словечком была “Акимовщина”, в следующие годы появились другие: “ликвидатор”, “отзовист”, “махист”, “социал-патриот” и т.д. Спаситься от гипноза штампованных словечек можно было лишь далеко уходя от Ленина, порывая с ним связь» («Встречи с Лениным»).

Слова-ярлыки получили необыкновенное распро-

странение в советском языке. Лидеры западных государств и партий назывались «акулы капитализма», «агенты империализма», «фашисты» (хотя речь шла просто о несогласных с советской политикой), «махровые реакционеры», «предатели рабочего класса». Зажиточные крестьяне именовались «кулаками», а крестьянская беднота, которая не хотела идти в колхозы, — «подкулачниками». Если интеллигенция в чем-то сомневалась или проявляла сострадание к людям, на нее ставили клеймо — «гнилые интеллигенты», «мягкотелые интеллигенты», «мелкобуржуазные интеллигенты». Если упоминался Троцкий, то с эпитетом: Иудушка-Троцкий. Все арестованные по политическим мотивам назывались «враги народа», все инакомыслящие — «идеологические диверсанты». Не в лад сказанное слово, письмо протеста или неугодное художественное произведение приравнивалось к «идеологической диверсии»...

Постоянные ярлыки призваны возбудить у народа чувство страха и гадливости по отношению к тем, кого не любит советская власть. И эти ругательные клички оказывают воздействие на советское общество. У советского человека складываются порою самые превратные понятия о мире и о себе самом.

Я помню случай в московской булочной в конце 40-х. Тогда ввели ограничения на продажу хлеба и в одни руки отпускали не больше 2-х килограммов. А какой-то гражданин хотел купить 3 килограмма, и продавщица ему не отпустила. И он начал кричать на всю булочную, причем совершенно искренне: «Что мы, в Америке живем, что ли? Это только в Америке не продают хлеба больше 2-х килограмм!» Среди столичной публики в булочной никто даже не улыбнулся. Все принимали слова об Америке за чистую монету или делали вид, что принимают. Такого советская печать не писала.

Но виной всему был советский язык, который неизменно соединял слово «Америка» со словами: «безработица», «нищета», «рабство»...

Однако грубая брань по адресу противника совсем не означает, что язык советской газеты — грубый язык, присущий простонародью. В том-то и дело, что это язык очищенный, дистиллированный язык клише и штампов. Самые резкие политические выпады производятся и допускаются в строго установленной форме. В результате в советском языке (если взять его как целое) мы наблюдаем странную двойственность. В быту люди выражаются очень грубо. И сами партийные руководители и советские вожди в быту, в интимном кругу и, вообще, вне официальной обстановки, говорят грубо и просто. Но эта естественная речь почти не проникает в сферу официального языка. Напротив, тут проявляется и соблюдается необыкновенный пуризм. Эти пуристические тенденции особенно усилились в эпоху Сталина. Неслучайно многие хорошие и признанные советские писатели, начиная с 30-х годов, подвергались нападкам за то, что употребляли грубые и вульгарные слова или вводили народное просторечие, элементы жаргонов и диалектов в художественный текст. Их обвиняли в том, что они портят и засоряют великий русский язык, хотя именно эти авторы и писали языком жизни. Характерно, что и первые нападки на Солженицына, на знаменитую повесть «Один день Ивана Денисовича», начались с языка. Дескать, эта повесть написана слишком грубым языком. Хотя всем известно, каким языком говорят в лагере.

Советская печать боится естественной речи и прямо или косвенно ориентируется на строго нормализованный официальный язык бюрократии. А этот язык лицемерен в своем пуризме. Ибо его главная задача — сокрытие правды.

Отсюда в нем такое обилие эвфемизмов. Если в прошлом веке на языке русского салона, вместо «она беременна», говорили «эта дама находится в интересном положении», то в советском политическом языке тюрьма называется «изолятор», концентрационный лагерь — «исправительно-трудовая колония», советские заключенные должны называть себя «осужденными». Спрашивается, почему? Какая разница? Ведь раньше те же люди совершенно официально именовались заключенными. А дело в том, что после разоблачения Сталина и раскрытия тайны сталинских лагерей слово «заключенный» стало звучать слишком одиозно, и заключенных оказалось слишком много. Причем, называя себя официально «осужденный», человек как бы расписывается в том, что посажен правильно, по закону, по суду. Невозможно предугадать, какое слово завтра будет заменено эвфемизмом. Например, после революции из официального обихода исчезло слово «священник». В быту и в литературе оно сменилось грубым, старым словом «поп». Но как же называть «попа» официально, в документах? «Священником»? Нельзя. Ведь священник предполагает что-то священное. И был придуман официальный термин для определения этой профессии — «служитель культа».

Когда в конце 40-х гг. началась широкая, в государственном масштабе, антизападная и антисемитская кампания, то евреев, работавших в области идеологии, стали в советской печати называть «космополитами». Или в более уничижительной форме — «безродными космополитами». Всем было известно, что это на самом деле обозначает, но слово «еврей» прямо не употреблялось. Термин «космополит», таким образом, служил эвфемизмом по отношению к неназываемому, но подразумеваемому слову «жид» или «еврей». А позднее Советский Союз стал вести борьбу опять-таки

не с «евреями», а с «мировым сионизмом». Причем в этом словосочетании «мировой сионизм» становился чем-то неопределенным, расплывчатым и страшным. «Мировой сионизм» — как бы родной брат «мирового империализма».

Вообще, советский официальный язык любит объясняться туманными неопределенностями. Поэтому в ходу словечко «некоторые»: «некоторые круги на Западе», «некоторые агенты иностранных разведок», «некоторые недостатки еще не преодолены», «некоторые колхозы не выполнили план», «некоторые писатели», «некоторые критики»... А кто эти «некоторые», прямо не говорится. Слово «некоторые» в советской печати звучит крайне расплывчато, а вместе с тем угрожающе. Как что-то, может быть, очень маленькое («некоторые недостатки»), а может быть, очень большое и даже всеобщее. И этим «некоторым» может оказаться кто угодно. Слово «некоторые» — это облако, которым обволакивается нечто неприятное или неудобное власти.

Официальный советский язык представляет собой колоссальное укрывательство и надувательство. Это язык, который уговаривает себя в том, что он всегда прав. К тому же многие международные слова и понятия он истолковывает по-своему, будь то слово «демократия», или «гуманизм», или «права человека», или «конституция». «Всему миру известно, что настоящая демократия существует только в Советском Союзе...» Подлинный гуманизм — это пролетарский гуманизм, в отличие от буржуазного, абстрактного «гуманизма»... При таком истолковании слов истинным гуманизмом оказываются иногда массовые расстрелы, а истинной демократией — диктатура... «Империалисты» — это те, на кого мы нападаем. А «фашисты» — это либералы, которые кричат о справедливости...

Язык из средства общения между людьми превра-

щается в систему заклинаний, призванных переделать мир. Вот почему западным людям так трудно вести диалог с советской прессой и государственностью. Это — разговор на разных языках, сколько бы ни старались переводчики...

Трудно проникнуть в этот язык и советскому человеку, желающему что-то узнать и осмыслить. Правда, в этом случае ему помогает многолетний навык общения со своим государством, со своей прессой и отчасти даже с собственным языком.

О том, что такое советская пресса и каким языком она говорит со своим народом, хорошо рассказывает в книге «Русские» американский журналист Хедрик Смит, долго живший в Советском Союзе. Вот как он говорит о смерти Хрущева в отражении советской прессы:

«Умер человек, правивший Россией более 10 лет, а советская пресса потеряла дар речи. 36 часов мы ждали хоть какого-нибудь сообщения о Хрущеве. Наконец, в нижнем правом углу первой страницы газет «Правда» и «Известия» появилось малюсенькое сообщение... одна единственная фраза, сообщавшая о смерти «пенсионера Никиты Сергеевича Хрущева». Это сообщение было втиснуто между обстоятельной сводкой об урожае и портретом короля Афганского, прибывшего с визитом в Москву...»

Но при этом советские журналисты, в особенности занимающие генеральные посты, ведут себя с необыкновенным апломбом. «Мы не боимся критики», — громко заявил Чаковский (главный редактор «Литературной Газеты». — А.С.), принимая у себя в редакции американских корреспондентов. Этот крупный, представительный мужчина, чье «я» раздулось так же непомерно, как и объем его талии, говорит о советской жизни с показной искренностью, без конца упот-

ребляя выражения: «Я скажу вам откровенно» или: «Позвольте ответить на ваш вопрос самым исчерпывающим образом».

В том-то и дело, что клятвенные заверения в искренности и готовности ответить на все исчерпывающим образом — всего лишь стереотипные формулы, за которыми следует прямая ложь или утаивание. Но советские люди умеют просеивать советскую прессу и читать между строк.

Чтение сквозь газету иногда дает положительные результаты, а иногда — порождает ложные домыслы. И если в газетах написано, что в Америке безработица, то для большинства читателей это означает, что в Америке никакой безработицы нет. Таков обратный эффект официального языка. Отсюда проистекают человеческие драмы и трагедии, когда, допустим, эмигранты, выезжая на Запад, полагают, что здесь их ожидает рай земной. А другие боятся уезжать, думая, что на Западе повсюду царит нищета и на каждом углу совершаются грабежи и убийства.

Все это результат ненадежности официального языка, в котором трудно ориентироваться. В итоге этот язык порождает мифы и фантастические слухи. Мне доводилось, например, сталкиваться с народной молвой, что на самом деле никаких спутников в космос Советский Союз не запускал и никаких ракет к Луне не посылал, а все это одна пропаганда. Это отрицание самых очевидных фактов происходит оттого, что советскому языку перестали доверять. И чем торжественнее звучит сообщение о какой-то победе, тем меньше ему доверия.

Народное речетворчество

Как бы широко ни проникал в народную речь официальный советский язык, он ее не покрывает и не ис-

черпывает. Рядом с ним, параллельно, существует живой разговорный язык, куда более интересный и богатый. Но существует не обособленно, а в постоянных контактах и переплетениях и с официальным языком, и вообще в живом общении всех слагаемых языка, как бы ни были они первоначально удалены друг от друга.

Под понятием речетворчество или языковое творчество народа я не имею в виду непременно создание новых слов. Но многие слова вдруг пришли в движение и соскочили со своих насиженных мест. И стали употребляться в новом повороте, с особым ударением, с неожиданной эмоционально-смысловой окраской. Речь идет иногда о самых старых словах, порою забытых и вдруг воскресших, а так же самых обычных, зазвучавших по-новому.

Начну с довольно пространныго лирического отступления. Лирическое оно потому, что связано с моим личным опытом и с тем, как ко мне обращались и каким именем или титулом называли разные люди в различных жизненных ситуациях.

Самая распространенная и самая официальная форма обращения в Советском Союзе — конечно, «товарищ» и «гражданин». Оба слова в свое время сменили дореволюционное «господин» и были призваны подчеркнуть идею демократического, а потом и социалистического, равенства. Слово «господин» потеряло окраску вежливости или почтения. Назвать кого-то «господином» означало — выразить этому лицу недоверие, заподозрить в связях со старыми порядками, оскорбить. Так что в 20-е, 30-е, 40-е и 50-е годы слово «господа» (или «господин») употреблялось только негативно: «*господа* капиталисты», «бывшие *господа* помещики и царские генералы», либо о «врагах народа» говорилось, что эти *господа* из левого или правого ук-

лона надеялись свергнуть советскую власть. Но эти *господа* просчитались.

В официальной среде ко мне чаще всего обращались со словами «гражданин» или «товарищ». Однако эти слова не равнозначны по своей смысловой окраске. И в этих оттенках надо разбираться. Допустим, на улице можно обратиться к незнакомому человеку со словом «гражданин» или со словом «товарищ» с совершенно одинаковым безразлично-вежливым значением, поскольку оба слова достаточно уже стерлись в обиходе: «Скажите, гражданин, как пройти на такую-то улицу?» или «Скажите, товарищ, как пройти на такую-то улицу?» Но если меня, предположим, на той же улице останавливает милиционер, который желает проверить у меня документы, то он обязательно скажет: «Остановитесь, гражданин!» или: «Ваш паспорт, гражданин!» И никогда не скажет: «Товарищ!» Сам же я его буду называть: «Товарищ милиционер» и никогда «гражданин милиционер». Если я назову его «гражданин милиционер», — он может подумать, что я, чего доброго, только что из тюрьмы. Даже если власть относится к тебе холодно и говорит тебе «гражданин», ты должен относиться к ней тепло, по-товарищески, и говорить «товарищ!» — «Товарищ милиционер! Товарищ начальник!» Соответственно, если я у себя на работе выступаю на официальном собрании, научной конференции, или просто здороваюсь с сослуживцами, я говорю: «Товарищи». Обращение «граждане» здесь просто стилистически невозможно. Лишь какое-то лицо со стороны может сказать, допустим: «Расходитесь, граждане! Пора и время знать!» Но если я нахожусь под судом или меня арестовали, я должен говорить: «Граждане судьи!» Или: «гражданин следователь». Это означает, что я перестал быть товарищем всем прочим, нормальным советским людям. Это зна-

чит также, что между формально-равнозначными словами «гражданин» и «товарищ» существует на самом деле весьма тонкая иерархия, и каждый советский человек ее бессознательно чувствует.

Тонкость возрастает, когда мы обращаемся к женщине. У себя на производстве или на собрании я могу сказать, употребляя на равных, предположим: «Товарищ Тимофеев считает, что социалистический реализм — это то-то и то-то. А вот товарищ Трифонова и товарищ Семенова не согласны с товарищем Тимофеевым...» Но уже на улице в обращении к незнакомой женщине с этим словом я испытываю затруднения. Если я спрошу ее: «Товарищ, как пройти на такую-то улицу?» — это будет звучать несколько нелепо. Либо слишком по-партийному, либо слишком фамильярно или игриво. Потому что какой же она мне «товарищ»? К тому же слово «товарищ» мужского рода и не соответствует женщине. Правда, существует другое официальное слово, которым пользуются и власти, и обычные люди: «Гражданка!» Но слово «гражданка», уже в силу специфики русского языка (благодаря окончанию «ка»), звучит менее уважительно, нежели слово «гражданин». В быту можно сказать: «Гражданка! Не толкайтесь...» Но если сказать: «Гражданка! Где такая-то улица?» это прозвучит хотя и допустимо, но несколько грубовато или чересчур холодно. Так что если мне надо к ней обратиться вежливо, просительно и вместе с тем достаточно официально, то как я должен сказать? — Догадайтесь! Конечно же, я обращусь к ней: «Гражданочка! Как пройти на такую-то улицу?» Уменьшительно-ласкательные, исконно русские суффиксы здесь помогают придать официальному обращению и большую теплоту, и большую вежливость...

А между тем первоначально и слово «гражданин», и слово «товарищ» были исполнены и пафоса, и жара, и

какой-то высшей всечеловеческой близости. Однако у этих слов несколько разное историческое происхождение и поэтому разная судьба. Слово «гражданин» было введено во всеобщее употребление Февральской революцией 1917 года, после падения самодержавия. Оно имело аналогии и корни в событиях и языке еще Французской революции и означало — «республика» (с девизом «свобода, равенство и братство»). Более века спустя с не меньшим пафосом оно произносилось на петроградских улицах. Об этом свидетельствует первый поэтический отклик Маяковского на Февральскую революцию:

Граждане!
Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».
Сегодня пересматривается миров основа.
Сегодня
до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова.
Граждане!..

Слово «граждане» здесь звучит как откровение и в языке и в человеческих отношениях: наконец-то мы граждане, а не верноподданные Его Императорского Величества! Восторг, однако, длился недолго. Октябрьская революция углубила республику, придав ей форму «пролетарской диктатуры», то есть к отмене свободы и демократии под знаком еще большего равенства и братства. Поэтому слова «граждане» и «гражданин» были приняты и узаконены советской властью, но обрели более холодный и формальный характер, как бы чего-то уже достигнутого в прошлом. В дополнение к «гражданину», как новый этап истории, как выражение нового, социалистического общежития, было введено обращение — «товарищ».

Оно имело два источника: во-первых, узкопартий-

ная среда, где давно уже друг друга называли товарищами, имея в виду товарищей по партии и особую, взаимную доверительность отношений. Второй источник: давний русский народный быт, где слово «товарищ» означало друг, сверстник, помощник или соучастник в каком-либо деле. Отсюда старинные русские пословицы и поговорки типа: «Гусь свинье не товарищ», «Слуга барину не товарищ», «Иван Марье не товарищ», «Поп черту не товарищ». То есть «товарищ» предполагал особую тесноту и теплоту отношений, дружескую близость и равенство в положении. Это слово было довольно распространенным, но раньше оно никогда не охватывало широкую среду: «товарищи» — это несколько человек, чем-либо тесно объединенных, и это слово было неприменимо к посторонним или к незнакомым людям. А после Октябрьской революции оно стало применяться ко всем людям в значении «сограждане», «собратья», «друзья». И для кого-то это было «прекрасное слово», как назвал его Александр Блок. Это было многообещающее слово, притом коренящееся в самом русском языке. Об этом писал Блок в стихотворении «Скифы» 1918 года, в ознаменование нового, всемирного братства, где люди перестанут быть врагами друг другу. Блок писал, обращаясь к Западу:

Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные объятья!
Пока не поздно — старый меч в ножны,
Товарищи! мы станем — братья!

Слово «товарищ» именно потому так широко и органично привилось в новом революционном быту, что звучало более интимно, чем слово «гражданин», и предполагало какие-то дружественные, братские отношения между людьми. В идеале со словом «това-

рищ» связано представление, что весь советский народ, а в будущем — все человечество, — это одна большая семья. Поэтому слово «товарищ» на первых порах звучало прекрасно и укоренилось в народном языке как что-то принципиально новое и вместе с тем извечно присущее и русскому языку, и человечеству вообще, которое поперек вражды ставит слово «товарищ». Я бы сказал, что слово «товарищи» в языке социализма — как слово «братья» в языке христианства...

Но прошли годы, и слово «товарищ» и «товарищи» стало казенным и утратило первоначальный смысл, утерало все эмоции. Более того, оно стало звучать лицемерно и кощунственно, поскольку на деле, в реальном обществе никакого «товарищества» не получилось. Новые господа хотели, чтобы рабы называли их «товарищами» в знак того, что новое рабство и есть самое справедливое и самое прекрасное в мире устройство человеческих отношений. Оттого, что «начальник» стал «товарищем начальником», командир стал «товарищем командиром», хотя на самом деле он никакой не товарищ, — это слово в сознании народа стало приобретать отпечаток словесной фальшивки. И вот на какой-то стадии развития советского общества и развития языка наблюдается отталкивание от слова — «товарищ». Точнее говоря, в языковой всеобщей практике слово товарищ продолжает существовать и употребляется повседневно. Но оно девальвируется, и есть люди и группы людей, которые стараются его избегать или вкладывают в него противоположный, враждебный смысл.

Мне довелось услышать из уст одного религиозного сектанта буквально следующее:

« — Во Христе мы — братья! Все люди — во Христе — братья. А в Антихристе мы кто? А в Антихристе мы — товарищи!»

Но по счастью русский язык достаточно богат и достаточно изобретателен, чтобы общение людей не свелось к официальным словам «гражданин» и «товарищ». Параллельно существует иной порядок обращения людей друг к другу, который можно назвать языком родственных отношений. Русский язык, может быть, прочнее других языков сохраняет память о патриархальной семье, которая включает в себя весь народ, а шире — всех людей на свете. К незнакомым людям на улице простой человек очень часто обращается по-родственному, куда теплее и дружественнее, нежели «гражданин» или «товарищ». Незнакомому человеку, который старше тебя, говорят: «отец» или «папаша». Сверстнику — «брат», «братец» или «браток». Во множественном числе — «братцы». К младшему обращаются — «сынок». Или — «внучек». А совсем старому говорят: «дедушка» или более грубо: «дед». И соответственно — обращаясь к незнакомым женщинам, называют их: «мать» или «мамаша», «сестренка» или «сестрица», «дочка». И, наконец, к старухам: «бабушка» или более грубо и фамильярно: «бабка».

Все эти слова имеют больший доступ к человеческому сердцу, нежели официальный язык. Совсем случайно при начале войны с Германией Сталин в первом выступлении по радио обратился к советскому народу со словами: «Братья и сестры», что в устах вождя партии прозвучало неожиданно. Но когда припекло, Сталин понял, что надо взывать к родственным чувствам и что спасут его не «граждане» и даже не «товарищи», а «братья и сестры». Но надолго привиться в государственных речах это, конечно, не могло, ибо сама природа и система советского государства далека от человека, и к «братьям и сестрам» правители апеллируют лишь на краю гибели.

Такая языковая семейственность, свойственная рус-

скому народу, имеет, разумеется, очень древние корни, но и в современном советском языке это не исчезло. Народ, уставший от официальности отношений, как бы стремился вернуть себе в языке значение родства и семьи. И потому эти слова не просто сохранились, но в известном смысле ожили и заиграли по-новому. Я лично это особенно ощущал на самом себе, поскольку жил, в основном, в Москве, в столице, где все достаточно унифицировано и стандартизовано. Когда к тебе вместо обычного «гражданин» обращаются на улице со словами «папаша», или «браток», или «дедушка», или «сынок» — это чувствуешь особенно остро. Тем более, что на меня подобные обращения сыпались кучей — в силу одного обстоятельства: я довольно рано начал носить бороду, а в те годы молодые люди бород еще не носили. И поэтому на улице в одно и то же время ко мне обращались и со словом «сынок», «браток», и со словом «папаша». В этом обращении было важно не соблюдение иерархии, а стремление придать языку большую теплоту, фамильярность или интимность.

К тому же ряду родственных обращений можно присоединить и слово «земляк» или «землячок». Когда-то оно означало родство по местности. Но теперь эта локальность исчезла. Я слышал, как со словом «земляк» обратился русский мужик к киргизу, хотя какие они земляки на самом-то деле? Слово «земляк» передает лишь дружеское и душевное расположение одного человека к другому, чаще всего незнакомому. Так же, как можно обратиться на улице к кому-нибудь со словом «друг» или «дружище». В итоге мы наблюдаем интересный языковой парадокс: слова «гражданин» и «товарищ», призванные объединить людей, на самом деле их разъединили, и сам язык, в обход установленных правил, стремится заполнить этот вакуум, этот

холод отчужденности и ищет новые формы человеческого и речевого контакта.

Возможных основ для объединения очень много, но они не всегда долговечны и связаны с перемещением человека из одной среды в другую или из одного периода истории в другой.

Я помню, как во время войны — а я был тогда очень молод и был в солдатской форме — незнакомый пожилой солдат обратился ко мне со словами: «Здорово, война!» Слово «война» было моей новой кличкой и знаком родства со множеством людей, объединенных общей судьбой. Это обращение «война» звучало очень тепло и дружественно и означало примерно следующее: «мы — свои люди, мы члены одной семьи, мы дети одной судьбы и понимаем друг друга с полуслова: я — война, и ты — война». А вместе с тем это звучало страшно и с горькой иронией: «и ты, мальчишка, война; и я, старик, война; и кругом одна война и выхода не видно...» Здесь же, в одном этом слове, сквозила веселая поддержка мне и ободрение: дескать, держись, война! ты же — война! я вот всю войну прошел и нечѐ, война!

Теперь перенесемся в иную эпоху моих лирических воспоминаний. Середина 60-х годов. Я уже не «товарищ Синявский», а «гражданин подсудимый» и «гражданин заключенный». Я попадаю в совершенно новую и удивительную для меня среду современного советского лагеря. Помимо прочего она удивительна в языковом отношении, поскольку здесь, на небольшой площадке и в теснейшем контакте, собран весь Советский Союз. То есть — люди разных сословий, вер и национальностей, разных поколений и разных человеческих и исторических судеб. Грузин мне скажет «кацо» («друг» по-грузински), а бывший священник спросит: «откуда прибыл, раб Божий?» А бывший вор скажет

насмешливо: «Ну, пахан, как дела?» Или с оттенком восхищения: «Ну, ты прогнил! Ты настоящий воровской мужик!» Русский молодой человек говорит мне: «Господин Синявский», украинец говорит: «Пан Синявский», латыш: «Мистер Синявский»... Сначала я думал, что они смеются или разыгрывают меня. Но это самая обычная, вежливая форма обращения. А слово «товарищ» и слово «гражданин» в этой среде звучали бы просто неприлично. Потому что это официальные слова, глубоко презираемые лагерниками.

Как-то, через несколько лет, я стоял в толпе других заключенных, и подбегает дежурный из штаба, из бывших полицаев, то есть из тех, кто во время войны служил у немцев, а теперь, уже в роли заключенного, служит чекистам. Так вот этот человек, подбежав, крикнул: «Товарищ Синявский, вас вызывает начальник!» И это словосочетание «товарищ Синявский» было так невероятно и комично, что я засмеялся, да и вся толпа покатила с хохоту. Тогда бедный дежурный решил поправиться и сказал: «Гражданин Синявский! Вас вызывает начальник!» Смеху было еще больше. Потому что со словом «гражданин» может обращаться начальник к заключенному или заключенный к начальнику, но не зек к зеку, между которыми предполагаются равные и братские отношения. А слово «товарищ» подверглось двойному остракизму. Само начальство, еще со сталинских времен, запретило, чтобы заключенный употреблял это слово по отношению к свободным советским людям, потому что они ему, врагу народа, не товарищи. И если по ошибке или по привычке новичок называл, допустим, тюремного врача, не говоря уже о чекистах, «товарищ доктор», то на это немедленно следовал резкий ответ доктора: «Я вам не товарищ». А в наши времена слово «товарищ» стало одиозным и неприемлемым уже среди самих заключенных, по-

скольку оно ассоциируется с коммунистической партией и советским режимом.

Таким образом, в лагерный и в диссидентско-интеллигентский быт вернулись слова «господин» и «господа». Но это не просто восстановление старого, дореволюционного, вежливого слова. Его произносят теперь, как бы подчеркивая новое братство и гордую принадлежность к собственно человеческому достоинству, которое не желает иметь ничего общего с языком советской официальности. И если брать историю советского общества в целом, от начала революции до сегодняшнего дня, то слово «господа» проделало или описало удивительный круг. Вначале уничтоженное и униженное, оно вернуло себе свое достоинство и даже восторжествовало над словами «гражданин» и «товарищ». Но это новый виток спирали, а не повторение и не реставрация. Слово «господа» в нынешнем употреблении находится в оппозиции к слову «товарищи». Оно употребляется со знаком большего дружелюбия, большего товарищества, чем слово «товарищи»: там, наверху, «товарищи», которые на самом деле над нами господа, а здесь мы «господа», которые, на самом деле, между собой — товарищи.

Можно сказать «господа», обращаясь к людям своего круга, и тут же сказать «братцы» или, используя солдатско-советское словцо, — «ребята», или обратиться — «мужики» (пускай все эти «мужики» — рафинированные интеллигенты), или сказать «хлопцы», которое в советское время из украинского языка перешло в русский и совершенно обрусело и обозначает опять же тесную связь равных между собой людей. Но в этот ряд синонимов, который можно продолжить, протягивая нить от слова «господа» к слову «хлопцы», — уже не войдут ни слово «товарищи», ни слово «граждане». Они мертвы для живого употребления.

Весь этот ряд обращений я хотел бы закончить еще одним примером. Это тоже было в лагере, в день, когда меня привезли. Ко мне подошел высокий старец с громадной, разросшейся во все стороны и запутанной бородой. Это был, как я потом выяснил, религиозный сектант-пятидесятник. Ко мне он обратился так: «Человек!» «Человек! Вот это тебе надо!» И протянул самодельную пишущую ручку — в качестве какого-то высшего дара мне, человеку. Вероятно, он слышал где-то, что я писатель, и в знак своей благосклонности решил подарить мне ручку, чтобы я продолжал писать. Понятно, этот подарок потряс меня до основания. Но еще более меня поразило и навсегда запомнилось обращение ко мне: «Человек!» Так меня еще никто не называл. Меня называли всякими именами, но слово «Человек!» в виде личного обращения я услышал впервые. И я понял, что все синонимы, все титулы, все имена, которые мы используем в разговоре и в живом общении между собою, — это лишь бледные производные от слова «Человек!», если, конечно, это не пустой термин, а логос, исполненный трагических и комических интонаций, любви и скорби, хотя всего-навсего перед тобой, неизвестным *человеком*, стоит другой неизвестный *человек*. В употреблении старцем слова *человек* было все, начиная с Адама и кончая нами, кончая каждым из нас. Он восстановил слово *человек* в его первоначальном значении. И тут, я полагаю, не обошлось без опыта советской истории, без опыта всех лагерей и тюрем, без опыта потери всех определений...

Русский язык по широте и богатству синонимов один из первых в мире, а может быть, и самый первый, самый богатый. Это произошло, в частности, потому, что на разных этапах его развития в русский язык вошло великое множество иностранных слов от разных стран и народов, и эти слова во множестве привились

и начали жить русской жизнью, параллельно с исконно русскими, коренными словами. Это привело к разнообразию синонимов, а также к смещению и к скрещиванию значений и стилистических оттенков. В какие-то периоды советской истории эти процессы необыкновенно усиливаются и приобретают характер хаотического движения и размножения слов. Далеко не всегда это означает что-то хорошее в жизни. Например, в годы гражданской войны разрастаются синонимы на тему массовых расстрелов и расправы с противником. Разговорный язык здесь проявляет циничную изощренность, изобретательность и вместе с тем стыдливо избегает прямых напоминаний о казни, о смерти или подает это как дело самое простое, заурядное, легкое и даже смешное. Так, вместо слова «расстрелять» употребляется синоним «разменять» или «списать в расход» (т.е. просто как бы вычеркнуть из списка), или «шлепнуть», или «отправить к Духонину»*

По этому поводу Максимилиан Волошин написал в 1921 г. стихотворение «Терминология». Оно целиком построено на новых синонимах, которые вошли в обиход и были связаны с расстрелами и пытками. Само название «Терминология» звучит как трагический фарс, гротеск или кошмар. Ибо перед нами не лингвистика, а попытка представить через язык, что происходит в мире. А происходит одичание людей, для которых убийство стало занятием повседневным и даже иногда приятным:

* Духонин — генерал, зверски убитый восставшими солдатами в 1917 г. Поскольку это была одна из первых расправ, она поразила воображение: вот мы, простые солдаты, а взяли и убили своего Главнокомандующего. Кроме того, имя Духонин ассоциируется со словом «дух»: убить — это выпустить из человека дух и вместе с тем отправить к Святому Духу, на небо.

«Брали на мушку», «ставили к стенке»,
«Списывали в расход» —
Так изменялись из года в год
Быта и речи оттенки.
«Хлопнуть», «угробить», «отправить на шлепку»,
«К Духонину в штаб», «разменять» —
Проще и хлеще нельзя передать
Нашу кровавую трепку...

А заканчивается стихотворение мыслью автора, что такой язык, такая терминология не проходят даром и еще проявят и покажут себя не в языке только, но в реальности:

Всем нам стоять на последней черте,
Всем нам валяться на вшивой подстилке,
Всем быть распластанным — с пулей в затылке
И со штыком в животе.

И вместе с тем мы наблюдаем в развитии и в употреблении синонимов в живом разговорном советском языке иногда поразительную творческую силу, способность к пониманию и называнию вещей истинными именами. Эту способность я бы не побоялся сравнить с поэтическим искусством, с творчеством художника.

Сошлюсь на один жизненный эпизод, который относится по времени ко второй половине 50-х годов. Место действия — Савеловский вокзал в Москве, вокзал маленький, крайне непрезентабельный, грязный, запачканный, неорганизованный и рассчитанный на простонародье. По этой ветке ехали тогда так называемые «завербованные», то есть рабочие или просто бродяги, которых завербовали работать на Севере России, в районе Воркуты. Ехал самый сброд. А я на этом вокзале оказался вместе с одним французским другом, славистом. И направлялись мы сравнительно недалеко, в Переславль-Залесский. Поздно ночью объ-

является посадка. Но пробиться к вагону невозможно. Лезет толпа — с мешками, сундуками, с плачущими детьми, с отчаянной руганью, — и берет поезд штурмом. Мы стоим на платформе и переживаем, когда улягутся страсти. Мимо нас по платформе пробегает мужичонка, маленький, взъерошенный, оборванный и, очевидно, тоже не рассчитывающий пробиться в вагон. Оборотясь к нам и показывая на эту толпу, на этот беспорядок, на этих людей, которые давят друг друга, чтобы сесть первыми, мужичонка произносит одно только слово: «Шалман!» Но произносит его с необыкновенной экспрессией, с необыкновенной восклицательной интонацией, с отчаянием в голосе и вместе с тем с каким-то горестным, гибельным восторгом: «Шалман!»

Естественно, мой французский славист с интересом переспрашивает: «Как? Как вы сказали?!» Ведь он настоящий филолог и тонкий знаток русского языка, и каждое незнакомое или редкое слово он хотел бы понять и зафиксировать.

Тогда мужик в пояснение, произносит другое слово: «Бардак!» — с тем же ударением. Французский славист опять переспрашивает, пытаясь понять, что имеется в виду: «Как вы сказали?» Но мужик не понимает, что имеет дело с французом. И поэтому, пробегая, он выкрикивает последнее слово, которое общепонятно и которое должно все объяснить: «Колхоз!» И исчезает в толпе.

Все это происходит в течение секунд. И эти три слова, следующие одно за другим, призваны объяснить ситуацию. А вместе с тем каждое новое слово, с точки зрения говорящего, проясняет и уточняет предыдущее.

Теперь попробуем разобраться в этом ряду синонимов. Все три слова заимствованы из разных слоев языка, но одинаково понятны советскому человеку. Слово

«шалман» пришло из блатного, воровского жаргона и означает притон или, как его называют воры, — «малину». Это место отдыха воров и место их укрытия. В шалмане гуляют после очередного налета, пьют, поют песни, встречаются с женщинами и прожигают жизнь, готовясь к новому подвигу. А в данном употреблении, по отношению к Савеловскому вокзалу, слово «шалман» обозначает хаос, веселый и вместе с тем угрожающий, тем более что среди садящихся на поезд много блатных.

Второй синоним: «Бардак» — это, можно сказать, общеевропейское слово, равнозначное публичному дому. Но в русском употреблении «бардак» звучит более грубо и вместе с тем в расширенном смысле — любого беспорядка или плохой работы. Можно сказать и говорят: не завод, а бардак; не страна, а бардак.

И, наконец, третий и окончательный синоним: «колхоз», совершенно официальное советское слово, обозначающее общественный строй, экономику и повседневный быт русского крестьянства. Но в данном случае это официальное и политизированное слово — перевернуто в соответствии с реальностью и означает — разорение, бесхозяйственность, беспорядок, означает «бардак» и «шалман» — или, одним словом, — «колхоз».

Любопытно отметить, что этот ряд синонимов располагается по прогрессии, по градации, по нарастанию: «Шалман! Бардак! Колхоз!» Причем каждое следующее слово в устах говорящего — и точнее, и хуже. И слово «колхоз» должно объяснить, что такое «шалман» и «бардак».

Между тем эта фраза звучит как поэтическое определение, как художественная формула и строится, легко заметить, на смешении слов, на совмещении жаргонов. Это — советский язык в его живом выражении.

Красочность этого языка основана на соединении разных лексических и стилистических рядов. Такой язык прекрасен и ужасен.

А иногда ужасное и прекрасное соседствуют и сливаются вместе, и язык дает нам образцы чудесного гротеска. Из этой смеси языков рождается фольклор.

В советском фольклоре можно выделить три основных жанра. Во-первых, частушки. Во-вторых, блатная песня или вообще лагерная песня. И в-третьих — анекдот.

Русский фольклор в конце XIX — начале XX века подошел уже к упадку, как вдруг его двинула и открыла ему новые формы и возможности Советская власть. Она сделала это невольно, запретив свободу мысли и свободу слова.

Три жанра нового фольклора — частушка, блатная (шире — лагерная) песня и анекдот — хотя они и действуют параллельно — можно расположить в историческом порядке. Самый ранний жанр — частушка, которая появилась еще до революции, но особенно расцвела в первые годы советской власти. Неслучайно поэма Блока «Двенадцать» — построена на частушках.

Частушка родилась в пригороде, в среде фабрично-заводской молодежи, но перешла в деревню и заполонила ее, сменив старинную протяжную лирическую русскую песню. По самому стилю и строю частушка — песня-однодневка, пропетая с удалью, грубостью и озорством:

Мой миленок — как теленок,
Только разница одна:
Мой теленок — ест помои,
А миленок — никогда!

Частушки впитывают в себя все, что несет сегодняшний день и современный язык. Деревенская девка поет:

Не ругай меня, мамаша,
 Что в читальню я хожу,
 Я не время убиваю —
 За политикой слежу.

В 20-е и 30-е годы частушку, как самую массовую форму фольклора, использовала советская власть и даже поручала поэтам сочинять новые, советские частушки. Но поскольку фольклор — дело не заказное, а органическое, параллельно появлялись антисоветские частушки.

Допустим, есть советское официальное слово — «мясозаготовка» — сдача скота или мяса государству за бесценок. Или — обязательная подписка всех советских граждан на заем, когда все должны покупать государственные облигации — в виде дополнительного налога. И появляется частушка — на тему разорения деревни конца 30-х годов, целиком и полностью построенная на советском языке. Она реализует этот язык и высмеивает:

Всю пшеницу — за границу,
 Овес — в кооперацию,
 Баб — на мясозаготовку,
 Девоч — в облигацию.

Есть удивительные частушки, несущие отпечаток того или иного периода советской истории. Скажем, — военные и послевоенные годы. Вот в одном четверостишии весь советский быт, выраженный к тому же безукоризненно в поэтическом отношении и предельно объективно, без эмоций:

Девки любят лейтенантов,
 Бабы любят — шоферов.
 Девки любят — из-за денег,
 Бабы любят — из-за дров.

Но как ни актуальна частушка по своему языку, она все же отходит в прошлое. Так же как отходит в прошлое второй эшелон советского фольклора — блатная песня. Третьим, самым современным и самым многообещающим жанром становится — анекдот.

Современная советская Россия — и это длится уже почти семь десятилетий — переполнена анекдотами. Это развитие фольклора объясняется тем, что пути письменной и печатной словесности перекрыты. Развитие литературы происходит путем устного слова. Чем же это слово занимается? Оно занимается, в широком смысле, переходом через границу языка, переходом через то, что принято этим обществом за норму.

Отсюда две основные ветви советских анекдотов — непристойные и антисоветские. Обе эти ветви движимы стремлением перейти черту, поставленную советской цензурой, и выразить самую суть советского быта и языка.

На похабных анекдотах я не стану останавливаться — они уведут нас в сторону общего языкознания. Я задержусь на жанре антисоветских анекдотов. Но тут же оговорюсь — само определение «антисоветские» придумала советская власть. А на самом деле это дальнейшее развитие советского языка, и солью этих анекдотов становится слово, но слово развернутое и комически реализованное.

Например, к 100-летию юбилею Ленина появилась целая серия анекдотов, доведшая идею всенародного и повсеместного празднования до полного абсурда. Они строятся на том, что якобы все промышленные предприятия в честь юбилея выпускают какие-то ленинские изделия. Скажем, появляются духи под названием: «Запах Ильича». Или трехспальная кровать под девизом: «Ленин — с нами».

Или — в связи с массовым отъездом евреев из Со-

ветского Союза появился анекдот, что в Ленинграде теперь осталась только одна еврейка. Зовут ее — Аврора Крейсер. Этот анекдот строится на перестановке слов и нерусском звучании слова «крейсер». Каждый советский человек с детства знает: Октябрьский переворот 1917 года начался орудийным выстрелом крейсера «Аврора». Этот выстрел послужил сигналом к штурму Зимнего дворца. «Аврора» — священная реликвия, которую показывают экскурсантам, о которой без конца вспоминают по радио и в газетах, которую воспевают в стихах и в прозе. И вдруг этот словесный штамп взорван путем превращения крейсера «Аврора» в еврейку Аврору Крейсер.

По сути дела, всю советскую историю можно представить в анекдотах. Ибо анекдот всегда мгновенен и актуален и спешит по горячим следам событий. Он не переставал существовать в самые жестокие времена. Более того, он развивается и расцветает именно потому, что находится под запретом и переступает запрет. Ведь в Советском Союзе за рассказывание анекдотов людей преследовали и, случалось, сажали в тюрьму. При Сталине за рассказывание анекдотов давали 10 лет лагерей. Но эти крутые меры только стимулируют развитие анекдота. А по поводу уничтожения анекдотов возникают новые анекдоты. Дело происходит примерно так, как в анекдоте о еврее Рабиновиче, который посмел задать вопрос на общем собрании. Докладчик читает лекцию об успехах коммунизма, а потом спрашивает аудиторию: есть ли вопросы? Встает Рабинович и говорит: «Все хорошо. Но у меня вопрос: где масло?» После этого, естественно, Рабинович исчезает. Проходит год, и тот же докладчик опять читает лекцию, и снова: «Есть ли вопросы?» Тогда встает другой еврей, Хаймович, и говорит: «Я не спрашиваю — где масло? Но я хотел бы знать — где Рабинович?» Что-то

похожее наблюдается в бытовании анекдотов. Они неистребимы.

В условиях несвободы анекдот чувствует себя как рыба в воде. Потому он и сделался ведущим фольклорным жанром, постоянным спутником советского быта и оказывает громадное влияние на современный язык. Но анекдот, хотя и находится в оппозиции, не есть что-то чуждое или постороннее советской цивилизации. Он ее естественное порождение и украшение. Анекдот — это порождение советского официального штампа, который сам себя взрывает. Неслучайно большая часть анекдотов крутится не вокруг какого-то события, а вокруг какого-то слова. В политическом анекдоте таким словом становится официальный штамп.

Спрашиваем: в чем различие и в чем сходство между матом и диаматом? Отвечаем: матом кроют, а диаматом прикрываются, но то и другое — орудия рабочего класса.

Или вопрос: что такое «демократический централизм»? Согласно официальному определению, коммунистическая партия строится на принципе «демократического централизма», т.е. на соединении демократии и централизации. Но таков установленный штамп. Ответ анекдота: демократический централизм — это когда каждый в отдельности «против», а все вместе — «за».

Нетрудно заметить, что многие анекдоты строятся на реализации метафор, скрытых в языке. Суть в том, что какое-то иносказательное выражение понимается буквально, вещественно, предметно. В результате возникает алогизм, абсурд. Мертвое слово (штамп) оживает.

Разумеется, взятый в отдельности каждый анекдот — это пустиак, мелочь, зернышко. Но в своей неисчисли-

мой массе это весьма широкое и плодотворное языковое творчество народа. Прорастая, зернышки не дают советскому языку омертветь и свидетельствуют о его живучести. И главный герой в анекдоте — слово. Если чисто умозрительно представить, что советская цивилизация исчезнет, памятью о ней будет слово-герой, слово анекдота.

*Глава восьмая***НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС**

Среди проблем советской цивилизации национальный вопрос представляется одним из самых острых и возбуждает особенно бурные споры. Я считаю, что особенно сложным и запутанным он стал по четырем основным причинам.

Первую причину можно обозначить одним словом — Империя. Сначала — Российская Империя, как она сложилась в течение столетий и какой досталась в наследие новому строю. А затем — Советская Империя, упрочившаяся на развалинах старой и еще более расширившаяся в своем мировом могуществе. Имперское положение, громадность территории и пестрота многонационального состава, естественно, необыкновенно осложняют национальную проблему.

Вторая причина обострения национального вопроса — это, как ни странно, декларированный интернационализм в соединении с практикой великодержавного шовинизма. Интернационализм, который, как известно, лежит в основании коммунистической идеологии и политики постоянно приходит в противоречие с великодержавным шовинизмом. Именно на фоне принципов интернационализма национальные противоречия особенно выпирают.

Третья причина обострения — национальное возрождение, которое в XX веке во многих странах и у разных народов привело к борьбе за национальную независимость.

И, наконец, четвертая причина — омертвление и выветривание в Советском Союзе коммунистической идеологии, которая требует какой-то замены и такой

замены не находит. И в качестве следующего этапа экспансии и самосохранения империи выдвигается откровенно националистическая доктрина, вступающая в конфликт с национальным самосознанием других народов. Так что, возможно, будущее советской цивилизации во многом упрется именно в национальный вопрос.

Согласно официальному марксистскому, а затем и советскому вероучению, национальная рознь и междоусобица и национальная дискриминация целиком и полностью уходят корнями в общество, построенное на классовых противоречиях. Так что угнетение и порабощение одних наций другими — это лишь результат и форма более широкого и всеобщего социального гнета. Соответственно, национальный вопрос никогда не выдвигался марксистами на передний план и рассматривался как вторичное и производное социальных проблем. Утверждалось, что с уничтожением классов, с уничтожением социального гнета — сами собой должны разрешиться и исчезнуть все национальные конфликты, на смену которым придет равенство и братство трудящихся всех стран, придет социалистическое содружество наций. И это казалось аксиомой.

У Российской Империи, сравнительно с другими империями и колониальными державами, было и остается то преимущество, что, присоединяя к себе другие народы и земли, она действовала в пределах территориально единого материка. Она разрасталась, расширяя свои окраины, редко наталкиваясь на серьезные преграды. За небольшим исключением это было освоением ближних земель, которые даже не считались и не назывались колониями, но входили в состав самого государства, в состав единой и неделимой России.

В этом разрастании единой территории русские

всегда опирались не только на военное или экономическое, но и на громадное численное превосходство и легко присоединяли к себе малые и чаще всего отсталые народы, например, в Сибири. Исключением — в смысле культурного развития — была, конечно, Польша. Но ведь Польша потому и доставляла больше всего хлопот и неприятностей русским царям своим стремлением к национально-государственной независимости.

Сближению некоторых народов с Россией, а затем и присоединению к ней способствовал в ряде случаев страх перед другими потенциальными и более опасными захватчиками. Так, Украину к первоначальному союзу с Россией толкнул страх перед Польшей. Грузии и Армении далекая рука христианской России была предпочтительнее близкой десницы могущественной и магометанской Турции.

Помимо прочего, власть России над другими народами не носила формы открытого и циничного национального гнета. Разумеется, в результате присоединения к России многие народы нищали, разорялись, теряли былое достоинство. Но русские власти обычно не рассматривали покоренные народы как своих рабов или как неполноценную расу, которой можно сколько угодно помыкать. Напротив, завоеванные или присоединенные народы становились «полноправными» субъектами Российского государства. Даже когда Екатерина ввела на Украине крепостное право, это подавалось как жест великодушия русской государыни. Этим самым, говорилось, она уравнила в правах украинских крестьян с русскими. Ведь в идеале (разумеется только в идеале) для Российского Императора все его подданные, без различия национальностей, равны, коль скоро они не становятся «изменниками». Ну а «изменникам», т.е. народам, не желавшим покоряться России, конечно, приходилось худо. Но номинально

их карали не за национальное сопротивление, а как «изменников» родины России. Любопытно, что эта политика, эта государственная психология и даже терминология продолжает действовать до сих пор, уже в условиях Советской Империи. Когда, например, Советский Союз захватил Прибалтику, то недовольных, заподозренных в недовольстве жителей Латвии, Литвы и Эстонии стали массами вывозить в лагеря и даже расстреливать как «изменников родины», хотя *своей* родине они как раз не хотели изменять.

В силу всего вышеизложенного, даже в ту пору, когда Российская Империя как многонациональное целое сохраняла относительную стабильность, она была в глубине раздираема всевозможными, в том числе национальными, противоречиями, виною которых был прежде всего русский великодержавный шовинизм. Чтобы проиллюстрировать природу этого мировоззрения, я обращаюсь к «Книге Воспоминаний» одного из великих князей — Александра Михайловича. Она была написана в эмиграции, издана в 1933 году. Автор с юмором и грустью вспоминает о своих детстве и юности. Время действия — 1885 г., царствование Александра III. Перед нами раскрывается официальный курс воспитания членов Императорской фамилии, будущих или потенциальных правителей России. Воспитание было довольно строгим и целенаправленным. Помимо общего образования и традиционной военной службы, исключительное внимание уделялось воспитанию в духе строгого патриотизма — ведь им предстояло стоять у самого кормила власти и, значит, они должны были отличаться особенной чистотой и точностью взгляда на русскую историю и на русскую политику. Поэтому для них тщательно отбирали специальных, проверенных наставников и преподавателей. И вот как выглядит тот умственный и нравственный

багаж, который Великий Князь Александр Михайлович мысленно перетряхивает, стараясь быть лучше:

«...Мой духовный актив был отягощен странным избытком ненависти... Не моя вина была, что я ненавидел евреев, поляков, шведов, немцев, англичан и французов. Я осуждал православную церковь и доктрину официального патриотизма, которая вбивалась в мою голову в течение двенадцати лет учения, — за мою неспособность относиться дружелюбно ко всем этим национальностям, не причинившим мне лично никакого зла.

...Мой законоучитель ежедневно рассказывал мне о страданиях Христа. Он портил мое детское воображение, и ему удалось добиться того, что я видел в каждом еврее убийцу и мучителя. Мои робкие попытки сослаться на Нагорную Проповедь с нетерпением отвергались: “Да, Христос заповедал нам любить наших врагов, — говаривал о. Георгий Титов, — но это не должно менять наши взгляды в отношении евреев”.

...Император Всероссийский не может делать разницы между своими подданными не евреями и евреями, — писал Император Николай I на всеподданейшем докладе русских иерархов, которые высказывались в пользу ограничений евреев в правах, — он печется о благе своих верноподданных и наказывает предателей. Всякий другой критерий для него неприемлем. К несчастью для России, способность моего деда “мыслить по-царски” не была унаследована его преемниками... Мне нужно было гораздо больше усилий, чтобы решительно преодолеть в моем характере ксенофобию, посеянную в моей душе преподавателями русской истории... Мои “враги” были повсюду. Официальное понимание патриотизма требовало, чтобы я поддерживал в своем сердце огонь “священной ненависти” против всех и вся...»

Конечно, это не значит, что вся русская школа и православная церковь только так и воспитывали поколения русских людей — в явном противоречии с общечеловеческой и христианской моралью. Но приведенный пример официального воспитания показывает, что такое великодержавная ксенофобия и как далеко разошлись между собою и не могли поладить «человек» с Великим Князем. И, разумеется, русская интеллигенция все больше оказывалась не на стороне Великого Князя, а на стороне человека. Тем более революционная среда. На проявления национализма и ксенофобии, на доктрину Великой и Неделимой России она ответила в конце концов — Интернационалом.

А когда рухнула империя, а затем рухнула и демократическая республика и к власти пришли большевики, им пришлось заново решать национальный вопрос, который оказался совсем не таким простым, как это представлялось раньше, до революции. Оказалось, что классовая борьба всего не решает. Оказалось, что освобожденные народы вовсе не спешат, а то и совсем не желают кинуться в объятия Советской России, что на окраинах бывшей империи начинает складываться своя, национальная государственность под флагами разных стран, партий и армий. Требовалось вновь собрать эту рассыпавшуюся страну — под флагом единой центральной власти — собрать военным, дипломатическим и идейно-пропагандистским путем.

В восстановлении и в расширении этой империи под именем Советского Союза можно выделить два этапа. Собственно и в решении национального вопроса советской государственной властью мы находим те же два этапа. Первый назовем условно ленинским или интернационалистическим. Второй — сталинский или шовинистический. Но хочу оговориться, здесь нет строгой исторической и даже строгой идеологической

границы. Потому что принципы ленинского интернационализма продолжали действовать достаточно долго и после смерти Ленина. И даже в каком-то побледневшем или искаженном виде проявляются и сейчас. Как, впрочем, одновременно с ними до сих пор действуют и сталинские шовинистические тенденции. И все же эти два этапа или два разных подхода к национальной политике достаточно различимы в советской истории и в психологии советского человека.

Первый этап собирания и укрепления советской империи проходил под знаменем интернационала, под знаменем международного братства трудящихся, под лозунгом свободы и равноправия всех национальностей, вплоть до свободы устраивать по-своему свою государственную жизнь или устанавливать свою государственную принадлежность. Сами по себе эти идеи весьма возвышенны и благородны. Свобода, мир и братство всех народов земного шара — давняя мечта лучших умов человечества. И они оказались особенно привлекательны в условиях бывшей Российской империи и в ситуации конца мировой войны, показавшей всю отвратительность межнациональной розни и шовинистических претензий. К тому же идеи Интернационала сулили что-то действительно новое и всемирно-прекрасное, чего еще никогда не было на свете. И, конечно, этим всемирным идеям ничего достойного не могли противопоставить сторонники бывшей, единой и неделимой России. И это, кстати сказать, обеспечило большевикам сравнительно большую, нежели белым генералам, симпатию и поддержку и со стороны малых наций, и со стороны левой западной интеллигенции и рабочих, и со стороны колониальных и полуколониальных народов.

Но идеи интернационализма таили в себе ряд непредвиденных и скрытых опасностей, многие из кото-

рых проявились и были осознаны лишь позднее. Первая из них — была угроза распада Российского государства, и ее раньше всех остро почувствовали сторонники белого движения. Но и большевикам этот распад был выгоден лишь до определенного момента и в определенных пределах. Они вызвали джина из бутылки и должны были с ним справиться.

Вторая опасность, которую большевистский интернационализм нес всем народам, — это предложение устроить у себя то же самое, что было устроено в России. То есть национальную рознь заменить социальной рознью внутри каждой нации и пролить новые моря крови и начать новые притеснения по классовому признаку. Таким образом, прекрасный лозунг — мир народам — предполагал самую ужасную внутреннюю войну: брат на брата.

Третья опасность, также угрожающая всем народам, была потеря национального лица, отказ от национальных корней и традиций и растворение в интернациональном, безнациональном море.

Четвертая опасность для малых наций — вновь попасть под власть или под влияние какой-то сильной и ведущей нации в этом интернационале. То есть вновь оказаться в тисках империи, только созданной по интернациональному принципу.

Ведь при всем формальном равноправии наций реально-то нации не равны по силе, по территории, по экономике, по культуре. Формального же равноправия верноподданных наций, мы знаем, старались придерживаться и русские цари. Во всяком случае — в идеале. В оде Екатерине Державин рисует Российскую Империю как идеальное царство, как своего рода «интернационал», собравшийся вокруг русского престола. И Державин мечтает, чтобы и все другие народы подчинились Екатерине и пришли под ее высокую и

добрую руку. Ибо Екатерина в своем правлении является «небесну благодать во плоти» и заботится о счастье всех граждан, без различия национальностей, и если они послушны, дарует им свободу и самоуправление. Державин мечтает, чтобы даже далекие индейцы и другие дикари стеклись в эту всемирную, интернационалистическую Империю:

Чтоб дики люди, отдаленны,
покрыты шерстью, чешуей,
Пернатых перьем испещренны,
Одеты листьем и корой,
Сошедшись к ее престолу,
И кротких вняв законов глас,
По желтосмуглым лицам долу
Струили токи слез из глаз.

Струили б слезы, — и блаженство
Своих проразумея дней,
Забыли бы свое равенство
И были все подвластны ей...

А Императрица в оде Державина отвечает благосклонно всем племенам и народам, к ней притекающим:

Я вам даю свободу мыслить
И разуметь себя ценить,
Не в рабстве, а в подданстве числить...

Дело в том, что сама Империя, если она хочет сохраниться надолго, вынуждена исповедовать более или менее относительный «интернационализм» и утверждать, что все поработенные народы присоединились к ней добровольно.

Великий аналитик и философ деспотического государства итальянец Макиавелли писал своему Князю в виде назидания, опираясь на опыт Великой Римской

Империи (напомню, кстати, что Макиавелли очень любил и ценил Сталин): «Какую бы страну римляне ни занимали, они делали это по призыву туземцев».

Делалось это всегда ради иллюзии добровольного «присоединения» туземцев, которым потом внушали десятилетиями, а иногда и веками: вы же сами этого захотели, вы нас попросили о братской помощи. А если теперь идете на попятную, значит, вы изменники не только по отношению к нам, которые вас облагодетельствовали, но и изменники собственному слову, собственному народу. Таким образом, зачатки «интернационала» коренятся в глубине мировой истории, в истории Великих Империй. И интернационализм, так же как национализм, может стать и становится иногда оправданием империализма. Гениальная формула Макиавелли о том, что все захваты надо совершать якобы по призыву самих туземцев, так универсальна, что действует от начала Римской империи, и так актуальна, что работает до сегодняшнего дня, когда советские войска оказываются в Афганистане по просьбе афганского правительства и афганского народа.

Я вовсе не хочу сказать, что советский, коммунистический интернационализм с самого начала был один только пустой обман или форма для восстановления прежней, многонациональной российской империи. Хотя, конечно, на путь восстановления империи и захвата все новых и новых земель толкала уже сама идея мировой революции и идея единого, всемирного социалистического государства. Но это был империализм нового типа — не ради пользы и преобладания какой-то одной нации над другими, а ради всеобщей, всенациональной пользы и всенационального братства под сенью социализма.

Многие царские офицеры, сторонники Русской

великодержавной государственности, стали служить верой и правдой Советской власти только потому, что увидели в ней единственную реальную возможность восстановления Российской Империи. В дальнейшем, после гражданской войны, некоторые деятели белого движения, воевавшие против Советской власти, также перешли на ее сторону — опять же из национально-государственных соображений, из расчетов на Великую и Неделимую Россию. Для них интернационализм большевиков был лишь временной, преходящей и тактической формой великодержавия. Но для самих большевиков на первом этапе советской истории это было совсем не так. Для истинных коммунистов интернационализм был и остается не формой, а главным содержанием борьбы, единственно возможным путем в коммунистическое будущее и единственно возможным решением национального вопроса.

Для самих себя коммунисты в первые годы революции часто избирали позицию безнациональную, или вненациональную, или сверхнациональную, и это было проявлением их интернационализма. Вообще, для всякого настоящего революционера, в особенности для революционера марксистской выучки, его собственная национальная принадлежность не играет существенной роли, даже порою им третируется. Для него проявлять пристрастие к своей национальности — все равно, что проявлять личный эгоизм или своекорыстие там, где ничего личного быть не может. Ведь революционер живет и горит высшей, универсальной идеей освобождения всего человечества. И в принципе он готов принять участие в освобождении любого народа, в любой революции, ибо интернациональное для него выше национального.

В отказе от своей национальности, в стремлении жить интересами другой нации было даже что-то при-

тягательно-романтическое. Ведь романтизм всегда связан с понятием дальнего. И вот начинается любовь не к своим ближним, а к дальним. В данном случае — к дальним народам. В особенности к тем, которые больше всего страдают под гнетом империализма — к неграм, китайцам, индусам и т. д., которых должна освободить мировая революция.

Но тяга к безнациональному сознанию — лишь одно из проявлений интернационала, которое порой сопровождается совершенно иными и даже противоположными чувствами и тенденциями. Как ни странно, в каких-то кругах и слоях населения интернационал способствовал подъему национального чувства и национального достоинства. Это касается многих народов, в том числе и русского. Создается парадокс. Интернационал призван был упразднить русский национализм, предложив совершенно иной путь, иной способ объединения наций, нежели старая Империя с ее великодержавным шовинизмом. Но параллельно революция подняла престиж русского и России и в собственных глазах, и в глазах всего мира. Из отсталой нации русские вдруг стали самой передовой. Победив в гражданской войне, эта нация как бы взяла реванш за все — за Цусиму, за поражения в войне с Германией, за вековую нищету и невежество. Конечно, при этом у нее отнимали чуть ли не всю национальную старину, религию, традиции и даже само название «Россия». Но взамен давалось ощущение национальной силы и самой широкой всемирной перспективы. Вместе с революцией, вместе с интернационалом национальное русское чувство приобрело характер русского мессианства. И сам партийный гимн «Интернационал» стал для многих звучать как русский гимн. Тут уже содержалась в зародыше предпосылка к перерождению интернационализма в великодержавный национализм. Но в 20-е

годы интернационал играл другую роль. Он был призван вернуть доверие малых народов страны к общероссийскому центру, к объединению в рамках целостного государственного тела. Большевики отрещивались от прошлого России, проклиная все завоевательные войны, которые вел царизм, всю эту великую империю, которая была «тюрьмой народов» и оставляли из этого прошлого почти исключительно историю революционно-освободительной борьбы. Теперь «тюрьму народов» должен был сменить добровольный союз национальных республик. Большевиками владела благородная и искренняя вера в то, что на базе интернационала можно и должно построить многонациональное государство.

Принцип добровольности был подчеркнут особым пунктом партийно-государственной программы, пунктом о праве наций на самоопределение, вплоть до отделения. Этот пункт и до сих пор существует в Конституции Союза Советских Социалистических Республик, хотя давным-давно превратился в пустую формальность. Потому что на деле не только реальная попытка отделиться, но любой разговор о самоопределении какой-то республики или об ее отделении от Советского Союза карается как антисоветская агитация или измена Родине. Но вначале это было не так или не совсем так. И не кто-нибудь, а именно Ленин особенно настаивал и на этом пункте, и на реальном праве национальной республики на самостоятельное государственное существование. Вот, например, одно из высказываний Ленина по этому вопросу:

«Как интернационалисты мы обязаны, во-первых, особенно энергично бороться против остатков (иногда бессознательных) великорусского империализма и шовинизма у «русских» коммунистов (слово «русский» здесь у Ленина взято в кавычки, потому что по-

добные «великорусские» замашки могли проявляться и у нерусских формально товарищей вроде грузина Сталина. — А. С.), во-вторых, мы обязаны именно в национальном вопросе, как сравнительно маловажном (для интернационалиста вопрос о границах государства вопрос второстепенный, если не десятистепенный), идти на уступки. Важны другие вопросы, важны основные интересы пролетарской диктатуры... Важна руководящая роль пролетариата по отношению к крестьянству; гораздо менее важен вопрос, будет ли Украина отдельным государством или нет. Нас несколько не может удивить — и не должна пугать — даже такая перспектива, что украинские рабочие и крестьяне перепробуют различные системы и в течение, скажем, нескольких лет испытают на практике и слияние с РСФСР, и отделение от нее в особую самостоятельную УССР (т.е. Украинскую Советскую Социалистическую Республику. — А. С.), и разные формы их тесного союза и т.д. и т.п.

Пытаться наперед, раз навсегда, «твердо» и «бесповоротно» решить этот вопрос было бы узостью понимания или просто тупоумием».

Может показаться, что Ленин обнаруживает здесь необыкновенную широту и терпимость в понимании национального вопроса. Однако это не так. Коммунист не может быть терпимым. И в данном случае Ленин готов идти на любые уступки в смысле положения Украины — в пределах СССР или за его пределами, но при одном непреложном условии — что там сохраняется диктатура пролетариата. А диктатура пролетариата, как мы уже знаем, — это диктатура партаппарата и его вождей. Причем и партия, и аппарат, и вожди должны быть интернационалистами, т.е. сохранять верность и преданность Советской России. В противном случае — какие же они коммунисты, какая же это

диктатура пролетариата? А если бы они вознамерились строить свою Украину по каким-то иным, некоммунистическим принципам, они стали бы «буржуазными националистами» и никакого в этом роде самоопределения или отделения Украины Ленин бы не допустил.

И все же Ленин проявлял большую гибкость в национальном вопросе и большое доверие к местным, национальным партийным кадрам — именно потому, что был убежденным интернационалистом. Поэтому он предоставлял республикам большую самостоятельность при том условии, разумеется, что они идут общим для всей страны путем. И потому же он всячески предостерегал от опасности великорусского шовинизма и требовал от коммунистов господствующей нации максимальной уступчивости в пользу меньших наций.

Ленин разъяснял в своих статьях и выступлениях, что если не делать каких-то уступок малым нациям, то они не придут в лоно социализма и будут постоянным очагом недовольства и сопротивления, и тогда нужно будет вернуться к старой великодержавной практике подавления национальных окраин, чего Ленин как интернационалист, безусловно, не хотел. Потому-то он так и боролся против имперского, великорусского духа, который вольно или невольно проявляли порой другие коммунисты русского и нерусского происхождения.

По складу ума, по масштабам деятельности, по склонности к централизованной власти Ленин на самом деле был великодержавником, а не федералистом. Но он соглашался на уступки федерализму, с тем чтобы создать Империю, новую, интернационалистическую и потому прочную Империю. Эти уступки ничем не грозили единству, а напротив его укрепляли, и одновременно превращали Советский Союз в некую иде-

альную модель будущего коммунистического мироустройства, в прообраз всечеловеческого Интернационала. И Ленину требовалось, чтобы этот прообраз был настолько прекрасен, настолько свободен от национальных разногласий, что весь мир устремился бы к подобной гармонии. Вот поэтому столько внимания было отдано малым нациям.

Вместе с тем, на мой взгляд, это в каком-то смысле было концом национальных культур и национальной самобытности народов. Давая простор многонациональному развитию, Сталин сказал: это — культуры, национальные по форме и социалистические по содержанию. И в данном случае Сталин ничуть не отступал от Ленина, а тоже выразил идею пролетарского интернационализма. Эта формула действительна в Советском Союзе и до сих пор. Она кому-то может показаться даже приемлемой. Социалистические по содержанию — значит, единые в самом главном, в своем существе, притом единые на высшей стадии человеческого единства: на стадии равноправия, братства и взаимной любви. И вместе с тем «национальные по форме» — что предполагает разнообразие и невероятное богатство внутри этого единства.

Но если вдуматься, то эта классическая формулировка раскроется в своем самом ужасном образе. А именно: национальное — всего только форма. А содержание лишено национального и предполагает единый, социалистический стандарт. Практически это означает, что можно и надо на украинском, грузинском, французском, английском, чувашском и всех прочих языках прославлять коммунизм и партию Ленина-Сталина. А также прославлять «дружбу народов», которые разнообразны по форме, но едины по содержанию.

Кроме языка, под словом «форма» («национальная

форма») подразумеваются и допускаются некоторые, весьма ограниченные этнографические подробности в виде, допустим, лирического воспевания местонахождения этого народа: «ах, мой Дагестан!», «ах, моя Фергана!», «ах, моя прекрасная Камчатка!» А также под словом «форма» имеются в виду национальный костюм и свое музыкальное и танцевальное сопровождение. В итоге все это национальное разнообразие отливается в форму ансамбля песни и пляски — украинского, грузинского, казахского и т.д., — который приезжает в Москву и в очередной раз демонстрирует свою преданность коммунизму и свою благодарность партии и правительству за национальную независимость. Весь интернационал сводится к декорации и к возможности на любом языке произносить одни и те же, узаконенные Москвою социалистические лозунги. И это вполне естественно вытекает из ленинской национальной политики. Ведь в основе-то всего, в содержании — «диктатура пролетариата». А там сколько хочешь пляши и пой по-национальному вокруг этой диктатуры.

Даже в старой Российской Империи малым нациям и национальным культурам позволялось существовать более самобытно. Да, безусловно, в царской Империи малые народы испытывали угнетение и притеснение со стороны великодержавия, теряли собственное достоинство, нищали и вырождались. Но они сохраняли в национальном быту не только форму, но и содержание — в виде своего уклада, своей религии, своего фольклора, своего образа хозяйствования. А теперь представьте социалистические малые нации в интернациональной Империи, лишенные своего содержания. Казахи, например, которые веками кочевали по своим степям, прикреплены к земле и организованы в колхозы, в результате чего половина казахов вымерла, хотя у них и есть своя Казахская социалистическая республика.

Цыганам, которые не имели никогда и не имеют никакой республики, просто запретили передвигаться и рассовали по колхозам, там, где их застал указ об этом запрещении. Маленьким сибирским народам послали докторов, чтобы лечить от трахомы и от других болезней, послали учителей, но, цивилизовав, по сути дела уничтожили эти народы.

Мы знаем, что во всем мире в XX веке цивилизация нивелирует нации и стирает самобытность. Но в советской цивилизации происходит нечто другое. Скажем, сибирские народы не просто цивилизовали, но чтобы их цивилизовать, всех шаманов, носителей языческой религии и фольклора, просто-напросто уничтожили. Фольклор сибирских народов — один из самых удивительных в мире — навсегда остался не собранным. Его ликвидировали физически, для того чтобы всех привести к социалистическому содержанию. Зато представители малых народностей получили полное право учиться и, если выучатся, занимать любые должности — стать инженером, или профессором, или секретарем обкома. В смысле индивидуальной карьеры эти народы выиграли. Но как-то я спросил одного якута, который стал профессором филологии и одновременно занял высокий партийный пост в своей Якутии, — возможно ли теперь у них найти шамана, чтобы собрать якутский фольклор. Так он просто заплакал. И не то чтобы он был особо привержен к своей языческой старине или к шаманам. А от сознания, что его народ потерял свою национальность.

Так что ленинский интернационализм, дав права малым нациям, вместе с тем даже, может, сам того не желая, вел к уничтожению этих наций. И интернационализм на каком-то этапе закономерно обернулся великодержавным шовинизмом, с которым он воевал-воевал, но побороть не смог, поскольку сама идея ин-

тернационала как идея мирового господства была чревата практикой тотальной коммунистической диктатуры. Уже задача восстановления и создания империи на основе централизованной власти коммунистической диктатуры вела к великодержавию. Переход от интернационализма к русскому шовинизму был неизбежен: это было спонтанное развитие той же политики на следующем историческом этапе. И переход от крайности интернациональной в крайность националистическую поначалу даже не был особенно заметен.

Постараюсь пояснить это на примере стихотворения Маяковского «Нашему юношеству», которое обращено к юношеству национальных меньшинств, населяющих Советский Союз. Маяковский — честный и последовательный революционер-интернационалист — радуется многонациональному братству, которое служит прообразом всемирного коммунизма. И радуется, что каждый народ проявляет свое национальное достоинство, свою национальную самобытность. Но его тревожит, что по своему языку эти нации и республики слишком оторваны друг от друга, что им недостает какого-то интернационального, объединяющего начала. И в качестве такого объединяющего начала он предлагает им равняться на русский язык и на Москву как на политический центр мирового братства трудящихся:

Товарищи юноши, взгляд — на Москву,
на русский вострите уши.

И далее поясняет, почему именно русский язык так важен. Не потому, что русский народ выше, больше и лучше других наций. И не потому, что он, Маяковский, по своей национальной принадлежности — русский. От собственной национальной принадлежности он готов даже отказаться как истинный интернационалист. Важно другое:

Да будь я
и негром преклонных годов,
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин.
Когда
Октябрь орудийных бурь
по улицам
кровью лился,
я знаю,
в Москве решали судьбу
и Киевов
и Тифлисов.

Маяковский предлагает в качестве образца для подражания не Россию и не русский язык вообще, а язык Ленина. Приоритет, отданный здесь русскому языку и Москве, объясняется исключительно тем, что именно Москва и именно Россия стали центром мирового интернационала. И чтобы сохранить этот интернационал, чтобы продолжить дальше дело мировой революции, оказывается, необходимо великодержавие. Отныне, начиная с Октябрьской революции, русский язык становится международным кодом интернационализма.

Маяковский писал в стихах детям — писал в шутку и вместе с тем всерьез: «Начинается земля, как известно, от Кремля». Или, как впоследствии в эпоху Сталина было сказано о русском народе — «первый среди равных». Если бы не было этого «первого» среди «равных», то распался бы весь бы мировой интернационал, как распался бы весь «коммунизм», если бы не «диктатура пролетариата». Итак, уже внутри самого интернационала идея «диктатуры пролетариата», идея диктатуры одной партии естественно переходит в диктатуру одной нации, в диктатуру Москвы.

Короче говоря, чтобы интернационал осуществился, — необходимо великодержавие.

Историк и философ Федотов, впоследствии эмигрант, а в 20-е гг. очевидец этих процессов в Советском Союзе, отмечал, что «партия неуклонно русеет» после смерти Ленина, что интернационализм, разлагаясь, выделяет из себя национализм. В середине 20-х гг. на высших партийных инстанциях начинается очистка, как тогда говорили, от «заевреивания кадров». К 27-му году, наиболее видные партийные лидеры еврейского происхождения были выведены из состава Политбюро, а за последующие 10–20 лет — и из состава ЦК. Конечно, прямой антиеврейской или русификаторской кампании еще не проводилось. Но в стране в это время вообще происходила смена руководящих партийных кадров. Складывался «новый класс», по терминологии Милована Джиласа, и основу этого служилого класса составляла уже не революционная элита, а консервативный середняк, человек массы. И формировался этот класс в основном из национального большинства, из русских и отчасти из украинцев. А евреи и латыши, игравшие такую заметную роль в первые годы революции, теперь, в 30-е годы, сходили со сцены.

В 34-м году в связи с кампанией вокруг парохода «Челюскин» и всей челюскинской эпопеей Сталин торжественно произносит уже достаточно забытое к тому времени слово — Родина. Это слово прозвучало неожиданно, поскольку раньше вся официальная идеология и все советское воспитание строились на том, что советский человек в своих эмоциях и поступках руководствуется любовью к революции и коммунизму, чувством братства и солидарности с трудящимися всех стран, а не любовью к своему отечеству и к своему национальному корню. Понятия «отечество», «родина», «патриотизм» относились к миру призраков дорево-

люционного прошлого и несли отрицательный привкус старой, царской России. И вдруг все эти слова пришли в движение и получили высшую санкцию — от самого вождя партии и государства.

Не случайно начало этого патриотического подъема падает на 34-й год. К этому году закончилась коллективизация, т.е. раскулачивание и закабаление деревни. По сути дела, народ лишился земли, лишился своего национального крестьянского уклада, национальной почвы и лица. И вот взамен утраченной окончательно почвы начинается игра на национально-патриотических чувствах народа, который объявлен самым великим, могучим и счастливым народом в мире. Лживая и мишурная патриотическая идеология призвана возместить действительные и роковые национальные утраты.

Отныне мы будем идти вперед не под знаменем Интернационала, а под знаменем — Родины. Это слово лучше отвечало примитивному сознанию нового служилого класса с его жаждой хозяина, с его рабскими замашками и одновременно с его чувством возросшего собственного достоинства. Человек, шагнувший, по русской поговорке, «из грязи в князи» и исполняющий роль холопа при своем Государе, компенсирует себя сознанием, что он патриот и верно служит своей великой отчизне.

В 37-ом году с патриотической помпой отпраздновали 125-ую годовщину Бородинского сражения, тогда появились знаменательные по стилю и лексике статьи в советских газетах. Это был не просто юбилей, не просто память о великой битве, а символ веры 37-го года:

«В 1812 году солдаты русской армии, несмотря на то, что они были крепостные, показали всему миру мощь великого русского народа, восставшего как один против иностранных захватчиков... Столетиями

будет чтить народ это величайшее дело патриотизма!»
 («Вечерняя Москва»)

Казалось бы, ничего особенного. Действительно, Россия в конечном счете одолела Наполеона. Действительно, русские солдаты показывали чудеса храбрости, хоть и были, в основном, крепостными. Новое и странное состояло в другом: в том, что классовые противоречия должны были уступить место национальным чувствам. Вследствие чего русский народ, независимо от крепостного права, независимо от помещиков, независимо от царского гнета, независимо от своей социально-экономической отсталости — то есть независимо от всей марксистско-ленинской концепции истории — все равно оказывался самым великим и самым могучим народом. Выходило, что в истории действуют и побеждают не классовые, а национальные факторы. Выходило, что русский народ изначально сильнее и лучше всех других народов.

И тогда же, в нарушение всех марксистских и революционно-пролетарских традиций, газета «Правда» прославляет фельдмаршала Кутузова и помещает его портрет в царских орденах. Это первый, после революции, торжественный портрет царского генерала, который отныне должен «вечно жить в сердцах трудящихся». До сих пор «в сердцах трудящихся» вечно жили лишь великие революционеры или стихийные бунтари, вроде Спартака, Степана Разина и Емельяна Пугачева. И вдруг какие-то царские полководцы, которые всегда считались врагами трудящихся и страшными реакционерами, тоже входят в знак достоинства «советского человека» и «советского народа». Интернациональные «классовые принципы» отступают перед национальным величием героев, которые становятся символами Российского и Советского великодержавия.

Своего расцвета русский великодержавный национа-

лизм и шовинизм достиг в конце 40-х – в начале 50-х гг. Это связано с необыкновенно возросшей военно-политической мощью Советского Союза в результате разгрома Германии и восточно-европейских приобретений. Требовалось держать все эти завоеванные и зависимые страны в твердой узде. К шовинизму толкала и дальнейшая агрессивная политика Советского Союза, подготовка к новой войне, холодная война с Западом, т.е. резким возрастанием антизападных настроений. Пропагандная задача состояла в том, чтобы вчерашних добрых союзников — англичан и американцев — представить страшилищами и пособниками фашизма. Вместе с тем, захватив пол-Европы, требовалось не допустить проникновения европейского воздуха в Российскую метрополию. Необходимо было также идеологически и психологически компенсировать страшные жертвы и потери, понесенные во время войны, и пышной фразеологией прикрыть низкий жизненный уровень в стране. Этот низкий уровень особенно бросался в глаза офицерам и солдатам после знакомства с жизнью Европы, откуда они возвращались домой, в свою нищую Россию. И вот начинается патриотическая истерия, безграничное — до небес — самовосхваление.

В подмене интернационализма великорусским шовинизмом многие винят Сталина. И Сталин, действительно, приложил к этому руку весьма заметно и повел страну националистическим курсом. Сталин был русоцентристом. Дочь Светлана о нем пишет: «Отец любил Россию очень сильно и глубоко, на всю жизнь. Я не знаю ни одного грузина, который настолько бы забыл свои национальные черты и настолько сильно любил все русское».

Но я полагаю, проблема сложнее и глубже. Ленин тоже любил Россию и тем не менее был противником

великодержавного шовинизма и за это, в частности, критиковал Сталина. Может быть, именно потому, что Сталин все же недостаточно обрусел и слишком хорошо помнил свое грузинское прошлое, он всячески старался от него отрешиться. Сначала как интернационалист, которому не пристало выпячивать свое национальное происхождение. А затем, позднее, потому, что, став единовластным вождем огромной советской Империи, он в этой роли не мог и не хотел проявлять себя грузином.

Нерусское происхождение Сталина, безусловно, задевало какие-то больные струны в народе. И Сталин, как тонкий психолог, это прекрасно понимал и не хотел быть грузинским царем в России, а хотел быть русским царем, императором всея Руси. Кстати, вероятно именно поэтому он любил в своих публичных выступлениях щегольнуть старинной русской поговоркой или популярной цитатой из русских классиков. И произносил с особым ударением, с мудрой задумчивостью: «ны Богу свэчка, ны черту кочерга». А грузинскими словечками и цитатами не баловался, не щеголял. С него хватало его грузинского акцента.

Но это не было притворством. Сталин искренне считал, что служит интересам всей империи и в первую очередь России, русскому национальному большинству, и что он не вправе оказывать какое-то предпочтение Грузии. Существует версия, что некий дошлый историк, желая, очевидно, подольститься к Сталину, на основании смутных, еще при царевне Софье, рассказанных сплетен, сочинил и представил доклад о том, что Петр Первый был незаконным сыном грузинского посла, царевича Вахтанга. И, говорят, Сталин написал на этом докладе следующую резолюцию: «Великий человек принадлежит той стране, которой он служит».

И так же он относился к самому себе. В этом, надо

сказать, он поступал как дальновидный политик, с учетом всей партийной и исторической конъюнктуры. Конечно, Сталин — как и другие советские вожди — не мог окончательно порвать с интернационализмом, по крайней мере, в открытую. Такое грубое нарушение марксистских заповедей затруднило бы управление Империей и помешало бы контакту с братскими странами и компартиями в мире. Но Сталин взял курс на еще большую централизацию власти, на партийного середняка-бюрократа, на русский шовинизм. Эта его политика партийного строительства очень отличалась от ленинской. При Сталине в 30-е гг. начинается интенсивная русификация национальных окраин и решительное подавление местного национализма, от чего, мы знаем, предостерегал Ленин, говоря, что местный национализм менее опасен, чем великодержавный. Сталин переменял правила игры, переместил понятие главной опасности. Отсюда его страшные расправы с неугодными народами. Говорят, что Сталин после войны высказывался в том духе, что он и украинцев охотно бы выселил с Украины в отдаленные места за их недостаточную привязанность к Москве и к Советской власти, не будь их слишком много.

Однако и помимо воли Сталина существовали и существуют предпосылки, которые толкают советскую цивилизацию, советскую Империю от интернационализма к шовинизму.

Интернациональное братство, как оно было задумано вначале, не удалось. И потому, что вообще народам не очень-то удается жить в дружбе, тем более в рамках одного государства, что мы видим на примере многих стран. Тем более трудно жить в дружбе при диктатуре, при централизованной власти. Ведь социализм — это не только равенство и братство трудящихся и не только какие-то успехи в строительстве. Это,

помимо прочего, гнет, это идеологическая униформа, это отчуждение труда и в какой-то мере отчуждение национального лица. И хотя гнет исходит не от русского народа, а от какой-то всеобщей безликой государственной власти и распространяется на всех, все равно он связывается с центром, с Москвой, с русской властью. И тот аргумент, что русские при этом страдают не меньше, а порою больше других народов, здесь не помогает. На это у национального меньшинства существует контраргумент. Ну и пусть себе страдают, если они, русские, эту власть установили и ее терпят. Мы-то тут причем? И какого-нибудь казаха, у которого отобрали скот в колхоз, совсем не утешает сознание, что у русского крестьянина тоже все отобрали. Для него эти колхозы — выдумка русских. И даже политика Ленина в начале 20-х гг. — давать национальным окраинам большие привилегии по сравнению с центральной Россией — не принесла желаемых результатов, потому что, живя под диктатурой, человек все равно хочет свободы, в том числе национальной свободы.

В итоге, как отмечал Г.Федотов еще в 20-е гг.: «Интернациональный патриотизм большевистской партии, разлагаясь, выделяет из себя национализмы: как великорусский, так и меньшинственные, борьба которых сегодня подкапывает партию, завтра поставит во всей грозной остроте вопрос о единстве России».

Сталин в этой ситуации и сделал ставку на самый надежный национализм — великорусский. И с его помощью стал давить меньшинственные национализмы и решительно проводить русификацию национальных окраин.

Кроме того, ставка на мировую революцию провалилась, и даже отдельных революций в отдельных странах Европы не произошло. Идеология интернационала стала терять свою остроту и актуальность. Она

не привела к победе даже в Испании. И возникла новая политика — военных захватов, всякий раз, как для этого будет подходящая ситуация. В самом конце тридцатых Советский Союз, договорившись с Гитлером, насадил повсюду, где успел захватить власть, *свой* социализм, социализм под угрозой великодержавного штыка. Соответственно, в конце войны и после нее в этих вторично захваченных землях, которые немного уже хлебнули социализма, т.е. на Западной Украине и в Прибалтике, разгорелось настоящее вооруженное национальное сопротивление, партизанская война, жестоко подавленные чисто военным путем. А переход от идеи революции к идее военных захватов и военных переворотов закономерно приводил к замене интернационала шовинизмом, на котором только и может все это держаться.

В период Второй мировой или, как ее называют в России, Отечественной войны, очень скоро выяснилось, что на идеях марксизма и интернационализма войну с немцами не выиграешь. А необходимо апеллировать к другим чувствам и понятиям — к таким, как Родина, патриотизм, национальное спасение, национальные традиции — понятиям простым, порою примитивным, но вместе с тем достаточно глубоким и древним. Притом власти в основном взывали к этим чувствам русского народа, потому что он и составлял главную военную силу и, соответственно, нес самые большие потери. Разумеется, в советских войсках сражались и люди других национальностей. Они сражались и погибали не менее храбро, чем русские. Но русские составляли абсолютное большинство. А кроме того, по самой структуре советской армии в ней нет или почти нет национальных частей, составленных исключительно по национальному признаку. Представители отдельных наций вкраплены в русскую солдат-

скую массу и воюют не как армяне или как евреи, а как русские, растворяясь в этом большинстве. После войны Сталин провозгласил свой знаменитый тост «За великий русский народ!» Да еще среди прекрасных качеств русского народа, которые позволили победить, сослался на врожденное «русское терпение». Многих эта формула шокировала и шокирует до сих пор. Во-первых, назвав русский народ великим, Сталин отвел другим народам, населяющим империю, как бы второе место, что интернационалисту не пристало. Во-вторых, народное терпение — вовсе не достоинство с точки зрения революционера, марксиста, да и вообще с точки зрения свободной человеческой личности. И прежде достаточно много писали, что «русское терпение» — совсем не добродетель, а свойство раба, хотя были и другие авторы, христианского направления, которые порою видели в этом свойство народа-богоносца или страдальца. Но Сталин по-своему был прав. Во-первых, он льстил национальному самолюбию русского народа, ориентировал страну на великорусский национализм и подавал знак другим нациям сплотиться вокруг великого русского начала. Во-вторых, восхваление русского терпения означало, хотя Сталин, конечно, так буквально этого сказать не хотел, что на этом терпеливом народе можно ехать и дальше. Только нужно почаще называть его великим и героическим. Что Сталин практически и сделал в послевоенный период.

Добавим к сказанному, что предпосылка замены интернационализма великодержавным шовинизмом коренится в самом закрытом характере советского государства. Причем странность состоит в том, что это государство стало закрытым еще под знаменем интернационала и благодаря интернационалу. По этому поводу немецкий философ Вальтер Шубарт, противник

большевизма, но отчаянный русофил, писал: «Странная ирония истории: интернациональный марксизм, не признающий никаких национальных рамок, самым резким образом отграничивает Россию от всех остальных народов. Вопреки своим очевидным намерениям, он обновляет национальное чувство и распространяет его в слоях, ранее им не затронутых. Китайской стеной отделяет он Россию от заграницы. Никогда Россия не была так предоставлена сама себе, как теперь» («Европа и душа Востока», 1938 г.).

Но как развивать интернационализм в государстве закрытого типа? Ведь интернационализм предполагает постоянное общение народов и их взаимное узнавание, взаимное расположение, симпатии, а не только общие лозунги, выброшенные в мир. Советское же государство боится открыть границы. Народ, можно сказать, варится в собственном соку и выделяет национализм как единственный смысл собственного существования. О загранице у него самые превратные представления. Да и как может быть иначе? Помимо пропаганды тут важную роль играет сам фактор отчужденности от всего остального, несоветского мира. Общение простого русского человека с этим заграничным миром можно передать анекдотом о том, как француз, приехавший в Москву, обсуждает с русским транспортные проблемы:

— Утром, когда я еду на работу, — говорит француз, — я беру метро: и трафик, и парковаться трудно. На уикенд, в деревню, я еду на машине. А на каникулы, за границу, летаю на самолете.

Русский отвечает:

— У меня почти то же самое. На работу я тоже еду в метро. Летом на дачу я добираюсь на электричке. Ну а за границу? За границу я обычно выезжаю на танке.

Понятно, что в результате такой замкнутости и по-

стоянной вражды государства по отношению к Западу возникают всевозможные страхи и фобии. Возникает чувство своего невероятного превосходства, подчас основанное, как это ни странно, на сознании или неосознанном чувстве собственной неполноценности. Подобное явление хорошо известно психиатрам и многократно описано в литературе применительно к отдельной человеческой личности. Но такое же сочетание возможно в какие-то исторические периоды и в жизни отдельных наций, что мы и наблюдаем в советской цивилизации.

Однако развитие шовинизма вызывает ответную реакцию — ненависть к России и к русскому народу со стороны малых наций. Хочу заранее оговориться, что примеры, которые я приведу, представляют некую крайность национальной неприязни и не выражают целостного взгляда отдельного народа, отдельной нации на ее место в империи. Но по этим крайностям можно представить, в утрированном, карикатурном виде, что такое «дружба народов» Советского Союза и куда эта «дружба» может привести. Это выражение национальной нетерпимости заведомо несправедливо, как это вообще свойственно проявлениям вражды и нетерпимости, но советская Империя, да и русский народ, тоже проявляли и проявляют иногда достаточную нетерпимость к малым нациям. Так что выслушать ответные претензии полезно. И вместе с тем это позволяет представить, как сложен и как нелегко разрешается национальный вопрос в России и как вообще бывает трудно понять друг друга людям разных национальностей. Хотя в данном случае я приведу мои разговоры не с моими врагами, а с моими друзьями, которые не испытывали лично ко мне никакой неприязни. Но даже симпатизировали, поскольку я не был сторонником единой и неделимой России, а был готов всех отпус-

тить на свободу, предоставив каждой нации полную независимость, вплоть до отделения. Но мне хотелось, чтобы при этом между нами не стояла тень ксенофобии и сохранялась возможность культурного и просто человеческого контакта поверх государственных границ, которые нас разделят в утопическом будущем. То есть мне хотелось, чтобы русские не были пугалом для этих народов, а имели бы шанс на доверие и понимание. Но ничего не получилось.

Первый разговор — с прибалтом, с человеком западноевропейского типа и интеллекта. Он рассказывал мне об ужасах, которые творили над его народом советские чекисты, о дикостях русификации, о том, как понаехавшие в его родной город простые русские люди пишут похабные ругательства на старинных домах и на могилах его предков.

Я пытаюсь ему объяснить, что то же самое примерно творится в России, что русский народ глумился и над своими храмами и над своими могилами, и в этом не только он повинен, а советская идеология. Он мне резонно возражает: — Ну и глумитесь сколько угодно над своими могилами. Зачем вы к нам пришли? Я ему говорю: — Не мы пришли. А советское государство вас оккупировало. При чем здесь русский народ? А он мне возражает: — Если русский народ ни при чем, то пусть он и ведет себя по-другому, а не так, как советское государство.

Наконец, в качестве последнего довода, я его спрашиваю: — Но вы же хорошо знаете русскую культуру, любите русскую литературу! Так вот, если представить в виде утопии, что вы снова станете самостоятельной страной и войдете в Западную Европу, и Россия больше не будет вам угрожать захватом, и все страсти улягутся, какие-нибудь добрые слова России, ее культуре вы могли бы сказать? И он сказал — два добрых слова о России:

— Не знать и забыть!

Второй разговор — с украинским националистом, современным, интеллигентным. Я ему говорю, что будущая свободная самостоятельная Украина, о которой он мечтает, все же, надеюсь, сохранит какие-то духовные связи с Россией. Все-таки у нас есть что-то общее?

Он (с иронией): — Например? Что у нас общего?

Я (как можно мягче): — У нас общая колыбель. Киевская Русь, откуда вышла и Украина, и Россия.

Он: — Никакого отношения к Киеву Россия не имеет.

Я: — Да возьмите, пожалуйста, Киев себе. Не в этом же дело!

Он (перебивает): — Большое спасибо, что вы отдадите нам наш Киев!

Я: — Но в далеком прошлом из Киевской Руси вышла также русская культура, ушедшая на Север. Киевские былины записаны на русском Севере.

Он: — Вы не из Киевской Руси произошли!

Я: — Но откуда же?

Он: — Из мордовских болот!

Ирония состоит в том, что этот разговор происходил в Мордовии, в Мордовских болотах, в Мордовских лагерях, где мы с ним сидим. Но я понимаю, что он имеет в виду не эту буквально Мордовию, а финские племена, населявшие когда-то, еще до России, северные территории будущей Московии.

Я: — Но это же несерьезно! Все-таки русская культура, культура Московской Руси — это большая и сложная культура, и она не могла произойти исключительно из финских племен!

Он (смеется саркастически): — А вы еще уверяли, что вы не шовинист! А вот не хотите происходить из мордовских, финских племен! Значит, вы их презираете! Они для вас слишком ничтожны! Вы хотите непременно происходить из нашего Киева!

Я на него не обижаюсь. Потому что нельзя обижаться представителю большой нации на представителя малой нации, которая обижена нами, и потому ее несправедливость и нетерпимость прощительна. И перевожу разговор на другую тему, на Гоголя, которого в равной мере можно считать писателем Украины и России, который открыл, художественно открыл, Украину и русской литературе и всему миру.

Мой собеседник твердо заявляет: — Можете взять этого Гоголя, этого предателя себе! Он нам не нужен.

Оказывается, с его точки зрения Гоголь — предатель Украины, потому что писал на русском языке. Я пытаюсь объяснить ему, что именно поэтому Гоголь и сумел донести Украину до мирового сознания, до всемирного читателя. Что если бы тогда, в начале XIX века, Гоголь писал на украинском языке, он остался бы провинциальным автором и не сумел бы открыть Украину в общечеловеческом значении... Но вся эта моя логика и филология не имеют никакого успеха. Гоголь — предатель Украины, потому что писал на русском языке. Потому что уехал с Украины в Петербург и вместо Украины стал писать о России. То есть — перешел на сторону врагов...

Третий и последний разговор с мусульманином. Понятно, что он не любит русских, зная по преданиям старины о завоевании Кавказа и сам ребенком испытал депортацию, когда в товарном вагоне умерла его мать, его дед, его маленькие братья. И, естественно, я разделяю его горе, но стараюсь все же объяснить, что не все русские такие плохие, что русские тоже люди, а не звери. А кроме Корана существует, например, Евангелие, где высказаны высшие нравственные заповеди христианства. И вдруг выясняется, что для него равнозначны такие понятия как русские, большевики, христиане и европейцы. Я пытаюсь ему растолковать, что между

большевиками и христианами нет ничего общего. Но с его точки зрения это одно и то же: завоеватели, обманщики, убийцы, насильники... Но как же Евангелие? Однако это для него не довод. Христиане не придерживаются Евангелия. Вот мы, мусульмане, придерживаемся Корана и живем по правде. А Евангелие для христиан-русских-большевиков-европейцев только обман. И тогда я ему говорю, что многие народы совершали жестокости. Например, турки, хотя и магометане. У турок был обычай исключительно жестокой казни — человека сажали на кол. Так он мне не верит и говорит, что все это ложь, потому что магометанин не может совершать жестокие или безнравственные поступки, что все это нарочно выдумали собаки-христиане-большевики-европейцы-русские, чтобы скрыть собственную жестокость. Идеальный порядок для него, идеальное государство, помимо собственного народа, — это Арабский Халифат. И даже татаро-монгольское нашествие представляется ему в каком-то идеальном свете. А именно, маленькая кучка благородных рыцарей без всяких жестокостей, ради справедливости, завоевала громадную трусливую и зверскую Русь. И жаль, что не завоевала Европу... Я просто ушам своим не верил. Но это был действительно очень честный, добрый и умный человек. Просто Россия, соединяя в себе, в его глазах, христианство, большевизм и Европу, принесла слишком много несчастий его маленькому народу...

Вот почему так нелегко построить на земле настоящий Интернационал.

Мы — русские люди!..

Любой национальный характер, «душа народа», его национальная психология — это загадка, уходящая в далекое прошлое и требующая бесконечных ис-

следований. Я отважусь наметить лишь некоторые тенденции в русском национальном характере. Но хочу оговориться, что эти черты порою противоположны или направлены в разные стороны, либо так, что одно направление иногда исключает другое, либо, совмещаясь, они образуют причудливый и противоречивый рисунок. Представим это в виде какой-то схемы, заведомо неокончательной и не вполне определенной, поскольку эта сложная материя не укладывается в четкие и однозначные категории.

Итак, первое русское национальное качество я определил бы словом «патриотизм», как это слово ни истрепано в его пышном, советском употреблении и как оно ни тривиально. Разумеется, всякий народ любит свое отечество. Но у русских это носит подчас характер мистической привязанности к чему-то очень широкому и до конца не проясненному, даже необъяснимому. Русский патриотизм готов привязаться к чему угодно, лишь бы под этим чем-то подразумевалась или просвечивала родина. Это может быть «нищая Россия», которую любят за ее убожество, бедность, безответность. И это может быть «великая, могучая Русь». И стародавний девиз «За веру, царя и отечество!» может смениться другим девизом: «За власть Советов», «За мировую революцию!» или «За дело Ленина-Сталина!» Но в основе новых лозунгов порою бессознательно или скрыто проявляет себя патриотическая идея. Символы патриотизма меняются, но сама эта черта остается неискоренимой и не имеющей до конца рационального обоснования. Так что Сталин знал, что делал, нажимая кнопку с надписью «патриотизм», хотя крайне упростил и вульгаризировал это понятие.

Русский патриотизм далеко не всегда сводится к национализму, хотя вместе с тем достаточно часто национализм порождает и таковым питается. Но патрио-

тизм не равен национализму. Поэт Александр Блок, например, боготворил Россию, но не был националистом. Родина для русских порою настолько сверхличное и даже сверхнациональное начало, что переходит иногда в своего рода религиозное чувство. Государство использует это чувство и его эксплуатирует, но чувство это шире любых материальных идолов. Потому, кстати сказать, эти идолы меняются, а суть остается. И как это свойственно религиозному сознанию, русский патриотизм нередко граничит с мессианизмом. То есть состоит в том, что Россия несет или призвана нести в мир какую-то высшую идею. Какую именно — не всегда известно. Но непременно — высшую.

И другое уточнение. Хотя патриотизм и связывает русских в какую-то семью, эти семейные отношения далеко не идеальны и сопровождаются тяжелыми распрями и междоусобицами, что не свойственно в такой степени другим народам, воодушевленным национальной или патриотической идеей. Дружба русских между собою нередко кончается дракой. Притом дракой по идейным соображениям и даже из патриотических чувств — в зависимости от того, кто какое значение вкладывает в понятие «родина».

Другую национальную черту я назвал бы русской бесформенностью. Под словом «бесформенность» я не имею в виду непременно что-то дурное, ибо она выражается и в хороших, и в дурных проявлениях. Но сам национальный русский характер представляется мне несколько аморфным или не до конца сформировавшимся. По этому поводу В.Г.Короленко писал в своем дневнике в 1917 году, вскоре после Октябрьской революции: «Да, русская душа — какая-то бесскелетная. У души тоже должен быть свой скелет, не дающий ей гнуться при всяком давлении, придающий ей устойчивость и силу в действии и противодействии... Этого у нас нет или слишком мало».

Под скелетом Короленко имеет в виду нравственный императив, который заставляет человека стоять до конца на своих убеждениях и не поддаваться чужим влияниям. И ту же черту отмечает И. Бунин в дневниках того же периода начала революции, в условиях развалившегося фронта. В русском народе, пишет он, «...есть страшная переменчивость настроений, обликов, “шаткость”, как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: “Из нас, как из дерева, — и дубина, и икона”, — в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергей Радонежский или...» («Окаянные дни»).

Не случайно в обработке этого «дерева» такое большое участие приняли иноземцы: варяги, греки, татары, поляки, немцы. И, кстати сказать, эта сторонняя обработка или влияние давали порою блестящие результаты в сфере русской культуры.

Отсюда можно перейти к следующей особенности русского национального характера, которую Достоевский, а за ним и некоторые другие, называли «всемирной отзывчивостью» русской души. В своей знаменитой речи о Пушкине (1880 г.) Достоевский трактует Пушкина как фигуру пророческую, выразившую наиболее полно «дух русской народности». Суть этого духа в его тяготении «ко всемирности и ко всечеловечности». «Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только, в конце концов, стать братом всех людей, *всечеловеком*, если хотите». Конечно, это звучит слишком восторженно — в духе русского мессианизма, к которому был склонен Достоевский. «Всемирная отзывчивость» более характеризует русскую культуру, нежели русский быт и русского человека как такового. И все же мы наблюдаем порою, даже в быту простых русских людей, сравнительную терпимость к другим нациям. Русский народ — это на-

род европейский при всех своих азиатских чертах. Возможно, относительной национальной терпимости (я подчеркиваю — относительной) способствовали те обстоятельства исторической жизни, которые ставили русского человека в необходимость уживаться худо ли, хорошо ли с многочисленными племенами, населяющими Россию. Сама пестрота многонациональной жизни приучила глаз русского к известной широте, терпимости и к возможности вступать в тесные, а иногда и в дружеские контакты с людьми других наций. И хотя до «всечеловека» здесь весьма далеко, может быть, эта сравнительная открытость русской души помогает все же избегать слишком жестокой вражды с другими национальностями. Так что, может быть, русский народ в какой-то мере действительно играет роль мягкого компресса, с помощью которого государство угнетает другие нации. То есть, испытывая вражду к русским как к символу, к физической силе великодержавной империи, другие народы в русских людях могут видеть не просто непреклонных представителей господствующей нации, но обыкновенных людей с обычными человеческими недостатками и способностью понимать чужие, в том числе национальные несчастья.

Однако необходимо к этому прибавить другую, противоположную особенность русского национального характера, которая в нашей схеме будет как бы последним признаком русской души. Это как раз не открытость, а закрытость русского человека. Его способность удовлетворяться единственно тем, что он — русский (что означает — хороший). И, соответственно, его подозрительность к другим народам, которая находит выход в национальной нетерпимости, вплоть до ксенофобии. В русской психологии чрезвычайно укоренились представления «свой» и «чужой», «наши» и

«не наши». Вероятно, это восходит к патриархально-семейной старине, которая заставляла воспринимать человеческие отношения прежде всего под знаком родства и неродства. Этот человек из нашего рода или нет? из нашей деревни? из нашей губернии? — короче говоря, «свой» или «чужой»? «наш» он или «не наш»? Корни, очевидно, в глубокой древности. Известно, например, что некоторые маленькие народы Кавказа свое национальное название производят от понятия «свои» и «наши». Так что в буквальном переводе имя народа, которое он дает самому себе, — означает: «свои люди» или «наши люди».

В старинных русских сказках мы часто встречаем забавные обороты на тему «наши» — «не наши», «свои» — «чужие». Например, черти, в виде эвфемизма, называются словом «не наши». «*А потом прилетели не наши*»: означает — «*а потом прилетели черти*». «Наши» — это единственно русские. А, скажем, немецкий дух — это чужой, это нечеловеческий дух. И неслучайно в русском языке слово «немцы» — означает немые, то есть не умеющие говорить по-русски, «нелюди», иногда нечистая сила. И, соответственно, «татары» — это те, кто пришел из Тартара, из ада. А мы, русские, мы светлые, мы славные, мы православные, мы славяне.

Конечно, в современном советском обиходе все эти корни потеряны. Но продолжает существовать разделение на «своих» и «чужих». При этом, конечно, понятие «свой» носит весьма расплывчатый образ, который не имеет уже точного определения. И тем не менее этот образ всякий раз восстанавливается. Позавчера «свои» — это русские (или парни из нашей деревни). Вчера «свои» — это красные. Сегодня «свои» — это советские люди. Завтра «своими» могут стать белые или серо-буро-малиновые. Оттенки, играющие определен-

ную роль на определенном отрезке истории, — в принципе, в более широком смысле — не так важны. Важен принцип — свои или чужие.

Это настолько глубокий инстинкт, что им оперирует вся Советская власть, и разделение «свои» — «чужие» входит в самую психологию и в официальный язык советского государства. Когда допрашивали диссидента в КГБ, то ему очень часто сначала говорят: «Нет, вы — не наш человек!» А потом, желая склонить к раскаянию, говорили: Но вы же все-таки наш человек? Отвечайте: «наш» или «не наш»!» И хочется спросить: а почему я должен быть непременно «нашим» или «не нашим»? Но это незаконный вопрос. Потому что все человечество делится на «своих» и «чужих». И это коренится еще где-то в глубинах подсознания в виде разделительного вопроса: «русский» ты или «не русский»?

По этому поводу Хедрик Смит пишет: «В сущности, очень немногие русские вообще задумываются над вопросами: не лучше ли другой путь, не стоит ли до основания изменить существующую систему, подобно тому, как человек не задает себе вопроса, не сменить ли ему родителей. Матушка-Русь для них — незыблемая скала, якорь спасения. По-видимому, русским — я не говорю об инакомыслящих — редко приходит в голову, что их страна не столь уж добродетельна или что на ней лежит вина за преступления против нравственности. Чувство непогрешимости родины в них непоколебимо...» («Русские»).

Но, спрашивается: как такое разделение на «своих» и «чужих» совместить со всемирной отзывчивостью русской души, со способностью русского стать «всечеловеком»? Разумеется, это не совмещается, и русское национальное сознание колеблется — от приятия всех или многих наций (интернационал, всечеловечество) до неприятия никого, кроме русских (ксенофобия).

Ксенофобия — это крайняя точка в разделении «свои» и «чужие», и она не определяет в целом русский национальный характер. Но эта крайняя точка все же существует, и потому среди обиженных нами наций возникает иногда представление, что вообще все русские — это ксенофобы. Цитирую одно из таких высказываний: «...Русская литература... ни одного доброго слова не сказала о племенах, угнетенных под русской державой и руками своих первых (писателей) палец о палец не ударила в их защиту» (В.Жаботинский). Это — несправедливо. Был все-таки Лермонтов, писавший о горцах с глубоким уважением в разгар войны на Кавказе, был Лев Толстой, написавший «Хаджи-Мурат», был Короленко, выступавший в защиту вотяков...

Но, не соглашаясь с этим мнением, к нему необходимо прислушаться и попытаться понять, как сочетается всемирная отзывчивость русской души с ксенофобией? Я полагаю, что проявления ксенофобии у русских людей чаще всего связаны с чувством и сознанием собственной бедности, нищеты, неполноценности. То есть возникает типичное противоречие: мы, русские, лучше всех, потому что нам хуже всех. Но к этому прибавляется еще одно чувство — зависть. Это чувство особенно стимулировала революция и советская власть, раздувая огонь классово-борьбы. И вот неожиданно классовая вражда иногда проявляется в виде межнациональной розни, потому что какие-то нации и страны живут богаче и лучше, чем мы, русские. Это — взрыв ненависти к богатым странам именно за то, что они богатые, тогда как мы бедные. На низком, простонародном уровне приходилось слышать, когда, например, советские войска оккупировали Чехословакию: «И правильно сделали! И чего этим чехам надо было? Жили лучше нас, русских. И все им мало!»

Это — классовая зависть, переведенная на национальный язык.

Кстати говоря, уже давно русский народ воспринимал дворянство и вообще интеллигенцию как инородцев или как иностранцев. Различия в костюме, в языке, в манере поведения служили признаками «чужака», «не нашего». Барин для русского мужика — это в некотором роде иноземец. Иными словами — классовая неприязнь облекалась в национальную форму. И что-то похожее наблюдается в советском обществе, когда простой народ относится к интеллигенту как к инородцу. К зависти тут примешивается идея равенства. И если кто-то выделяется, значит, это не наш. Известны случаи, когда русского интеллигента принимали за еврея только потому, что он носил очки или много читал.

В условиях социального равенства и, вообще, унификации всей жизни любое индивидуальное отличие принимается за национальный признак. Действует та же система сравнений: свой — чужой. Одного молодого русского человека другой русский мужик постарше как-то спрашивает:

— Ты жид, что ли — что бороду отпустил?

Это звучит комично, потому что сравнительно недавно все русские мужики носили бороды. И бритье бороды почиталось признаком инородца (барина). И вот происходит обратное. Все русские бреются, а кто-то отпустил бороду. Значит, это инородец.

Понятия «свой-чужой» получили особое развитие в годы советской власти. В течение многих лет занимались тем, что выискивали, распознавали и уничтожали классового врага, на которого ложилось клеймо — чужой. А когда с классовыми врагами покончили, появился национальный враг. Любопытно, что первые признаки государственного антисемитизма проявляются вскоре после того, как ликвидировали последних

классовых врагов — кулаков, т.е. зажиточных крестьян. Классовую ненависть само государство стало переводить в рамки национальной вражды. И вот возникает новый, я бы сказал, классово-национальный враг — евреи. А вскоре после войны еврейский вопрос обостряется. И до сих пор остается острой национальной проблемой. Как если бы евреи были действительно главной опасностью и главной помехой в строительстве социализма.

С евреями связано множество предрассудков русских людей, и отношение к еврею в Советском Союзе, пожалуй, лучше всех выразил поэт Борис Слуцкий:

Евреи хлеба не сеют.
Евреи в лавках торгуют.
Евреи раньше лысеют.
Евреи больше воруют.
Евреи люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в райкопе...

Короче говоря, все было бы хорошо, если бы не было евреев. Евреи вдруг становятся каким-то чужеродным телом в Советском Союзе. Здесь действуют подчас не собственно национальные признаки, а что-то другое. Да будь еврей трижды обрусевшим и по внешности неотличимым от русского, он все равно несет как бы что-то противоположное России и русскому народу. Он — чужак, но притом еще скрытый чужак, которого необходимо выискивать. Так идея классовой борьбы завершилась антисемитизмом — на всех уровнях, от государственной власти до бытовой повседневности.

Некоторые считают, что евреи потому вызвали на себя волну антисемитизма, что сделали революцию. Но про это хорошо сказал Бунин:

«“Левые” все “эксцессы” революции валят на старый режим, черносотенцы — на евреев. А народ не виноват! Да и сам народ будет впоследствии валить все на другого — на соседа и на еврея: “Что ж я? Что Илья, то и я. Это нас жида на все это дело подбили...”» («Окаянные дни»).

Евреи — это новый «классовый враг», которого необходимо ликвидировать. Почему? Возможно, в частности, потому, что в советской истории евреи заняли место и сыграли роль русского дворянства. В отличие от многих русских, которые пошли по партийно-административной линии, евреям не оставалось другого выхода, как учиться, получать образование и стать в итоге русской интеллигенцией. Это, естественно, вызывает ненависть — ненависть плебса: комплекс неполноценности русского человека.

Попробую пояснить это на собственном опыте. Совершенно случайно, по территориальному праву я учился в знаменитой привилегированной школе, и 80 % моих одноклассников были хорошо одетые еврейские дети, поскольку их родители в середине 30-х годов занимали высокие посты. Евреи преобладали тогда и в правящем аппарате и в культурной жизни Советского Союза. А я был из семьи очень бедной. Естественно, надо мной смеялись, и когда я выходил к доске, на меня рисовали карикатуры, где заплаты на моих штанах занимали почетное место. Им, богатым, были смешны мои опорки. Однако я хорошо учился, и поэтому конкурентная ситуация меня не волновала — я был с евреями наравне. А некоторых моих русских одноклассников это травмировало. Потому что по сравнению с ними евреи были находчивее, образованнее, интеллектуальнее. И до сих пор я мысленно говорю русским, когда евреи их забивают: а вы попробуйте! Вы дойдите до такого же уровня интеллекта, скепсиса, образования, до какого иногда дорастают евреи.

Самый несчастный народ — русский народ — ищет виновника в другом народе. Логика здесь такая. Ведь не может быть, чтобы мы, русские, были такими плохими, что установили Советскую власть и создали беспощадное коммунистическое государство. Это сделали не мы, а кто-то другой. И вот начинаются легенды — о том, что Россией правят чужеземцы. А поскольку никаких чужеземцев нет — то Россией правят евреи. Евреев давно уже выбросили со всех ответственных постов, в правительстве не осталось ни одного еврея, правительство проводит порой откровенную антисемитскую политику. И тем не менее в сознании русского народа им управляют евреи. Когда я просил все это объяснить, то мне говорили очень просто: — Ну разве может русское правительство так угнетать русский народ? Разумеется, это делают не «свои», а «чужие». А кто такие «чужие», замешавшиеся в русский народ? Разумеется, евреи. И все Политбюро — это евреи. И все КГБ — это евреи.

Я думаю, что русский антисемитизм — это не просто ненависть к евреям. Русский антисемитизм, помимо прочего, это стремление выбросить из себя собственный грех и вынести его во вне, объективировать в виде какого-то «чужого», вкравшегося в «нашу» жизнь под видом «своего». И сюда же примешиваются обычная советская шпиономания, вечные поиски «вредителя», «врага».

У меня в начале 50-х годов был разговор с одним достаточно крупным русским партийцем. Так вот он на основе марксизма-ленинизма доказывал, что все евреи — предатели. И подводил под это марксистскую базу: дескать, евреи — это буржуазия, которая всегда занималась торговлей и поэтому теперь продает Советский Союз американцам. И все враги народа — евреи. При этом он даже ссылался на Маркса, забывая, что Маркс

тоже был евреем. Таким образом, еврей, в его понимании, занял место классового врага. А если уничтожить последнего классового врага, то наступит благополучие.

Смешно сказать, но проблема Советской Империи почти упирается в еврейский вопрос: выкинуть евреев из Советского Союза в эмиграцию — вот тогда будет все хорошо. Для евреев это, может быть, и решение вопроса, но для русских очередная проблема. Когда мы выбросим всех евреев, где мы найдем виновника наших несчастий? В итоге еврейский вопрос является временным решением более широкой проблемы. Проблемы — социализма, проблемы диктатуры. Диктатура, для того чтобы существовать, должна с кем-то бороться. И она выдумывает для себя врагов, чтобы остаться диктатурой. На сегодняшний день этот враг — евреи. Но что будет завтра, когда не останется евреев и не с кем будет бороться?

Здесь мы переходим к другой стороне национального вопроса. Империя, чтобы существовать, вынуждена вести непрерывные войны. Великодержавный шовинизм держится на том, что он все время кого-то завоевывает или с кем-то борется. И это великое искушение для русского человека и для русского народа, который не хочет никого завоевывать, но вынужден это делать ради самосохранения государства. Сама идея Империи заставляет русский народ находиться в рабстве. Поясню это на примере конкретного разговора с одним моим сослуживцем, отнюдь не агрессивным, беспартийным человеком. Я ему жаловался на то, что в России невозможно полностью напечатать Пастернака и Мандельштама. Он мне сочувствовал. Но при этом сказал: — Если в Советском Союзе напечатают Пастернака полностью, то что же после этого, как вы думаете, произойдет в Польше? — А при чем тут Польша?

ша? — спросил я. — А при том, что Польша проявит еще большую свободу по сравнению с Советским Союзом! — Ну и пусть проявит, — сказал я. Но он мне сумрачно ответил: — Так ведь Польша, при этой свободе, захочет отделиться! — Ну и пусть отделяется! — А за Польшей — Чехословакия! — Ну и пусть Чехословакия отделяется. — Я был готов всех отпустить на свободу. Лишь бы была свободной Россия. Но мой собеседник сурово сказал: — Но ведь тогда и Прибалтика захочет отделиться? — Ну и пусть! Зачем нам Прибалтика. Насильно мил не будешь, как говорится в русской пословице. — Но ведь за Прибалтикой — Украина? — сказал он в ужасе. — Ну и прекрасно! — ответил я. — Ну знаете, — сказал он мне. — Ради какого-то Пастернака вы готовы пожертвовать величием России? — И мне стало все понятно. Советская власть не может допустить никакой свободы, никакой либерализации. Потому что тогда рухнет и распадется Империя. Таким образом, великодержавный шовинизм в первую очередь предполагает рабство собственного, великодержавного народа. В противном случае — нельзя сохранить Империю. Внешнее величие огромной России как великой державы держится во многом на внутренней несвободе. И русский народ страдает для того, чтобы держать в узде все прочие народы. Русский народ должен быть рабом — ради величия России. А величие России может осуществляться путем поглощения других народов и территорий. Но чем больше поглощает эта Империя, увеличиваясь в мощи, тем хуже и беспросветнее становится у нее внутри. Внешние успехи компенсируются внутренней нищетой и порабощением. Об этом писал еще Герцен в 1863 году.

Теперь попробуем взглянуть на будущее этой Империи с точки зрения национального вопроса. Мне оно

рисуетя в довольно мрачном свете. Либо наша Империя будет заглатывать мир за миром, либо она должна распасться. И одно может сопутствовать другому. Пробуждение малых национализмов — это естественная реакция на давление Империи. И если в Африке возникают новые и самостоятельные государства, то почему же, спрашивается, Грузия, Армения, Украина и т.д. не могут? Только потому, что ими владеет Россия? Но не бывает вечных империй. И если мир не погибнет в результате советских завоеваний, произойдет рано или поздно развал Советской Империи. Это будет страшно для русского народа, населяющего окраины. Потому что эту русскую прослойку будут вырезать. И для того, чтобы спастись в пределах России, — следующим после марксистской идеологии и ей на смену, очень может быть, придет русский фашизм как условие выживания нации. И он уже приходит.

Но чисто националистическая идея не может завладеть миром. Никто не согласится жить под откровенным господством одной нации. И поэтому мировая Империя, с фашистскими устремлениями, вынуждена волей-неволей проповедовать интернационал. Но в кризисной ситуации она станет откровенно фашистским государством. Для этого уже есть движение снизу, и уже существует несколько разновидностей русского фашизма.

Первая разновидность — это национал-большевизм, который уже составляет ядро советской государственности. Для него марксизм, интернационализм — это чистая демагогия. Настоящая (внутренняя) идея — это великодержавие во главе с несчастным и могучим русским народом.

Второй вариант — откровенный фашизм, отбросивший все марксистские словечки и взывающий непосредственно к русскому народу как к единственной ос-

нове. Фашисты такого типа уже существуют и, чтобы утвердиться, главного противника находят в евреях (внутренний враг) и на Западе (внешний враг). Причем Запад трактуется как международное еврейство. Этот фашизм, идущий от Гитлера, развивает следующую, довольно простую, концепцию. Евреи хотят завладеть миром. Для этого они сначала — в виде провокации — придумали Христа и христианство, которое подсунили Западной Европе. И в результате, после прекрасной греческо-римской античности, Европа вверглась во мрак Средневековья. Но когда Европа, с помощью Просвещения, начала освобождаться от уз христианства, и пробудились наконец-то национальные силы и государства, евреи, вместо Христа, подсунили Европе следующую бомбу — Маркса с его социализмом.

В итоге главные враги фашизма этого типа — это Христос и Маркс. А если уж необходима религия, то следует вернуться к культуре языческих национальных богов. Существует даже лозунг этого фашизма: «Нет Бога кроме Тора и Гитлер его пророк». В переводе на русско-славянское язычество Тор — это Перун. Разумеется, поклонение Тору, Перуну или Вотану — носит сугубо декоративный характер и апеллирует единственно к чисто национальным истокам, незамутненным еврейско-европейской культурой. На русской почве этот фашизм маловероятен. По той причине, в частности, что в национальном, расовом отношении русский народ нечист. В русском человеке перемешано много кровей — и татарская, и финская, и чего только там нет. Сама русская физиономия не походит на арийца. И для единства русской нации нужно искать другое, более широкое определение. Так возникает третий вариант:

Православный фашизм. Идеологи этого направления говорят, что русские — это православные. А кто не

православный — тот не русский. В качестве идеала государственного управления предлагается Теократия: власть церкви вместо государства. Выдвигается лозунг: «Православизация мира». То есть захват мира русским народом, но не под знаменем марксизма, а под знаменем православия!

Цитирую одного из теоретиков этого направления православного фашизма. Это диссидент — Геннадий Шиманов:

«СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ БЕРЕМЕННА ТЕОКРАТИЕЙ... Советская власть предназначена стать инструментом для создания ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА на земле, которого не было еще никогда в мировой истории, но которое по Писанию (если верить ему) должно непременно быть. ... Ранее такой степени единодержавия никогда еще не было... Монархический строй почти по-либеральному благодушно относился к господствовавшим в обществе настроениям... И только теперь, с образованием Советского государства, появилась возможность того, чтобы ПАРТИЯ, самодержавно правящая страной и не имеющая конкурентов в политической жизни, ... руководствовалась не чем-то неопределенным, вроде наших былых Государей и Государынь, а — ПРОГРАММОЙ построения подлинно христианского общества... Если предположить грядущую трансформацию Коммунистической партии в ПРАВОСЛАВНУЮ ПАРТИЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, мы получили бы действительно ИДЕАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО...»

«Революция в России имеет ВСЕМИРНОЕ значение, а из этого следует, что и плоды ее должны распространиться со временем на весь мир. После Великого Октября речь должна идти о ПРАВОСЛАВИЗАЦИИ ВСЕГО МИРА и, как следствие этого, об известной русификации его».

«Идея грядущей ПРАВОСЛАВНОЙ ТЕОКРАТИИ — вот единственная творческая идея, которая имеется в наши дни».

Это может показаться бредом, ничем не грозящим Западу, в отличие от коммунизма. Но подобного рода идеи угрожают Православию как христианской религии, поскольку стремятся превратить религию — в правящую партию, в орудие насилия. Само советское государство построено как Церковь (церковь без Бога). А сейчас возникает другая, новая идея — превратить Православную Церковь в государство на базе церковной советской государственности. То есть оставить все как есть. Но вместо красной звезды нацепить крест. Не знаю, насколько это выполнимо. Но тенденции соединить православие с националистическим государством представляются мне крайне опасными. В первую очередь опасными — Православию, христианству, которое от союза с государственностью, с национализмом, с политикой, может только проиграть. Крест на красном знамени — не в пользу креста.

1979, 1982, 1984 годы.

Постскрипtum к восьмой главе (декабрь 1988)

Для понимания того, как возник сегодняшний русский национализм и чем он питался, важно учесть два обстоятельства: во-первых, его появление в оттепель-ные 60-е годы как поворот к традиции, когда начались поиски своего исторического корня в противовес официальной сталинской версии народа и патриотизма («Владимирские проселки» и «Матренин двор» против «Кубанских казаков»), к своему историческому прошлому. А во-вторых, важно то, что он возник в условиях разрушения монолитной идеологии. Если когда-то Россия держалась религией, потом идеями марксизма, заменившими религиозные чувства и предложившими человеку государство-церковь и рай на земле уже при жизни, то после XX съезда осталось абсолютно пустое поле, без какой-либо этической идеи. Возросший сегодня процент религиозности, которым любят щеголять русские националисты, вовсе не означает, что религия стала серьезной нравственной силой. Люди ищут ту этическую идею, которая цементировала бы общество.

А советская идеология рухнула, и как бы ее ни гальванизировали, она уже не наполнит жизнь высшим смыслом. Советское общество сегодня как никогда безыдейно. У него нет никакого ориентира, никакой идеи, ничего скрепляющего. Идея перестройки не может быть ведущей для массы, потому что масса не очень-то понимает, что это такое — перестройка. Пока что это только расширение поля информации, но опять-таки о прошлом России. Перестройка, направленная на воссоздание истории, несет в себе серьезный отрицательный заряд. Она рассказывает о разрушении страны, она сносит здание прошлого, ничего не пред-

лагая взамен, потому что по-настоящему духовных идей нет, нравственные идеи крайне общи, реального дела нет, уровень жизни очень низкий и, самое главное, — подавление личной свободы в реальной жизни продолжается — почти любое выступление «против» в условиях микромира, в котором живет человек, — обречено. В духовной жизни народа и в его быту еще нет реального смещения, изменения ракурса, нет ничего такого, что вносило бы в эту жизнь хоть какое-то изменение или надежду. Поэтому, мне кажется, сегодняшней негативный воздух России, направленный на отрицание недавнего прошлого, на отрицание своей истории (а 70 лет — это уже история), подрывает все больше и больше корни старой идеологии, ничего не предлагая взамен.

Позволю себе привести свидетельство очевидца (москвич, профессор, член Союза писателей), с которым мне довелось недавно обсуждать эту проблему:

«И вот является эта самая “национальная идея”. Она родилась как интерес к истории. На бытовом уровне, интерес к истории стал, я думаю, общим знаменателем для всех разновидностей национализма: от просветительской, либеральной жажды охраны памятников до самого его реакционного крыла — общества “Память”. Потому что это какая-то форма жизни. Вот по воскресеньям собираются самые разные люди, и они идут — на общественных началах — восстанавливать какой-нибудь монастырь или какой-нибудь исторический памятник. Это — жизнь, это ее разнообразие, какое-то ее обогащение, потому что жизнь скудна до невозможности. И все, что дает человеку выход за пределы тягучего однообразия — завода, магазина, очереди, — становится благом. А в восстановлении какого-нибудь памятника есть и исконный интерес к культуре, и преклонение перед ней, и жажда активно-

сти, и общественное самоутверждение. И поэтому сегодняшний интерес к истории — стал общим знаменателем, на котором уже разрослись разные другие формы — от людей, которые начали в 60-е годы возрождать эту культуру, интересоваться ею, уходить в ее глубины, до тех, кто из полноты и разнообразия этого исторического опыта извлекает сегодня только одну идею: жидомасонского заговора и глобальной вины всего мира в несчастьях русского народа. Это и есть агрессивный русский национализм.

Причем эта агрессивная русская национальная идея — оказывается сегодня наиболее мощной и наиболее серьезной. С одной стороны, потому что она легко входит в сознание человека, который всем недоволен, а с другой стороны, потому что она имеет как бы флер культуры, флер общего дела, иллюзию духовной жизни.

Идея русского национального превосходства не имеет никаких ограничений, носители ее пользуются почти что дипломатическим иммунитетом и поощряемы во всех формах общественной жизни. Это вызывает удивление потому, что всегда существовал определенный стереотип общественной жизни, общественной деятельности человека. Все, что было раньше наказуемо с точки зрения старой морали или даже государственных установлений, сегодня, если это имеет отношение к национальной идее, — становится ненаказуемым. Напомню историю, которая случилась на очень большом собрании поклонников старины в Доме культуры им. Горбунова, когда вышел человек и рассказал о том, как была разрушена Москва, и разговор этот шел по исторической карте Москвы, а потом докладчик провел соединительные линии между точками — и у него получилась шестиконечная звезда. Но когда поэт Андрей Чернов (огоньковский деятель), не

сдержавшись, закричал: «Это же фашизм!», к нему подошли какие-то люди, выволокли его из зала, избили, спустили с лестницы, и все это было в присутствии милиционеров, стражей закона, дружинников — огромного числа людей, охраняющих общественный порядок. Охрана общественного порядка в данном случае благодушно бездействовала. Такого не было никогда.

Другой пример. В Ленинграде шло огромное совещание на тему «Советская литература и Сибирь», организованное Институтом мировой литературы («Пушкинским Домом»), пединститутом им. Герцена и Ленинградским университетом; туда приехала масса писателей (в том числе Распутин), и долго шли довольно скучные, казалось бы, выступления. Вдруг по залу прошел старый человек в сопровождении двух молодых людей. Поднявшись на трибуну, он сорвал с себя седой парик, бороду и сказал: «Вот — смотрите: русскому человеку можно существовать только в еврейском обличи!» Это был предводитель «Памяти» Васильев, за ним встали двое молодых людей (понимай — телохранителей) в майках с колоколами и прочей эмблематикой. И Васильев начал свою речь. Самое страшное здесь было не выступление Васильева, а реакция зала. Набитый интеллигенцией зал рукоплескал ему все время. И поддержка у него была огромная. А у журналиста, написавшего об этом происшествии статью, были большие неприятности — зачем, мол, вынес сор из избы. Иными словами, четко прослеживается тенденция, все это прикрывать, этому покровительствовать, не чинить препятствий. И когда как-то спросили у историка Ю.Афанасьева «Что такое “Память”?», тот сказал: — «Это армия КГБ». И это похоже на правду. Это почти полностью готовые отряды, имеющие свои ячейки, они вооружаются, они сплачиваются, т.е. это не просто умонастроение, а это умонастроение, кото-

рое в большей своей части уже начало организовываться, и до появления какого-либо там террора или агрессивного действия, в общем, осталось не так уж много.

Или еще пример: председатель ССП Карпов решил встретиться с молодыми писателями. И моментально появились русофилы, которые высвистали всех своих молодых писателей, — а они очень внутренне спаянные, очень организованные, единые, и Карпов встретился только с ними, и говорили они о том (это идея Белова, она же часто высказывается и Распутиным — публично, с трибуны), что в Союзе Писателей слишком много инородцев, что надо Союз очищать.

Взрыв революции прочитывается по национальному коду, а русская реставрация прочитывается по коду Империи. Поэтому для современных русофилов Сталин фигура реальная, позитивная, несмотря на то, что они понимают, что христианство при нем погибло, позитивная потому, что это — монарх и это — император, он сколотил Россию, он сделал ее сильной и могущественной. Националистические настроения, негативизм и КГБ, как реальная сила, которая все это держит под своим крылом, — придают движению отнюдь не платонический характер. От его скрытых форм до реализации — остается только подать сигнал. Как, впрочем, и люберы... эта форма стихии не случайно формализуется, потому что она обладает колоссальной агрессивной потенцией, которая может быть использована для подавления свободомыслия.

Вы читали, что в Мурманске памятники погибшим на войне разрисовали фашистскими знаками? Об этом писали в газете — как это могло случиться, что уже даже нацистская, фашистская символика не внушает отвращения и используется, потому что все ощущает себя на руинах, и если появится новый Мессия, новый

пророк, то все это придет в движение. Это — огромная сила, но это сила не только национальная, это социальная сила. Это состояние бездуховной страны, у которой нет сейчас другого выхода.

Исходя из этих новых веяний, я, в итоге, склоняюсь к мысли, что русский национализм сегодня чреват насилием; он легко объединяется с самым реакционным крылом советского общества (бюрократия, армия, КГБ) и противостоит не коммунизму, а демократии и Западу. Интересно, однако, что западные круги порою высказываются в пользу русских националистов и авторитарников, хотя, казалось бы, демократы им должны быть психологически ближе. Логика здесь такая: свобода и демократия хороши для Запада, а для России нужно что-нибудь попроще и пореакционнее. Как для дикарей.

Сошлюсь в виде иллюстрации на частный разговор, который был у меня как-то с одним очень умным и тонким западным советологом. По своим убеждениям и вкусам он был либерал и демократ, но политическую ставку делал на русский национализм. Как человека культурного, его шокировала грубость этого направления, и, будь он русский, он никогда бы к нему не примкнул. Но оно ему представлялось более перспективным и выгодным для Запада движением, нежели русские демократы. Я его спрашиваю: — А вы не боитесь, что в результате на смену советскому режиму или, скорее всего, в виде какого-то с ним альянса в России просто-напросто восторжествует откровенный фашизм? Оказалось, это его несколько не смущает. В русском фашизме он видит реальную альтернативу советскому коммунизму и надеется, что русский фашизм, занявшись своими национальными делами, спасет Запад от коммунизма. Я не столь оптимистичен. Я считаю, что русский национализм — это сила центро-

бежная, а не центростремительная. И нет никакой гарантии, что, следуя традиции экстенсивного хозяйствования и совершенно точно зная, что весь «бездуховный» Запад — это люди второго сорта, русские фашисты не посмотрят, например, на Европу, как на очередные целинные земли...

*Послесловие***МОЖНО ЛИ ПИРАМИДУ
ПЕРЕСТРОИТЬ В ПАРФЕНОН?**

Советская цивилизация сложена из крупномасштабных, тяжелых блоков. Она хорошо приспособлена к тому, чтобы подавлять человеческую свободу, а не чтобы ее открывать, питать и стимулировать. В целом она похожа на египетскую пирамиду, составленную из колоссальных камней, тщательно друг к другу подогнанных и притертых. Масса мертвого камня, впечатляющая монументальность постройки, служившей когда-то величественным и нам уже недоступным целям, при крошечном полезном пространстве внутри сооружения. Внутри — мумией — Ленин. Вокруг — ветер пустыни. Песок. Таков — образ.

Подобные «камни» — метафизические символы советской цивилизации — я пытался воспроизвести в настоящей книге, в виде своего рода чертежа, мысленно раскладывая изображаемый предмет под разными углами и срезами. Но как извлечь по отдельности эти камни, не повредив целое, да и возможно ли их извлечение?

Скажем, Революция, так легко накатившая и откатившаяся в далеком прошлом. В дальнейшем она послужила красочным девизом иных свершений, иных «революций» сверху, в расчете на энтузиазм масс (коллективизация при Сталине, «перестройка» при Горбачеве — все это «революции сверху», рассчитанные на поддержку снизу). Но та же самая Революция породила Власть, небывалую по силе давления на общество и народ, от которой уже нет избавления (Глава первая).

Утопическую идею, легшую в основание Пирамиды вопреки марксизму, тоже уже не выкинешь: из идеоло-

гии — политика, из политики — экономика (Глава вторая).

Ленин до сих пор остается незыблемым авторитетом (если выкинуть Ленина, то что останется от советской власти, от «диктатуры пролетариата», от советской цивилизации?). Между тем из Ленина вышел Сталин, и Ленин, положив во главу угла «ничем не ограниченное насилие», произвел на свет партийную бюрократию, с которой пытался бороться бюрократическими мерами (Глава третья).

Сталина, казалось бы, мы можем удалить безболезненно, что и пробуем делать в течение тридцати с лишним лет. Дескать, Сталин со своими жестокостями не подходит социализму. Смягчим жестокости. Но сама критика по адресу Сталина, усилившаяся в последнее время в советской печати, обнажает непреходящую роль, какую играл и продолжает играть Сталин в социалистической государственности и в сознании народа (Глава четвертая).

А что поделаешь с «новым человеком», который, встав во весь рост, демонстрирует одновременно героические качества, рабскую покорность и тупое самодовольство (Глава пятая)?

А «советский быт» (Глава шестая) и «советский язык» (Глава седьмая) — это переложение общих принципов на текущую повседневность. Такова, примерно, схема моей книги.

Сейчас мы сталкиваемся с относительно мобильным явлением — с горбачевской «перестройкой». Она относительна, потому что уже Хрущев, вводя «оттепель», боялся, как бы та не превратилась в настоящую «весну» и решил ее «подморозить». В позднейших «Воспоминаниях» Хрущев говорил, что он и все руководство «шли на оттепель... и сознательно побаивались этой оттепели... мы как бы сдерживали эту отте-

пель с тем, чтобы эта оттепель не вызвала бы половодья...»

Горбачев, кажется, пошел дальше. («Кажется» потому, что никто ничего не знает. Информация нулевая. Может быть, Горбачев борется с Лигачевым. А может быть, они договорились, что один будет сдерживать, а другой — толкать «перестройку». Государственная власть — как прежде, как всегда — окутана непроницаемой тайной.) Во всяком случае, в первый раз советская цивилизация проходит проверку — свободой. Выдержит или не выдержит? сдаст экзамен или провалится? — вопрошает интеллигенция побелевшими устами. Пока что единственная поддержка Горбачеву — эта самая интеллигенция, которая приняла участие в словесной «перестройке» (другой пока что нет) — при яростном сопротивлении партийной бюрократии, при полном равнодушии и пассивности народа.

В результате пресса заговорила на живом языке. Впервые советскую прессу стало интересно читать или, как говорят в Советском Союзе: «— Сейчас читать интереснее, чем жить». От изменений в языке, кажется, сами устои этой цивилизации вот-вот покачнутся. Разумеется — это иллюзия. Но небесполезно отметить, насколько в сознании современников вся эта железная структура держится на слове, на казенной фразе.

Действует закон «гласности»: — Не кормите нас, но дайте сказать, что жрать нечего! — говорит интеллигенция. Да и народ разболтался: — На кой хрен, говорит, нам эта «перестройка», если все равно жрать нечего! — Вечные несовпадения интеллигенции и народа: этой нужна свобода, а тому подавай хлеб...

Медленно, но все же меняются названия городов, отвоевывающих себе исконное имя. Никому не хочется жить в городе, в свое время переименованном в честь очередной бездарности или прославленного пре-

ступника. Город Устинов вернул себе первоначальное имя — Ижевск (то-то было ликование!); город Брежнев возвращается к собственному названию — Набережные Челны... В тот момент, когда я пишу эти строки, ведутся споры в печати: как сбросить городу Мариуполю постылое иго — «Жданов», а Ленинградскому университету не зваться тем же именем Жданова — ненавистника и душителя русской культуры?

Но если идти дальше, как, спрашивается, поступить с Ленинградом? С Ульяновском (Симбирск). С Андроповым (Рыбинск). С Калининным (Тверь). С Калининградом (Кенигсберг). С Горьким (Нижний Новгород)... От одного перечня имен оторопь берет... Хорошо было городу Тольятти (Ставрополь): пожилые, неграмотные мужики называли его попросту, по-стариковски — Телятев (вспоминая о теленке)...

Дошло до того, что к самой формуле «Советская власть» (из которой образовался Советский Союз со всей системой политических и языковых ответвлений) начинают придираться. — А где, спрашивают, и какую роль играет у нас эта самая Советская Власть? Где Советы? Что и кому они советуют?

Тем же временем появляются и диктуют жизнь (куют язык) новые штампы — «перестройка» (к которой прибегал еще Сталин), «гласность» (вместо нормальной свободы слова), «демократизация» (имеется в виду — диктатура). Все приходится переводить с одного языка на другой. Что означает, скажите, — «социалистический плюрализм»? Разномыслие в рамках единомыслия? И куда прикажете надевать «советского человека» и «советскую цивилизацию»? Или, быть может, вся эта книга — разговор о мнимостях? О вещах, которых на самом деле не было и нет?..

И все же время горбачевской перестройки нам что-то приоткрыло и кое-что в стране изменилось к лучше-

му. Точнее сказать, многие тайные застарелые болезни стали более явными. Вдруг выясняется, допустим, что партия тут и там превратилась в террариум, что силы бюрократии грозят перерасти в бандократию, что Советский Союз чуть ли не по всем статьям — это отсталая страна. О чем только ни пишут нынче в советских газетах! На страницах прессы бушует ураган самоубийственных признаний. Эта газетно-журнальная буря говорит прежде всего о консерватизме общества, которое машет руками в жажде перестроиться, а с места никак не сдвинется. Помимо бюрократии, гириями на ногах страны висят громадная армия, КГБ, необходимость удерживать в «социалистическом содружестве» республики и другие страны, инертность массы, разучившейся проявлять личную инициативу, которой ее лишали в течение стольких лет...

Я далек от мысли, что «гласность» и «перестройка» всего лишь дымовая завеса, пущенная ловкой рукой с целью обмануть население России и Запад на тему предстоящих «освободительных реформ». Меня радует гласность, которую провозгласил «генеральный диссидент» Горбачев, переложив на партийный язык некоторые идеи Сахарова. При всем том невозможно отделаться от привычного ожидания, что в один прекрасный день вся эта перестройка повернет обратно, по испытанному пути, к новым «застоям» и «заморозкам». Непрочные «свободы» в Советском Союзе легче запретить, нежели даровать и привить.

Академик Т.Заславская, президент Советской социологической ассоциации, предупреждает о грозящих опасностях:

«Для нашего общества всегда была характерна очень высокая концентрация власти... Всегда формировалось сильное и никому не подотчетное правящее ядро» («Известия», 4 июня 1988).

«Всегда» — это, значит, начиная с Ленина. Всегдашняя концентрация власти в немногих руках обещает, что попыткам демократизировать общество суждено натолкнуться на противодействие прежде всего в самом верхнем эшелоне, за которым более или менее послушно следуют ряды многочисленной бюрократии.

С другой стороны, такие попытки демократизации системы только и возможны, что при бдительном попустительстве мужественных верхов, имеющих смелость и власть вносить «свободу» дозированными порциями в принудительном порядке. Создается замкнутый круг. Демократия вводится по приказанию начальства, которое вольно в любой момент ее расширить или сузить. Условием «свободы» выступает насилие. Отсюда непоследовательность и робость «перестройки», которая словно боится себя и поминутно оглядывается на собственное «застойное» прошлое.

У нас нет пока что оснований сомневаться в искренности Мих. Горбачева и в его благих начинаниях и намерениях. Но все-таки последней опорой советского либерализма и российского народовластия остается добрая воля батюшки-царя и его верных царедворцев.

Судите сами: как в ветхие дни, продолжается «гонка за лидером». Высказывая смелые мысли, советские журналисты то и дело ссылаются на высочайший авторитет М.С.Горбачева, который первым сказал «Э» (подобающая цитата). Я не представляю, чтобы западные журналисты столь восторженно апеллировали бы к мнению, допустим, Миттерана, Рейгана или любого другого на сегодняшний день президента. Сколько можно вести детскую игру в уважаемого вождя краснокожих? И это называется — учиться демократии?! Как писал незабвенный Марк Твен: «Неограниченная власть — превосходная штука, когда она находится в надежных руках. Небесное самодержавие — самый

лучший образ правления. Земное самодержавие тоже было бы самым лучшим образом правления, если бы самодержец был лучшим человеком на земле и если бы его жизнь продолжалась вечно. Но так как даже самый совершеннейший человек на земле должен умереть и оставить свою власть далеко не столь совершенному преемнику, земное самодержавие — не только плохой образ правления, а самый худший из всех возможных» («Янки при дворе короля Артура»).

Судя по сегодняшней советской печати, все партийные лидеры — между Лениным и Горбачевым — периодически оказывались почему-то недоброкачественными: подлецы, трусы, ублюдки, полутрупы, а то и явные злодеи. Рядом со Сталиным Брежнев выглядит мелким уголовником. Ошарашенному читателю есть от чего прийти в отчаяние. Вся жизнь его, вся история и теория советской государственности как будто прошли напрасно и выброшены кошке под хвост. Великие лозунги Ленина и Октябрьской революции до сих пор не исполнены; ни тебе Всей Власти Советам, ни земли крестьянам (навечно и безвозмездно), ни заводов рабочим. Сохранилась лишь диктатура с опорой на бюрократию.

Т.Заславская свидетельствует:

«Насколько я знаю, подлинной радикальной социальной инициативы никто из депутатов (Верховного Совета. — А.С.) за последние четверть века не проявлял (а за последние 50 и 60 с лишним лет — проявлял? — А.С.), хотя ничем не рисковал, ни к одному не применили бы никаких акций, что бы он ни потребовал... Совет... по сути автоматически штамповал решения, подготовленные аппаратом...

...Силы у реакции (назовем так эту группу) еще остались. В стране разгромлены чрезвычайно влиятельные очаги организованной преступности. Эти кланы объединяли разложившуюся часть работников торгов-

ли, дельцов теневой экономики, а также коррумпированную часть аппарата власти, включая правоохранительные органы. Такие крупные кланы преступников устанавливали на «опекаемых» территориях режим беззакония. Некоторые мафии раскрыты и наказаны. Но думаю, что есть еще и затаившиеся. Вряд ли они могут позволить себе просто пассивное пережидание — для них перестройка означает потерю всего. И они не остановятся ни перед чем».

Зато появилась надежда, что теперь нам повезет. Наконец-то власть сконцентрирована в достойных и крепких руках. Иными словами, единственным гарантом свободы, прогресса и просвещения в России служит, как всегда, — тирания.

Древнеегипетская пирамида справедливо почитается самой устойчивой архитектурной формой — куда надежнее и прочнее европейского Парфенона. Где они сейчас, воздушные Парфеноны? А Пирамида — стоит! И встает законный вопрос: поддается ли, вообще, пирамида «перестройке»? да еще в ударном, революционном порядке? да еще по указанию свыше? Можно, конечно, украсить ее заградительной колоннадой вокруг, прикрыть лепниной, навесить греческий портик. Но помогут ли ей и приживутся ли на ее ребрах эти чужеродные формы? И не испортят ли они принятый изначально стиль и профиль?

Этой прозрачной аллегорией я пытаюсь объяснить, почему — при всем сочувствии перестроенным работам — разделяю сомнения многих по части решительных сдвигов, призванных омолодить советскую цивилизацию на демократический манер. Куда ее сдвинешь, пирамиду? Она — раздавит.

Я буду счастлив, если действительность превзойдет мои ожидания и опровергнет эти невеселые построения.

Лето 1988 года.

II

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ВЛАСТЬ

1. Интеллигенция и народ

Недавно итальянцы предложили мне принять участие в конференции вокруг сегодняшних российских проблем: перестройка, постперестройка, демократия, тоталитаризм, Горбачев, Ельцин, русская интеллигенция и откуда что растет. Я, естественно, начал обдумывать последние десять лет и вдруг обнаружил, что это были, в сущности, самые горькие годы моей жизни. Ибо ничего не бывает горше несбывшихся надежд и утраченных иллюзий.

Раньше, до перестройки, я жил прекрасно. Советский режим казался незыблемым. С ним можно было вступить в конфликт и попасть в тюрьму, как было со мной, например. Ему можно было показывать кукиш в кармане, как поступали многие интеллигенты. К нему можно было приспособиться наконец и даже полюбить. Чисто отвлеченно я понимал, что он когда-нибудь рухнет — ну, лет через сто, через двести, — но не думал, что до этого доживу. Надежды не было и быть не могло. Зато была — стабильность.

Представления о советской интеллигенции были достаточно простыми и безоблачными. Я тоже отдал дань этим концепциям, которые сводились к тому, что:

После революции интеллигенция подверглась жес-

точайшим нападкам со стороны «победившего класса» в лице большевистской партии за свою неустойчивость и непоследовательность. Список вмененных ей грехов — громаден: индивидуализм, гуманизм, мягкотелость, склонность к компромиссам, беспартийность. И главный грех, конечно, — свободомыслие. Ибо, сочувствуя революции, интеллигенция желала мыслить и рассуждать по-своему, а не только повторять руководящие указания партии.

Нетрудно догадаться, что за всем этим поношением интеллигенции стояла воспитательная задача. «Победивший класс» должен был освободиться от общечеловеческой нравственности, которая получает презрительное наименование «абстрактного гуманизма», от любого рода сомнений в правильности партийного курса. Угрозой новому обществу стали интеллектуальные, нравственные и духовные запросы, живущие в каждой человеческой душе, а не только в интеллигенте. Они-то и оформились в образ неустойчивого интеллигента, на которого пошла в атаку с первых же своих шагов советская литература. В сущности, литература пошла в атаку на человека вообще и на саму себя, в частности, на остатки интеллигентности, свойственные литературному творчеству. И литература пугала читателей и саму себя жупелом предательства. Проявишь жалость к врагу — и станешь предателем. Будешь стоять в стороне от классовой борьбы — и станешь предателем. Начнешь отстаивать беспартийность и независимость личности — станешь предателем.

И этим нападкам интеллигенция в массе своей не могла слишком долго сопротивляться. Ведь вся интересная и полезная работа, все доступы к науке, к искусству, к печати и к образованию находились в руках государства. Оставалось либо умирать, либо приспособливаться к требованиям власти. На путь приспособле-

ния толкали и самые искренние внутренние причины — желание служить народу. И вместе с тем это был путь деградации русской интеллигенции.

Представления о народе были сложнее и разнообразнее. Одно из них характерно для эмигрантов и некоторых диссидентов. Россия — оккупированная страна, народ ненавидит большевиков, поэтому стоит ликвидировать компартию, и народ сразу станет демократом. Другая теория — это народ-богоносец. Стоит убрать компартию — и весь народ вернется к своим православным истокам. А некоторые утверждали, что все дело в самоуправлении: кухарка должна научиться управлять государством, но только без коммунистов. Авторы всех этих концепций были интеллигенты, которые больше всего, казалось, заботились о благе народа.

И вдруг — перестройка! Ее начало было так поразительно, что в это невозможно было поверить. И когда к нам в Париж стали приходить первые перестроечные номера «Московских новостей», в эмигрантских газетах писали, что это какие-то фальшивые выпуски специально для заграницы, чтобы запудрить иностранцам мозги и в очередной раз обвести Запад вокруг пальца. А советские друзья рассказывали, что в день выхода «Московских новостей» они идут к газетному киоску чуть ли не с шести утра, чтобы купить газету, пока не расхватали...

И каждый день приносил интеллигенции новый кусочек свободы — сначала в виде вольнолюбивых статей, потом запрещенных когда-то книг, вернувшегося из ссылки Сахарова, освобождения политзаключенных.

Горбачев засыпал интеллигенцию подарками, и на первых порах она платила ему признанием. Даже появилась острота, что Горбачев просто-напросто

начитался самиздата и осуществляет то, о чем мечтали советские диссиденты, став тем самым первым диссидентом в своем Политбюро. Он же — первый большевистский реформатор и разрушитель системы.

Я не буду здесь говорить о заслугах Горбачева перед человечеством, — их все знают, памятник он себе уже заработал — хоть золотой, хоть серебряный. Я не хочу сейчас думать о его ошибках: они естественны хотя бы потому, что он пошел первым по этому пути. Меня волнует другое: почему после августовского путча в 91-м году и перехода власти в руки Ельцина интеллигенция бросила Горбачева и отдала свои сердца новому вождю. Что это — свойственная людям неблагодарность? Очарование власти? Массовый гипноз?

Но интеллигенция ликовала. Отдельные предостережения скептиков тонули в восторженных возгласах: ведь впервые за много лет интеллигенция ощутила власть *своею*. Отношения интеллигенции и власти складывались почти по формуле Маяковского: «Моя милиция меня бережет»: моя власть, наша власть, наше с Ельциным единство.

И когда наступило первое серьезное испытание на душевную ясность и самостоятельность мысли — а именно: когда произошла гайдаровская реформа, которая положила начало резкому социальному расслоению в стране и привела к тому, что сегодня более 30% населения оказалось за гранью нищеты, интеллигенция закрыла на это глаза. Мне это напомнило начало 30-х годов, когда интеллигенция закрыла глаза на страшный голод и бедствия деревни и промолчала.

Это первый счет, который я сейчас предъявляю к интеллигенции и к себе самому. Я слишком много думал о страданиях интеллигенции от притеснений власти и почти забыл о том, как она продавалась. И вдруг до меня дошло, что все это уже было, что тогда она то-

же считала власть своею, приблизилась к коридорам власти, и даже сам товарищ Сталин ездил пить чай к великому писателю Максиму Горькому.

На дворе 1936 год. Уже всюю идут аресты. Уже можно заняться, казалось бы, основной работой интеллигенции — размышлением и анализом. Но нет — восторг застит глаза, и вот как изображает встречу со Сталиным русский интеллигент Корней Чуковский в своем дневнике:

«Вчера на съезде сидел в 6-м или 7-м ряду. Оглянулся: Борис Пастернак. Я пошел к нему, взял его в передние ряды... Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А Сталин стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его — просто видеть — для всех нас было счастьем... Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства.

Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова... Домой мы шли вместе с Пастернаком и оба упивались нашей радостью...»

Какие странные для интеллигента слова и чувства: упиваться радостью от лицезрения власти. Впрочем, нам недавно рассказывали, как один утонченный интеллигент нашего поколения (ученый малый, иностранные языки с детства, с Гете, Рильке, Пастернаком, Цветаевой на дружеской ноге) с восторгом рассказывал, что сам Борис Николаевич на встрече с интеллигенцией подошел к нему с бокалом и ЧОКНУЛ-СЯ, а ведь он не со всеми чокался, поспешил обратить внимание на свою исключительность рассказчик, между прочим бывший диссидент и лагерник.

Я всегда любил старые газеты. Именно старые. Потому что если даже сталинская, хрущевская или брежневская пресса и обманывала вас в день выхода, то буквально через несколько лет она превращалась в уникальный источник информации. Выдержанная газета набирает почти коньячную забористость и так же возбуждает...

Несколько лет тому назад, собирая из старых газетных материалов коллаж, посвященный 37-му году, мы с тоской обнаружили, что тогда опозорились все. Буквально все. Раздавить гадину в лице очередных врагов народа призывали и Юрий Олеша, и Платонов, и Зоценко, и Паоло Яшвили, и Бабель, и Тынянов, и еще, и еще — и все они с гневными статьями и с художественными особенностями... А рядом печатались коллективочки, где среди россыпи имен опять же и Зоценко, и Тынянов, и Паустовский, и Павел Антокольский, и Пастернак...

Послушайте, что они писали. Я выбрал не литературных начальников, а дорогие нам имена.

Андрей Платонов: «Социализм и злодейство — две вещи несовместимые. Самым жестоким видом злодейства сейчас является троцкизм. Этот фильтрующийся вирус фашизма пытался проникнуть до самого сердца советского народа, чтобы одним ударом умертвить его целиком».

Юрий Тынянов: «Они — чужие всей стране, всем людям, которые дышат ее воздухом, трудятся на ее земле, поют ее песни, читают ее стихи».

Исаак Бабель: «Язык судебного отчета неопровержим и точен. Как никогда очевидна теперь беспримерная правота нашего правительства. И преданность наша ему обоснованна и безгранична».

Владимир Луговской: «Кровавые собаки реставрации, они ползли на брюхе вслед за своим поводырем —

Троцким — торговцем человеческой кровью и честью, не имеющим родины, злобным вырожденком, проституткой фашизма».

Самуил Маршак: «Они хотели убить рулевых и встать вместо них у штурвала, чтобы повести страну, а вместе с ней и все человечество, к такой катастрофе, какой не было никогда на земле».

Николай Тихонов: «У них были короткие лозунги: убивай! лги! подличай! продавайся! притворяйся!»

Виктор Шкловский: «Эти люди — кристаллы подлости. В задаток фашистам вносится кровь железнодорожных крушений. Продается врагам воздух, которым дышат наши люди в шахтах».

Я хочу обратить ваше внимание на стилистику: «вот они: хиловатые, лысые, в очках — адъютанты Троцкого». Или: «что-то ползает, бесхвостое и вызывающее содрогание...»

— Потрясающий материал, хотя и очень уж страшный, — сказал нам, перебирая газетные вырезки, соучастник многих наших эмигрантских затей Ефим Григорьевич Эткинд, а через несколько минут, обнаружив чудовищную статью своего старого и старшего друга, добавил: «Только не надо это печатать». Старшего друга — известного литературного критика Федора Левина — мы оставили, как оставили имена и Маршака, и Всеволода Иванова... И только одного интеллигента пощадили и выбросили из этой подборки — еврейского поэта Переца Маркиша с его кровавыми стихами. Мы пожалели его сына, Симона Маркиша, когда-то университетского приятеля, а теперь профессора женевского университета.

С победой свердловской «демократии» история повторилась: снова цвет российской интеллигенции стал на сторону власти и сначала поддержал гайдаровский грабеж, а потом ельцинский расстрел Белого дома.

Приговаривая при этом: молодец, Боря! жми, Боря! давай-давай, Боря, дави их, тех, которые не с нами! А замечательная русская актриса Нонна Мордюкова на какой-то из встреч с Ельциным чуть не прослезилась: «Вы так устаете, дорогой Борис Николаевич! Приходите к нам отдыхать».

И никто не подумал о том, что скажут дети и внуки, и не будут ли они нас стыдиться? Сегодняшние времена интересны помимо прочего тем, что саркастически совмещаются с нашим печальным прошлым.

Но последней каплей в наших взаимных неудовольствиях — моих и российской интеллигенции — был расстрел Белого дома в Москве в октябре 93-го года, который поддержала большая часть интеллигенции и притом прекраснейшая ее часть. Невыносимо больно и стыдно было видеть под «коллективочками» подписи деятелей культуры, которые неоднократно требовали от обожаемого Президента принять жесткие репрессивные меры в отношении своих политических противников. Кого посадить, кого распустить, какие газеты и телепрограммы запретить и так далее. Аверинцев, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, Мариэтта Чудакова... И чего же хочет цвет нашей культуры от Ельцина? Что ему пишет?

«Коммунистические и национал-демагогические зачинщики продолжают угрожать открыто, публично, с телеэкранов... Они рассчитывают через уличное кровопускание утвердить свою безнаказанность и значимость. Они надеются спровоцировать либо ответную слабость администрации (как это уже бывало), либо «героические» жертвы в собственных рядах. Им нужен какой-нибудь советский Хорст Вессель».

А что должен делать президент? «Все политические подстрекатели боевиков и хулиганов, не имеющие депутатской неприкосновенности, вроде Зюганова и

т.п., должны быть задержаны по делу о беспорядках 1 мая, а их организации распущены. В отношении хулиганов-депутатов, как Анпилов, Константинов и др. нужно потребовать лишения их неприкосновенности. Если президент Ельцин и все исполнительные и судебные власти не поведут себя на самом деле очень жестко и быстро, на них ляжет политическая ответственность...»

Президент послушался и организовал интеллигентам танковый обстрел Белого дома. Но интеллигенция не унималась. Через два дня после расстрела — новое письмо: «Что тут говорить? Хватит говорить... Пора научиться действовать. Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли ее продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь и с радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии? Мы должны на этот раз жестко потребовать от правительства и президента то, что они должны были (вместе с нами) сделать давно, но не сделали: все виды коммунистических и националистических партий, фронтов и объединений должны быть распущены и запрещены указом президента. Органы печати... такие, как «День», «Правда», «Советская Россия», «Литературная Россия»... и ряд других должны быть впредь до судебного разбирательства закрыты... История еще раз предоставила вам шанс сделать широкий шаг к демократии и цивилизованности. Не упустим же такой шанс еще раз, как это было уже не однажды!»

Интеллигентские взывания шли к президенту весь 93-й год. До расстрела Белого дома и после. И вдруг среди имен просто любимых появилось имя почти святое — академик Лихачев. А стреляли-то по народу...

Для меня это стало горячей точкой многих споров и расхождений, в том числе с некоторыми любимыми друзьями. Одним из доводов моих оппонентов было,

что если бы Ельцин не расстрелял Белый дом, к власти пришли бы коммунисты и фашисты. Или тогда в России началась бы гражданская война.

И в доказательство правоты этих суждений в доме одного известинского журналиста, где собралась компания моих друзей, мне, приезжему, отставшему с их точки зрения от российской жизни старику, стали показывать видеозаписи толпы, окружавшей Белый дом, и толпы с красными флагами на первомайской демонстрации, и еще какой-то толпы, и при этом очень близкая наша подруга — поэт, педагог и жена священника, милая, добрая, религиозная женщина, — причитала: вы только посмотрите на эти страшные рожи! А на лице ее было написано, что эти рожи и расстрелять не грех. Красоты в этих возбужденных, в основном не первой молодости людях, было и в самом деле не много.

И вдруг я понял, и нашел наконец-то слова, как-то формулирующие происходящее: я в гостях у современной ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, а на экране — НАРОД. И стало до меня доходить, что интеллигенция, которая когда-то ходила в народ и так жила его бедами, что даже сам этот термин «интеллигент», возникший в 19-м веке, обязательным компонентом имел любовь к народу, сегодня народа боится.

Почему? Почему раньше жалел, сочувствовал, заявлял: «Я лиру посвятил народу своему», а сейчас дрожит? Что случилось? Много раз мы слышали, что одна из причин такого панического страха — это надвигающиеся, в силу исконного антисемитизма русского народа, погромы. Действительно, подчас недовольство какой-то части народа выражалось в антисемитских настроениях. Русский антисемитизм — это своего рода отчуждение зла, это народное, во многом мифологическое, сказочное представление о том, что народ сам по себе не может быть нехорошим. Народ у нас

добрый. Народ — свой. А вот в правительство проникли какие-то чужие люди и они-то во всем виноваты. Мне в свое время приходилось много спорить на эту тему с мужиками в лагере, доказывая, что и правительство, и КГБ, и суд почти сплошь состоят из *русских*. И основной аргумент моих простонародных противников состоял в том, что разве способен русский человек на такую несправедливость? Ясно, что все это происки каких-нибудь инородцев или чужеземцев. Потому что в глубине души мы-то все хорошие, мы добрые.

Но я человек, всю жизнь воевавший с антисемитизмом, вдруг успокоился. И успокоил меня не кто-нибудь, а Жириновский. Потому что если такой процент русского народа проголосовал за него (а не надо забывать, что в 93-м году за него было вокруг 23%), ярко выраженного иудея, то, значит, мой великий народ не такой уж антисемит.

В настоящее время эта мифология видоизменилась. Заметно возросли антиамериканские настроения. Это вызвано явным избытком иностранных товаров, которые могут себе позволить купить только богатые люди. Да и сам облик Москвы — сплошь в иностранной рекламе, в иностранных вывесках и названиях, вызывает раздражение даже у меня, хотя я уже давно живу во Франции и не испытываю к Америке никаких негативных чувств. Но когда, допустим, среди Москвы, сияет световая реклама «Непревзойденный американский табак», притом что табак этот недоступен, и твоих доходов едва хватает на дрянной «Беломор», это раздражает и кажется оккупацией. Города усыпаны названиями: «Казино», «Ночной клуб Казанова» с припиской мелкими буквами — «все для интима», ресторан «У банкира», «Венерический диспансер Лолита», бар «Фламинго» и продуктовая лавка «Галант». А теперь представьте такие вывески не в Москве, где че-

го только не встретишь, а в маленьком старинном городе Переславле-Залесском, где тротуаров нет, а чистка одежды «Эдем» есть. Заграничные слова на фоне окружающей грязи и нищеты звучат как злая пародия на западный образ жизни. И дело не только в том, что магазины и киоски завалены заграничным товаром, беда в том, что у этой пародии на капитализм в России очень вульгарное и наглое лицо, и этот капитализм, приносящий массу несчастий, ассоциируется с Америкой.

Москва превратилась для москвичей в чужой город. На центральных улицах многие дома перекуплены или арендованы иностранцами, а коренное население выселяется на окраины. Ходовой валютой и символом богатства стал доллар. Происходит долларизация сознания и встречает закономерную, ответную народную неприязнь. Все чаще на стенах появляются лозунги, вроде «Долой буржуев!» или «Смерть буржуям!» и падают на подготовленную в России революционную почву. О том, что на выборах в Думу победят коммунисты, нетрудно было догадаться заранее.

В октябре 95-го года нам довелось побывать в Москве на большом коммунистическом вечере. В зале на 2000 мест все билеты были распроданы (а билет стоил 10000, что не так уж мало!). И там я разговорился с пожилым инженером. Его отец погиб на фронте. Мать, простая работница, оставшись одна с двумя детьми, сумела все-таки дать им высшее образование. А теперь, при демократах, сможет ли он обучить своих сыновей? И, естественно, он, даже не будучи коммунистом, всей душой сочувствует коммунистам.

И вот в декабре 95-го года на выборах в Думу победили коммунисты. Как же депутат-демократ, известный диссидент и правозащитник Борис Золотухин реагирует на этот факт и в чем он видит причины пора-

жения демократов? По его словам, демократы не сумели объяснить народу, почему реформы, автором которых был Гайдар, «не дали заметного улучшения жизни значительной части народа». Но ведь сколько ни объясняй народу, почему ему худо, нищета не станет приятнее. И народу позволительно спросить с демократов, то есть с интеллигента Егора Гайдара и с интеллигента Бориса Золотухина: почему вы довели народ до такой бедности? И с них спросили, проголосовав за коммунистов.

Далее Б.Золотухин переносит вину с интеллигенции на народ: «Особенность России состоит в том, что большинство народа смирилось с тем, что гарантированная зарплата нищенская, гарантированная медицина скверная. Люди, не привыкшие жить в условиях свободы, испытывают ностальгию по тому, что они потеряли. Это люди пожилого возраста, которые не могут приспособиться к жизни в новых условиях. Те, кто готов существовать на нищенскую зарплату, стоять в очередях, оказались не готовы к самостоятельной жизни, к тому, чтобы стоять за себя. Эта часть избирателей оказалась на стороне компартии» (РМ, 6.5.96).

Другими словами — народ плох, народ во всем виноват, а полуминистр Гайдар хорош? И не приходит в голову юристу, адвокату (по коренной своей профессии) Золотухину, что все-таки нельзя сначала ограбить человека, раздеть его до нитки, а потом выпустить голого на дорогу со словами «а теперь живи самостоятельно».

С тоской вспоминаю далекое прошлое, еще до революции, когда русская интеллигенция занимала достаточно широкое пространство между народом и властью. Когда она критически относилась к властям и не могла иначе. Когда в ее природный состав входила

«критически мыслящая личность», как аттестовали интеллигента в прошлом веке. Когда раболепствовать перед властями считалось для интеллигента чудовищным. «Служить бы рад, прислуживаться тошно», — сказал Чацкий, один из первых русских интеллигентов. Когда интеллигенция воспитывалась на сочувствии народу и испытывала комплекс вины за свое сравнительно привилегированное место в обществе.

Со слов сегодняшнего интеллигента получается, что народ ностальгирует по рабству и по нищете. Но на самом деле народ ностальгирует по прошлому, когда ему лучше жилось, чем живется сейчас.

Помимо нищеты, утерян смысл жизни, и это тоже печально сказывается на русском самосознании. Что давала советская власть рядовому человеку? Свободу, землю, богатство? Ничего похожего. Единственное, что она давала, это чувство правоты и сознание, что мы живем в правильном, целесообразном мире. А сейчас из советского, целесообразного космоса мы попали в хаос и не знаем толком, во что нам верить. Утрачен смысл жизни нескольких поколений. Получается, что они жили и страдали напрасно. Ведь нельзя же верить в зарю капитализма, да еще такого дикого, ужасного, похожего скорее на уголовный беспредел. Человек, вообще, склонен задаваться вопросом о смысле жизни, о цели существования. А русский человек, может быть, в особенности. По этому поводу Н.Бердяев писал еще в 1904 году: «Русская тоска по смыслу жизни — вот основной мотив нашей литературы и вот что составляет самую сокровенную сущность нашей интеллигенции».

Но это ведь не только сущность интеллигенции, это сокровенная сущность русского человека и русского народа, о котором писала наша литература весь XIX век. И вдруг выясняется, что интересы интеллигенции

и народа далеко разъехались друг от друга, и одни перестали понимать других.

За полгода до выборов в Думу, в мае 95-го года, «Общая газета» опубликовала очень интересный диалог между редактором газеты Егором Яковлевым и русским послом в Париже Юрием Рыжовым. Яковлев говорит о катастрофическом положении в стране: «Разогнан парламент, президент, по новой конституции, наделен неограниченной властью, обратная связь между властью и обществом окончательно потеряна...», а Рыжов его утешает. У одного — у редактора — остается 10 процентов надежды и 90 процентов безнадежности, а у посла, как у лица должностного, чиновного, 50 на 50, и поэтому он оптимист. Яковлев на грани отчаяния: «Все мировоззрение (у современных русских людей) сводится к тому, как бы исхитриться и выжить». Посол ему даже не возражает, а слегка поправляет: «Массы, как ты правильно говоришь, стараются выжить. Но выживание — не новая идеология, не новая мифология, это естественная реакция, пусть и во многом физиологическая. Следующему поколению будет легче». Егор Яковлев: «И все-таки ответь мне: если бы ты в апреле 1985 года сказал людям о том, что их ждет в апреле 1996-го, и позвал их за собой, они бы тебя поддержали?.. Ну хотя бы рассказал им о том, как они будут бояться вечером выйти из дома...» Юрий Рыжов: «А ты не помнишь, как они раньше боялись? Не то что выйти из дома, а шагов за дверью! Они бы мне сказали: пусть уж лучше нам будет на улицу страшно выходить, чем постоянно ждать, что за нами придут...»

Здесь посол Рыжов откровенно передергивает карту. Егор Яковлев спрашивает его о начале перестройки, о 86-ом годе, когда шагов за дверью уже никто не боялся, ибо время необоснованных репрессий давно миновало, а диссиденты к ночным шорохам не прислу-

шивались, они знали, на что шли, а Рыжов в ответ поминает сталинские репрессии.

Но ведь народ и тогда не очень боялся шагов за дверью, а боялись, в основном, или образованные слои общества, или партийные начальники. А народ иногда даже радовался, что начальников сажают. Мне в лагере один догадливый мужик даже пытался доказать, что при Сталине было лучше, потому что начальство боялось притеснять народ и вело себя скромнее. По его словам, все начальство каждые десять лет необходимо отстреливать, как в лесах периодически отстреливают волков. Чтобы слишком не размножались.

И вот Василий Аксенов, у которого много лет гноили в лагерях отца и мать, больших партийных начальников, возмущен результатами последних выборов в Думу и пишет в «Московских новостях»: «Народ проголосовал, что ж теперь поделаешь. Поражает цинизм этого проголосовавшего «народа». Выходит, все разоблачения коммунистических преступлений, произведенные в годы гласности и свободы, все эти бесчисленные дырки в затылках, были им до лампочки?..»

Слово «народ» писатель Аксенов ставит в презрительные кавычки, академик Рыжов тоже недоволен «массой», т.е. народом, а известный специалист по Достоевскому (т.е. по народу) Юрий Карякин воскликнул в прострации, когда прошлые выборы в Думу не совпали с его прогнозами: «Россия! Ты сдурела!» Вспомнить, какими словами обратился сам к себе Константин Бальмонт после Октябрьской революции, когда народ поддержал большевиков:

Ты ошибся во всем: твой любимый народ,
Он не тот, что мечтал ты, не тот.

Нынешним выборам в Думу лучше других подвел итог известный экономист Николай Шмелев: «Выборы

со всей очевидностью показали, что российское народонаселение отказывается считать себя бессловесным быдлом. И слава Богу еще, что оно выразило это свое убеждение через избирательную урну, а не гранатой и автоматом» (ОГ, 26.1.96).

К интеллигенции мне остается безуспешно взывать стихами Александра Блока восьмидесятилетней давности:

На непроглядный ужас жизни
Открой скорей, открой глаза,
Пока великая гроза
Все не смела в твоей отчизне...

3 октября 1994 года, в годовщину Черного Октября, мы с женой пришли к стадиону на Красной Пресне. Духовой оркестр играл траурные марши, кто-то митинговал, кто-то нес цветы, в стороне горлопанила Черная Сотня, которая всегда знает — кто виноват. И вдруг на меня уставилась тяжелым глазом большая старуха и говорит: не ожидала, говорит, я вас здесь встретить. Я думала, говорит, что интеллигенция совсем уже совесть потеряла! Это был голос народа. А потом мы посетили митинг у Моссовета, где прекрасная девственница Новодворская предлагала всем желающим выпить шампанское за здоровье Бориса Николаевича, Егорушки Гайдара и славных танкистов, которые так хорошо стреляли по Белому дому...

Сегодня интеллигенция начинает понемногу прозревать: если расстрел Белого дома прошел сравнительно гладко, то в войне с Чечней Ельцин, слава Богу, поддержки не получил. Заметно расширяется интеллигентская оппозиция Ельцину. Я рад, что Сергей Ковалев вернулся в диссидентство и надеюсь, что в этой роли он чувствует себя уютнее, чем в ельцинской обслуге. Не было бы счастья, да несчастье помогло. А

то бы сидел наш Сергей Адамович у господина Людо-еда советником по правам человека. Однако интеллигенция все еще не догадывается, что война в Чечне — это прямое продолжение расстрела Белого дома. И боюсь, что пока мое любимое сословие не поймет свою вину, добра не будет.

2. Интеллигенция и хлеб

8 сентября 1965 года, по дороге на лекцию, посередине московской улицы меня арестовали. Первый арест — это почти как первая любовь: помнишь все до мельчайших деталей. Так вот, последние слова, которые сказала мне жена перед выходом из дому, были такие: «Милый! У нас кончились деньги. Хорошо бы занять у кого-нибудь до получки...» Много месяцев, сначала в тюрьме, а потом в лагере, я мучился размышлением: а что они там едят — моя жена и годовалый сын? Где берут деньги на хлеб, на молоко? Через шесть лет я вернулся домой к очень богатой женщине. Жена (историк искусства по образованию) стала за это время известным дизайнером-ювелиром, организовала несуществующий тогда практически частный сектор, наладив постепенно свою маленькую артель, где у нее по вечерам, субботам и воскресеньям работали подмастерьями два человека: ученый физик и дама архитектор-реставратор. Так как в нашей сегодняшней беседе будет много цифр, то позвольте открыть счет на этом примере. Средняя зарплата интеллигента (да и вообще средняя зарплата в стране) составляла в 71-ом году 120 рублей (923 батона). Профессор МГУ получал 450–600, а у жены моей было 600–800 и море удовольствий. Подмастерья ее тоже получали намного больше своих государственных зарплат. С той поры я поверил, во-первых, в мощь и разумность частного сектора, а во вторых, в экономические способности Марии Васильевны

Розановой, и поэтому проблемами российской экономики мы всегда занимаемся вместе.

Хлеб — белый батон — в те времена стоил 13 копеек, килограмм мяса — 2 рубля.

В 73-м году мы приехали в Париж, и началась наша эмиграция. Первое, что бросилось нам в глаза помимо архитектурных красот и долгожданных романтических встреч с каким-нибудь Собором Парижской Богоматери или букинистами на набережной Сены, — это изобилие. Ешь — не хочу. Жратвы было навалом. Вскоре мы отправились в Швейцарию и всю дорогу любовались великолепно ухоженными полями и подсчитывали коров из окна поезда, начиная постигать, что все это не колхозные, а частные стада. Меня, человека достаточно далекого от экономической материи, поразила какая-то крестьянская ферма, у которой (представьте — на одной только ферме!) было 200 голов рогатого скота. Живут же люди! А тут как раз писатель Анатолий Гладилин рассказал о том, как накануне отъезда у него разболелась вся семья, и академик Сахаров одолжил ему курицу из собственного холодильника, а Гладилин не успел ему эту курицу вернуть, и до сих пор его мучает по этому поводу совесть. Мы с женой в те времена иногда делали передачи для радиостанции «Свобода» и рассказ Гладилина вдохновил нас на передачу «О чем пела курица», по аналогии с повестью Зощенко «О чем пел соловей». Там мы рассказывали о потрясающем контрасте между французским изобилием и советской бедностью. Но основной пафос наших рассуждений не сводился к тому, что на Западе все хорошо, а в России все плохо, а был направлен на воспевание частного сектора — той стороны экономики, которая полностью исчезла в Советском Союзе.

Когда началась перестройка, вдруг замелькали весьма привлекательные слова: НЭП (вспомнили та-

кое слово), семейный подряд, кооперативный магазин, фермер, Столыпин (не вагон, а министр). И вот, гуляя по Москве 90-го года и проголодавшись изрядно, на Арбатской площади мы купили частный домашний пирожок с мясом. Это был чудесный пирожок. Лучку — в пропорции. Соли и перца — тоже. Пока мы прошли весь Арбат до Смоленской, знакомство с частным сектором захотелось продолжить. И мы еще раз купили по пирожку с мясом. Так вот, братцы мои гражданочки, не пирожок это был, а халтура. Мяса — мало, теста — много, масло пахло не тем. «Смотри, Синявский, — сказала жена моя Мария Васильевна. — А ведь это называется конкуренцией. Хороший пирожок соберет вокруг себя клиентуру, расширит производство, захватит рынок, и, глядишь, через сколько-то лет из этого пирожка вырастет почти что “Кентакки-чикен”. А плохой пирожок должен погибнуть!»

Тогда же нас прекрасно накормили в кооперативном кафе, это было уже дороговато, но еще доступно. Прораб перестройки Анатолий Стреляный сделал тогда же фильм «Архангельский мужик» о том, как хорошо выращивать бычков фермерским способом. А компания знакомых инженеров, зараженных экологическими идеями, организовала маленькую фирму «Озон», которая разрабатывала очистительные системы для промышленных предприятий. Я спросил, а не боится ли наш друг прогореть, на что начинающий хозяин фирмы гордо ответил: «Андрей Донатович! Мы делаем то, что надо всем. Ни один завод не имеет права работать, если у него не будут в порядке очистительные системы. Нас десять человек, и мы будем завалены работой всегда!» Фирма “Озон” арендовала у Моссовета прелестный ампирный особнячок в арбатских переулках, но глава фирмы засматривался на прекрасный дом восемнадцатого века архитектора Баженова и

мечтательно говорил: «Если бы “Озону” сдали в аренду частицу этого здания, мы отреставрировали бы Моссовету весь дом». Как видите, начало горбачевских экономических реформ дало человеку и уверенность в завтрашнем дне, и ощущение необходимости собственного труда, и даже замашки на благотворительность.

Но очень быстро в зачатки новой экономики стали вмешиваться рэкетеры, чиновники, криминальные авторитеты и налоги. Юным производствам жить стало очень неудобно. Цены полезли вверх, полки в магазинах опустели, на целый ряд товаров были введены талоны.

Через несколько лет Горбачев признавал: «Мы упустили многое с малым бизнесом, с аграрным сектором, с реформированием системы ценообразования, не смогли урегулировать рынок. Это вызвало нарастание недовольства, ибо реформы не приносили ощутимых результатов» (Пер., 21).

Действительно, свободы, выданные в политических областях, не получили подкрепления в сфере экономики. А ведь даже минимальный экономический успех дал бы Горбачеву большой выигрыш за счет увеличения социальной базы перестройки. Но с экономикой Горбачев просто-напросто опоздал. Может быть, потому, что решение экономических проблем оказалось более сложным и требовало большего времени и длительных, напряженных усилий. И если большинство населения поддержало перестройку в раннюю пору надежд и радостных ожиданий, то вскоре в народе наступило заметное охлаждение. Потому что, получив свободу, он не получил хлеба. В результате для народа что Горбачев, что Ельцин — одна сатана, одно разорение. Демократия в глазах народа стала синонимом нищеты, казнокрадства и воровства. Это крайне опасно

в стране, не имеющей устойчивой демократической традиции, — разочароваться в демократии, едва она началась. Я помню случайную встречу на московской улице с лихим полупьяным парнем в ковбойской шляпе, попросившим у меня огонька для сигареты. Он горестно показывал обшарпанный, разлохмаченный коробок спичек, которые не зажигались, и тупо повторял: «вот что Горбач наделал!..»

В начале 92-го года Ельцин обрушил на страну гайдаровскую реформу. Начался экономический обвал. Началось обнищание населения. Появились первые голодающие. Вы думаете, цвет нации встал на их защиту? Ничего подобного!

В «Литературной газете» появилось следующее письмо:

«Глубокоуважаемый господин Президент!

Как граждане России, считаем долгом выразить решительную поддержку курсу радикальных реформ. Пусть Вас не остановят истерики временщиков, ощущающих иллюзорность своего бытия подле путей российской истории. Петр Аркадьевич Столыпин не колебался в предпочтении блага страны пиетету перед парламентскими формами, до которых ни один народ не дорастал вмиг. Верим, что россияне поддержат правительство республики. Убеждены, что прямое обращение к ним — насущный шаг. Отлагательств он не терпит».

12 апреля 1992 г.

Среди подписавших: Зоя Крахмальникова, Булат Окуджава, Игорь Виноградов, Евгений Пастернак.

Я хочу обратить ваше внимание на призыв интеллигенции не чувствовать «пиетета перед парламентскими формами, до которых ни один народ не дорастал вмиг». Это прямой намек на Верховный Совет, где раздалась первые недовольные реформой голоса.

Летом 92-го года мы попали в гайдаровскую Москву и ужаснулись: появилось чувство, что мы вернулись в нашу военную юность с ее нищетой, грязью, несчастными старухами, которые рылись по помойкам или несли на рынок свой последний скарб — старые калоши, какую-то металлическую дрянь, гвоздики, шурупчики, цветы в горшках, подушки.

Чудовищно выглядели букинистические магазины: в них было все! Я всю жизнь собирал книги, у меня хорошая библиотека, но такое изобилие я видел только в войну, когда редчайшие издания, за которыми по много лет гонялись коллекционеры, отрывались от сердца и менялись на хлеб. История повторилась.

Мы пытались объяснить с русской интеллигенцией. Мы пытались понять ее равнодушие к народной беде.

— Первоначальное накопление. Во всем мире так было, — сказал академик Рыжов, бывший ректор авиационного института, а сейчас российский посол во Франции.

— Подумаешь, у вас в Европе тоже нищих полно, — ответил мне член президентского совета, известный знаток Достоевского Юрий Карякин.

— Пусть вертятся, пусть ищут, пусть продают бутылки или сдают квартиры, — безоблачно улыбался депутат Верховного Совета, тогда еще не расстрелянного, легендарный диссидентский адвокат Борис Золотухин.

— Ну, я не экономист, — гордо возразила член президентского совета Мариэтта Чудакова.

А я тоже не экономист. Спросите меня сейчас — что такое монетарная система? Не знаю. А международный валютный фонд? Тоже не знаю. Но мне понятно, что экономика, может быть, больше, чем какая-либо другая область человеческой деятельности, должна исходить из здравого смысла.

Ну, а что же пирожки, кафе, фирма «Озон»? К середине 94-го года со всей этой мелкой буржуазией было покончено. Кооперативное кафе около Дома кино закрыто, пирожков на Арбате больше нет, а генеральный директор фирмы «Озон», отводя глаза и явно стесняясь, говорил, что он теперь занимается другими работами. Какими? Мнется... А все-таки — какими? Уходит от ответа. А потом признался, что занимается бизнесом. Но если в западном понимании слово «бизнес» включает в себя множество понятий, то основной смысл «бизнеса» в России — это торговля, купить-продать. Наш нежный друг торгует. Чем придется. Сначала это была одежда, сегодня — какие-то фотокиноматериалы. Зарабатывает прилично. А в глазах — тоска.

Где же «Озон»? Десять инженеров и уверенность в победе? И наш друг рассказал о том, как стали внезапно прекращаться заказы. Один клиент отпал, другой исчез, причины никто не сообщает, глаза прячут. С большим трудом удалось разговорить одного заказчика, который все объяснил просто: «Ну, зачем мне у тебя проект очистки заказывать, а потом ее, эту чертову очистку, строить, если я чиновнику, который удостоверяет, что у меня все в порядке, дам на лапу, и он что угодно подпишет? Ему ведь тоже пить-есть надо, да и у меня экономия».

Поэтому мне нравится Григорий Явлинский, который говорит:

«Я считаю, что приход на государственную должность должен давать человеку широкие возможности в смысле получения квартиры, жизненного комфорта и тому подобных вещей... Но если ты попался на коррупции или на чем-то подобном — все, до свиданья, ты не сешь серьезнейшую материальную ответственность. Потому что нельзя, чтобы в бедной стране была роскошествующая, не имеющая никаких ограничений власть. Граждане могут быть безмерно богатыми, и

это хорошо. Бизнесмен может быть богатым, профессор — должен быть. Но власть — не может. Это правило, закон для России. Потому, что если не будет скромной власти, — не будет доверия людей. Не будет доверия людей — не будет никаких результатов».

В феврале 94-го года я приехал в Москву, прихватив с собой видеокассету. Швейцарская журналистка Тереза Обрехт сняла документальный телефильм «Умереть в Москве». Действие разворачивается на кладбище, в казино, у привокзального рынка, в морге, в конторе молодых бизнесменов и на городской свалке. Это был горький и страшный фильм о том, как новый режим разделил страну на богатых и бедных. На очень богатых и очень бедных. Основной сюжет — как нынче хоронят. Одних — в целлофановых мешках (или вообще не забирают труп отца из больницы), других — в роскошных гробах (которые даже имеют красивые названия — гроб «Пушкин», например). Фильм про то, как старики и старухи роются по свалкам, разгребая кучи мусора в поисках съестного.

Я пытался показать эту пленку московским друзьям — поэтам, журналистам, правозащитникам. — А мы все это знаем, — возразили равнодушно друзья-правозащитники. — И не пугайте нас! Ведь как-то живут люди. Никто еще не умер...

И мы перестаем слушать наших друзей и погружаемся в газеты. В материю. А там — тоже про смерть. Степень нищеты дошла до того, что в газете можно встретить взывания: «Помогите похоронить человека!»

«...В 1992 году все сбережения были обесценены. В настоящее время состояние мамы ухудшилось. Она буквально одной ногой в могиле. Денег хватает только прокормиться, из-за больной печени нужны фрукты, не хватает денег на лекарства сыну, на починку старой обуви, на парикмахерскую...

Но главная проблема — грядущие похороны. Мама хочет, чтобы похоронили по-христиански, с отпеванием в церкви. Помогите, — взывает женщина, — скажите, где взять деньги на похороны?» (НГ, 30.8.1994).

Это была «Независимая газета». А вот вам «Московский комсомолец»:

«Семь полуразложившихся трупов лежат прямо на улице и валяются на солнце. Тела прикрыты полиэтиленовой пленкой, из-под которой торчат босые ноги. Вонь стоит в радиусе 30 метров такая, что можно лишиться рассудка. Над всем этим скорбным пейзажем, — пишет корреспондент, — кружится стая огромных зеленых мух. Трупы лежат под стеной убогого, одноэтажного и единственного на ближайшие 100 километров морга Мытищинской центральной районной больницы. Здесь же — больничная пищеблок. Мухи, естественно, общие. Рядом — жилая пятиэтажка, люди живут...

— А куда я их дену? — говорит раздосадованный вопросом прессы главврач больницы. — Трупы эти невосребованные, к тому же вшивые, к тому же подследственные. Их без разрешения милиции хоронить никак нельзя... А чего вы удивляетесь? Это не только у нас. Вы в Пушкино съездите. Да и вообще по областным больницам прокатитесь...» (МК, 21.9.1994).

Но хватит о мертвых, давайте займемся живыми. Журналистке газеты «Век» (а это совсем не оппозиционная газета) попался потрясающий документ: книга расходов пенсионерки Московской области Тамары Ивановны, вдовы 66 лет, куда день за днем вписывались ее траты. Итак, как строит пенсионерка свой бюджет?

Пенсия — 141000 рублей. Лекарства — 10000, зубная паста — 2000, мыло хозяйственное — 2800, мыло туалетное — 1600, пачка самого дешевого стирально-

го порошка — 5000, отправлено два письма — 3200. Плюс квартплата, радио, электроэнергия — это еще около 30000. Остается на питание — 90000. Как на них прожить, если минимальная продуктовая корзина в Московской области составляла 188767 рублей?

И Тамара Ивановна делится опытом. На месяц покупается пачка масла (200 граммов) и банка тушенки. Если добавлять по чайной ложке в постный суп — дней на 20 хватит. Десяток яиц. 16 буханок черного хлеба на месяц по 2 тысячи за штуку. Белый хлеб — лакомство: никак не выкроить больше, чем на три батона. Пачка чая — 3 тысячи. Ведро картошки на месяц — 16 тысяч рублей. На прочие овощи (не говоря уже о фруктах) денег нет. Бутылка растительного масла — 10 тысяч рублей. В рационе Тамары Ивановны нет не только фруктов, но и мяса, рыбы, колбасы, молочных продуктов. Конфеты, варенье, пирожные — все осталось в коммунистическом прошлом. Даже макароны не получается покупать каждый месяц. Среди заметок этого горестного финансового дневника есть такие: «Посещение кино, музеев и прочие культурные мероприятия нам теперь недоступны до конца жизни... Осталось в прошлом общение с друзьями. Ведь гости — удовольствие теперь дорогое» («Век», 17.11.95).

«Средний размер пособия по безработице составляет сейчас около 200 тысяч рублей. Это при том, что прожиточный минимум уже превысил 300-тысячный рубеж, а в северных районах достиг полумиллиона. Добавим, что почти половина безработных вообще может претендовать лишь на минимальные — 70–80 тысяч рублей, при которых даже хлеб становится лакомством и роскошью. «Едим в основном комбикорм. На завтрак, обед и ужин», — эти слова не раз приходилось слышать в беседах с безработными» (И, 22.2.96).

«— Помнится, наш президент грозился лечь на

рельсы, если в стране не будет обещанных им сдвигов к лучшему. Но это, видимо, придется сделать нам, чтобы привлечь наконец-то его внимание к нашим бедам, чтобы он увидел, что сдвиги у нас только к худшему» (И, 1.3.96).

Может быть, я впадаю в детство, но я сижу и как когда-то, маленьким, режу газеты. В те светлые времена я вырезал картинки. Сегодня — вопли отчаяния. Получается какая-то бесконечная повесть о безнадежности и конце света. Голод, безработица, падение уровня производства (есть у меня и такая подборка!), что дальше? А дальше выползает страшное слово «ДЕМОГРАФИЯ», и выясняется, что Россия сегодня накануне демографической катастрофы, что смертность превышает рождаемость, что продолжительность жизни резко сокращается, что число самоубийств растет, а на 100 новорожденных приходится 240 абортов.

Я начинал эту лекцию с рассказа о нашей передаче на радиостанции «Свобода» «О чем пела курица», которая была посвящена тяжелому материальному положению советского народа. Когда я сегодня вспоминаю о советских продовольственных невзгодах семидесятых годов, мне становится смешно. И горько. Горько за голодный народ, горько за его эгоистическую интеллигентскую элиту, за моего друга-священника, с которым у меня был довольно примечательный разговор. Он спросил, как мне нравится новое московское строительство — Иверские ворота на Красной площади и Храм Христа Спасителя? Я пытался достучаться до его религиозного сердца, говоря о том, что на фоне катастрофического обнищания народа все эти правительственные стройки выглядят несколько кошунственно, почти как сталинские «великие стройки коммунизма», на что друг-священник совершенно спокойно сказал, что нищие на Руси были всегда и что нищие

уходят (понимай — умирают!), а храмы остаются... Другой интеллигент с горячностью мне возразил: «Да у этих нищих денег побольше, чем у нас с вами!» А я видел, как моя жена, выходя из булочной, отдала батон старухе, которая просила хлеба. Меня перебивают со смехом: «Да эта старуха тут же пошла этим батонком торговать!» Нет, старуха, не отходя ни на шаг, с жадностью начала есть...

Другими словами — они о высоком, о вечном, а я о простом, о низком, о хлебе, о котором почему-то не хотят знать и задуматься многие мои друзья. Почему? Как один из ответов у писателя и журналиста Александра Бородыни вдруг мелькнуло мерзкое слово «привыкание»: «...Я около двух лет проработал на телевидении в криминальной хронике. Куда уж дальше: убийства, кровь. Реальная кровь, я ее насмотрелся. Сперва тошнило. Теперь ловлю себя на том, что спокойно могу смотреть на трупы, скажем, двух девочек, убитых собственной матерью. То есть я уже безразличен. Огромный массив ужаса вызывает не отторжение, а привыкание» (ОГ, 7.10.1994).

Что делать народу? — спрашиваю. «Пусть крутятся, пусть изворачиваются, пусть продают бутылки, а то привыкли жить на всем готовом, на шее государства», — упрекает интеллигенция свой безынициативный народ. И народ иногда проявляет инициативу:

«В Саратове к двум годам лишения свободы в лагере строгого режима, к выплате 60-тысячного штрафа и принудительному лечению от алкоголизма приговорил за мошенничество городской суд 62-летнего Юрия Лукина. Полгода назад — будучи сторожем — тот зашел в пьяном виде в секционную морга железнодорожной клинической больницы, набрал из металлического ящика около трех килограммов ампутированных во время операций человеческих органов и продал их

на местном базаре, выдав за обычное мясо» (ИМА-Пресс, 12.10.1994).

Интеллигенция разделилась. За Ельцина-Гайдара и против. Настало время полемик и взаимных претензий. А мы начали «ходить в народ» — сперва по московским рынкам, а потом и по провинции. Видим — российского продукта становится все меньше и меньше. А рынки завалены очень знакомыми овощами и фруктами.

Подходим к одному. — Откуда баклажаны? — Из Германии. К другому: — Откуда красный перец? — Из Голландии. — Откуда розы? — Из Эквадора.

— Это что за сорт яблок? — спросила как-то моя жена.

— Гольден.

— А разве гольден в России растет?

— А это из Голландии.

— А что, своих яблок уже нет?

— Да какие у нас яблоки, если мы то воюем, то митингуем. Да и доставлять их трудно...

— Что, из Голландии легче доставлять? — не унималась жена.

— Да как вы, дамочка, не понимаете, — взорвался продавец. — Вот я эти яблоки продам, и в Голландии будет на двух безработных меньше, а на наших-то безработных всем плевать!

Я подивился — и откуда в этом мужике столько здравого смысла?

В провинции все было еще хуже. Мы возвращались в Москву из Белоруссии по старой Смоленской дороге, и на всем нашем пути вдоль дороги стояли люди с эмалированными кастрюлями. Почему? Среди лесов? Откуда? Оказалось, что на одном из кастрюльных заводов несколько месяцев не платили зарплату, а потом рассчитались с рабочими живым товаром.

Газета «Труд» сообщает о том же:

«Не все умельцы Гусь-Хрустального верят в теорию Карла Маркса, но все до единого живут по его бессмертной формуле: товар-деньги-товар. Российская власть вынуждает их к этому. Не получая регулярно зарплату, они умудряются пускать на рынок результаты своего труда. Этими самыми «результатами» зарплату и выдают сегодня. Лучший в державе нашей хрусталь, пожалуй, больше всего пользуется спросом у мимоезжей публики. Благо, что у железной дороги хватает станций, а по автодорогам ездят через эти места множество путников. И как только останавливается поезд или автобус, вокруг разносится нежнейший звон бокалов, фужеров, салатниц. Разноцветные кони и прочие дивные существа, сделанные из стекла, так и просятся: купите нас, мы такие ладные и дешевые!

Ну, а что же странники? Покупают, позволяя трудягам-мастерам сводить кое-как концы с концами: продавать талант свой, получать деньги и покупать колбасу, картошку, хлеб, одежду-обувь. Так и живут, как во времена средневекового рынка» (Т, 23.6.94).

Газета «Московский комсомолец» выбирает сюжет попикантнее и рассказывает о том, что вологодским лесорубам выдали зарплату женскими гигиеническими прокладками, а попутчики в поезде «Москва-Караганда» рассказывали нам, как в Караганде рассчитались с рабочими водкой и что из этого вышло. Где-то выдали зарплату бюстгальтерами, где-то — тканями, а рабочим совхоза недалеко от Старой Руссы Новгородской области — телятами...

Вот к какому выводу пришли социологи фонда «Общественное мнение», проанализировав результаты всероссийского опроса городского и сельского населения (опрошено 1370 респондентов).

Ни в одном районе, исключая Москву и Санкт-Петербург, число респондентов, для которых жизнь при

капитализме лучше, не превышает числа тех, кто выбирает социализм. А в Поволжье предпочитающих социализм почти в семь раз больше, чем сторонников капиталистического будущего (соответственно 68% и 10%).

Только среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга большинство — 59% — против возвращения «эпохи застоя». В остальных населенных пунктах и во всех регионах страны больше сторонников такой реставрации, чем противников (ОГ, 27.4.95).

Говорить о сегодняшней трагедии России можно на любом материале — давайте пройдемся только по заголовкам газет:

ХОРОШАЯ СЕЙЧАС ЖИЗНЬ — ЕСТЬ ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ПОНЮХАТЬ!

БАЛЕТ И ВОДКА — МЫ ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ!

УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ В ОКТЯБРЕ:

общий индекс инфляции за месяц — 104,7%; с начала года — 214,4%.

В ОЧЕРЕДИ — ДО САМОЙ СМЕРТИ.

НИЩЕТА ДРАМАТИЧНА НЕ ОТСУТСТВИЕМ ДЕНЕГ, А УТРАТОЙ ДОСТОИНСТВА.

Учителя: НАША НИЩЕТА ДОШЛА ДО ПРЕДЕЛА.

ДОЛГ ГОСУДАРСТВА ТРУДЯЩИМСЯ ВЫРОС ВДВОЕ.

Недоплачено 11,5 триллиона заработанных рублей. Снижение уровня жизни россиян продолжается.

СБОР СРЕДСТВ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ ПРОВАЛЕН.

Без работы, без денег, без хлеба остались сегодня тысячи дальневосточников.

5847 ЗАБАСТОВОК СОСТОЯЛОСЬ В СТРАНЕ С НАЧАЛА ГОДА.

ЦЕНЫ НА МАСЛО, САХАР И БЕНЗИН У НАС ВЫШЕ МИРОВЫХ.

БОРИС ЕЛЬЦИН НАМЕРЕН ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ НЕЛЕГАЛЬНОМУ ВЫВОЗУ КАПИТАЛА.

КОЛЫБЕЛЕЙ ВСЕ МЕНЬШЕ.

Россия накануне демографической катастрофы.

ПИШУ С ТОГО СВЕТА...

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ОБУВЬ СНОСИЛАСЬ ЗА ВРЕМЯ РЕФОРМ.

Объявления нам тоже о многом расскажут. По газетным объявлениям видишь, как мечется страна. Продается и покупается все на свете. Но есть предпочтения. Например, среди собак особым успехом пользуются «злобные щенки от злобных родителей». Преподается рукопашный бой из «Школы выживания». Требуется шофер со знанием карате или водитель-телохранитель. Девушки-кассирши, желая поступить на работу, иногда помечают в скобках: «не интим», а иногда не помечают. Кто-то продает «Четыре колеса от детской коляски», а кто-то «две упаковки ваты». Значит, продают последнее.

Мир един. Поэтому как живут, так и поют. С некоторым ошеломлением мы услышали припев какой-то песни: «Нищета ты моя, нищета...», почти как «Шаганэ ты моя, Шаганэ...» А интеллигенты замурлыкали песенку, не очень понимая, про что они поют:

Лучше быть сытым, чем голодным,
Лучше жить в мире, чем в борьбе,
Лучше быть нужным, чем свободным,
Это я знаю по себе.

Это звучит, я сказал бы, с грустным цинизмом: «лучше быть нужным, чем свободным». На первый план выдвигается идея личной востребованности и даже завербованности. И — побеждает. Это все-таки лучше, чем смерть от голода.

Страдает не только народ, страдает интеллигенция, а вместе с нею наука, искусство, которым достается в разоренной стране.

На одной из недавних конференций в Москве академик Б.В. Раушенбах (глубокий старик, 1915 года рождения) сокрушался:

«Нашим сегодняшним руководителям абсолютно безразлично, какой будет Россия через 20 лет. Они дальше своего носа — двух-трех лет — ничего не видят. А ведь бывало и иначе. Взять хотя бы 1918 год. Положение в стране было хуже сегодняшнего, однако Ленин организовал в это время такие научные центры, как ЦАГИ (центральный аэрогидродинамический институт), Физико-Технический институт в Питере, который дал нам Нобелевских лауреатов — Капицу и Семёнова, руководителя наших атомных программ Курчатова и многих других ученых. Ленин смотрел в будущее, а не себе под ноги. Взять жуткое время Сталина, который, безжалостно уничтожая отдельных ученых, не прекращал финансирование науки, в которую на

место репрессированных приходили другие работники. Наука, как целое, несмотря на сталинский террор, двигалась вперед. Он тоже смотрел в будущее. Не то сегодня — наши ученые вынуждены уезжать на Запад, так как здесь им просто не дают работать. Дело не в зарплате (которая издевательски мала), а в том, что не финансируется покупка нужных приборов и реактивов, не создаются нужные экспериментальные установки. Короче, делается все, чтобы исключить возможность научной работы на родине».

В какой-то мере ему вторил Станислав Говорухин: «Помните наш революционный Пятый съезд кинематографистов? Дайте нам только свободу, и ничего нам больше не надо. Не надо нас даже дотировать, сами управимся. И что получилось? Каковы результаты? Отменили полку запретных картин. Между тем большинство лежащих на ней картин было запрещено отнюдь не по идейным соображениям, как потом выяснилось. Там скопилась в основном всякая непотребщина, и когда их выволокли на свет, это выяснилось. И что же получилось? Та же полка и осталась, только лежит на ней гораздо больше картин. По политическим соображениям только одна моя картина — “Великая криминальная революция”, которая так и не дошла до зрителя. А остальные по той причине, что мы в этом угаре борьбы сумели уничтожить самое лучшее, что у нас было в кинематографе — это систему кинопроката. Когда фильм можно было посмотреть в любой деревне, на любой метеостанции. А сегодня около двухсот картин, которые выпускает отечественный кинематограф, в сущности оказались на полке, потому что до зрителей они не доходят. Мы создали новый феномен — кино без зрителей. Начали мы как революционеры, а кончили как расстрельщики, как жуткие реакционеры». (Пер., 164, 206)

Но не надо думать, что так уж всем плохо. Подрастает надежда нашей интеллигенции — новый класс. Почти по Джиласу. Со своими развлечениями.

«Работники сочинского дома отдыха “Золотая роща” используют для своего бизнеса расположенную здесь же дачу Сталина. Собрали разворованную мебель, по воспоминаниям очевидцев восстановили интерьер и даже посадили в гостиной самого величайшего гения человечества, сделанного за 7 миллионов рублей.

— Привезли восковую фигуру в разобранном виде и уже на месте смонтировали, — говорит заместитель директора дома отдыха товарищ Шишкин. — Теперь рядом с фигурой фотографируются постояльцы. Иосиф Виссарионович обещает себя окупить в самое ближайшее время.

Ну, а в самих апартаментах поселяются уважаемые люди, бизнесмены, государственные деятели, прочие состоятельные клиенты. Цены терпимые. Например, сутки в спальне дочери Сталина Светланы — стоят всего лишь 360 тысяч рублей, — по ценам на февраль 1995 года. Зато впечатлений сколько!

А самые дорогие апартаменты на даче стоят полмиллиона рублей в сутки. Но это без питания. С питанием, лечением и т.п. будет под миллион. Клиенты стабильные. Отдыхать приезжают семьями. В статье под названием “Ночь наедине со Сталиным” сообщается, что на даче проводятся даже важные государственные мероприятия. Говорят, что в Сталинских покоях хорошо думается, но главное — быстро и без волокиты решаются важные вопросы. Может, поэтому там была проведена Всероссийская встреча региональных представителей президента». (КП, 15.3.95, цитирую по В.Писигину).

Ижевская фабрика «Гамбит» предлагает преуспева-

ющим жителям и гостям Ижевска вечеринку за колючей проволокой. «Как сообщил директор фирмы, экскурсия в зону, расположенную в поселке Каракалай, запланирована для потенциальных партнеров предприятий оборонного комплекса. После напряженных переговоров они смогут немного расслабиться в непринужденной обстановке. Туристы отведают тюремной баланды, побеседуют с молодыми авторитетами, сфотографируются в тюремной робе. Для тех, кого не устроит лагерный рацион, предусмотрены другие, более изысканные блюда. Стоимость уик-энда — 500 долларов. Первая группа любителей тюремной экзотики уже набрана» (Т, 18.10.1994).

«На полигоне под Красноармейском разрешено устраивать так называемые военные туры. Теперь желающие, заплатив соответствующую сумму, могут попрактиковаться в стрельбе бронебойно-подкалиберным снарядом из танка Т-80 по подвижным и неподвижным мишеням. Или пострелять из пушек, самоходок, гранатометов и огнеметов.

Стоимость одного выстрела из артиллерийской установки “Гиацинт” (152 мм) — 300 долларов. Из танка Т-80 — 500. Цели возможны любые. Хотите — вам поставят щит с нарисованным на нем танком, а хотите — поставят мишенью старый или разбитый танк или бронемашину. Знай плати только. Думаю, за такие деньги и от живых мишеней отбою не будет, только дайте объявления» (МК, 2.12.1994).

Прошло четыре года с гайдаровской реформы, и сейчас совершенно ясно, что она провалилась. Гайдар и его интеллигентная команда пытаются сегодня доказать, что если бы не эта реформа — в стране начался бы голод. Неужели вы не помните пустые полки магазинов? — спрашивают они, — когда молока хватало только на два-три часа, хлеб был не всегда, про сыр вообще

забыли, а многие товары выдавали лишь по талонам? Вы же сами бывали в Москве в эти времена.

Мы помним. Мы все хорошо помним. Но почему-то наши оппоненты напрочь забыли о вострепёнувших тогда криминальных структурах, о том, как товары, выехав за ворота производителя, не доезжали до потребителя, а оседали на подпольных складах. Это был первый звоночек, говорящий о том, что советский криминал тоже готовится к рыночной экономике и к шоковой терапии.

Во-вторых, никто из сегодняшних защитников Гайдара и любителей слова «дефицит» не хочет додумать, что этот самый дефицит можно создать двумя способами. Первый способ — лишить потребителя товаров, а другой — лишить потребителя денег. Результат же в конечном счете один.

И еще одно рассуждение. Действительно, до Гайдара в магазинах были пустые полки, но были одновременно рынки, где втридорога продавалось все. Но ведь втридорога! — восклицают мои оппоненты, вместо того, чтобы с помощью очень несложных расчетов увидеть, что молоко, купленное в горбачевские времена на рынке, стоило дешевле (относительно средней зарплаты), чем сегодняшнее молоко в магазине.

И наконец главное. Не может проводить такие роковые для всей страны реформы человек, который меняет свои профессиональные взгляды, как перчатки. Еще в августе 1989 года он восставал против частной собственности и против рынка и стоял исключительно за «курс на обновление социализма, включавший и демократизацию общественной жизни, и... развитие системы социальных гарантий».

К сожалению, у интеллигентов короткая память, и к старым газетам они не возвращаются. А это была цитата из статьи Гайдара в «Московских новостях».

Злые языки утверждают, что хорошего социалистического мальчика Гайдара научили дурному плохие дяди из Америки — Эндус Ослунд и Джеффри Сакс. Я не знаю ни того, ни другого. И вообще, все это, может быть, недоброжелательные слухи. Но мы уже говорили на материале языка реклам и названий о растущих в России антиамериканских настроениях.

Недавно в журнале «Октябрь» я прочел два рассказа молодых писателей о современной жизни. Один рассказ про то, как учительница английского языка, почтенная интеллигентная дама мошенничает и приворочывает на базаре, и случайно совершает кражу у своего бывшего ученика, торгующего на базаре мясом. Оба они потеряли в новых обстоятельствах свое призвание и лицо и с трудом узнают друг друга. Второй рассказ о том, как вор-подросток забирается в чужую квартиру и неожиданно встречает там маленькую интеллигентную девочку. Дети с разным жизненным и психологическим опытом начинают играть и дружить, пока не является мать нашей девочки и не вызывает милицию, чтобы задержать беспризорника.

Оба эти рассказа — правдивые, реалистические, остродраматические и добротны написанные. Как говорится, с художественными достоинствами. Но увы, своим драматизмом, остротой коллизий и накалом страстей ежедневная газета превосходит сейчас любую литературу. Если проблема «быть или не быть» решается по четыре раза в день на всех углах, вкус к Шекспиру притупляется.

Как литератору мне стало обидно за собратьев по перу, и над головой завис риторический вопрос, на который пока что у меня нет ответа: что же делать теперь бедной литературе со всеми ее превосходными художественными особенностями? Как состязаться с замечательной книгой Валерия Писигина «Хроника безвре-

меня» (М., 1995), сплошь построенной на документальном, газетном, почти коллажном материале? Своеобразие этой книги в том, что автор никого не обвиняет и почти не говорит от себя. Он показывает не отдельных людей, а процессы, происшедшие в стране и охватывающие всех — от президента, расстрелявшего Белый дом, до малолетнего уголовника, зарезавшего товарища. Книга проникнута мыслью, что России, чтобы прийти к демократии, необходимо измениться всенародно. Я бы сказал, что это очень глубокая и очень печальная книга.

Но мы с вами, к сожалению, занимаемся здесь не проблемами изящной словесности, а самой низкой житейской прозой.

3. Интеллигенция и демократия

Мы прожили во Франции уже лет семь, когда там прокатились очередные длительные забастовки транспорта и почты, причинившие населению (и нам в том числе) массу серьезных неудобств. Ходить на работу пешком или ждать часами в запруженном метро, неделями не получать письма и газеты — не такое уж удовольствие. И вот я начал в присутствии 15-летнего сына громко роптать и жаловаться на французские порядки. Я говорил, фантазируя, что некоторым профессиям — работникам связи и транспорта, полиции и медицины — надо изначально запретить бастовать и брать с них при поступлении на работу соответствующую подписку. В противном случае вся жизнь в стране развалится. И вдруг мой юный сын на меня восстал. «Папа! — сказал он. — Ну как ты не понимаешь! Право только потому право, что оно равное для всех. А если оно не равное для всех, то это уже не право, а привилегия».

И я слегка устыдился. Мой сын куда больше фран-

цуз, чем я. А во мне, несмотря на демократические пристрастия и симпатии, говорят, вероятно, время от времени советские реликты и навыки. Во всяком случае, мой малолетний сын преподнес мне урок демократии.

Когда в конце 1994 года поэтессу Юнну Мориц спросили: что на сегодняшний день волнует ее больше всего? — она ответила: «Необходимость выживать, а не жить. Подмена жизни выживанием отравляет людей. Если в стране не работают законы, то в стране ничего не изменилось» (ОГ, 7.10.94).

Обратите внимание: ничего не изменилось! Несмотря на то, что в России давно уже объявлена демократия.

Вспомним 91-й год. Август. Ельцин, Руцкой и Хасбулатов на демократических танках перед Белым домом. Общее ликование. Нам в Париж звонит из Москвы поэт Андрей Чернов и кричит: «Поздравьте нас! Мы стали наконец-то свободными! Мы стали европейцами!» На какой-то миг показалось, что в России действительно победила демократия, и советское рабство осталось далеко позади. Но вскоре кое у кого возникли сомнения.

15 ноября 1991 года в редакционной статье журнала «Синтаксис» говорилось: «Итак, три дня переворота, три дня эйфории, а затем начались сомнения: а демократы ли победители? И насколько свердловская мафия прогрессивнее днепропетровской? И можно ли грабить награбленное? И не восходят ли эти вопросы к самой природе советского государства, способного, даже разрушаясь, еще множество раз воспроизводить себя?»

Многие рассуждения в этих лекциях я начинаю с пыльных газет. Так вот, перебирая газетные завалы последних лет, я обнаружил, что если с построением демократии пополам с капитализмом страна в полной

запруде, то все-таки умы на России не перевелись. Не все обезумели, не все впали в коллективное помешательство. Более того, чем дальше отплываешь от смутных 91-го и 93-го годов, тем яснее проступают тексты аналитиков, чьи глаза не застили родные стадные эмоции и кто не побоялся иметь о происходящем свое, не в ногу, мнение, строить свои прогнозы, и чьи прогнозы оправдались. И мы — журнал «Синтаксис» — решили, что, во-первых, таким текстам (равно как другим из ряда вон выходящим) нельзя дать затеряться. Поэтому мы будем регулярно их перепечатывать, работая тем самым стариком Державиным. Помните: «Старик Державин нас заметил...»?

А во-вторых, подвиг свободомыслия должен быть вознагражден. И вот в мир столь модных сегодня премий: шведский Нобель, американский Пулитцер, английский русский Букер, одесский Золотой Дюк, мы вносим и свою лепту, учреждая ежегодную премию «КАССАНДРА» — ЗА ТРЕЗВОСТЬ ВЗГЛЯДА, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ И ТОЧНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ.

После долгих прений жюри «Кассандры», куда были приглашены и Пушкин, и Лермонтов, и маркиз де Кюстин, постановило: наградить премией «Кассандра» Дмитрия Фурмана (Москва).

Вот что он предсказывал в «Независимой газете» 3 сентября 91-го года:

«Путч 19 августа... и одновременно “героическая защита Белого дома” дали как бы индульгенцию на все. Вновь закрываются газеты (теперь уже — недемократические), смещаются нелояльные местные власти... В российском парламенте торжествует новый (и одновременно — очень древний) дух “аплодисментов, переходящих в овацию”... Победа демократов оборачивается серьезной угрозой для демократии, и уже

очень четко вырисовывается перспектива авторитарного популистского режима с вождем, “народным президентом” во главе, базирующимся на преданном ему “демократическом движении”, в идеологии и символике которого преобладают антикоммунизм, русский национализм и националистически окрашенное православие.

...Демократия — не господство партии “демократов”, тем более наших “демократов”. Демократия — это борьба партий в рамках закона. Сейчас демократы оказались практически без оппозиции, ибо компартия распалась. Но если демократам оппозиция не нужна, то демократии она нужна как воздух. Поэтому нам нужны не сплочение вокруг Ельцина и не пляски на костях поверженного противника. Нам нужна критика данного варианта демократии, в котором идеи демократии все более подменяются идеей великой России, “ельцинского царства”, возникающего на обломках Союза. Нужно сплочение всех тех, кого страшит эта перспектива, кому демократия дороже, чем партийные интересы, и тех, чьи интересы, не противореча принципам демократии, противоречат данному, исторически ограниченному ее воплощению. Если этого не произойдет, то сколько бы мы сейчас ни говорили о демократии, мы снова придем к тоталитаризму, который вернется в новом и поэтому неузнанном облике, как неожиданно, совсем не отсюда, откуда можно было предполагать — не от “белых”, а от большевиков, — пришло возвращение, причем в многократно усиленной форме, худших черт самодержавия».

Я еще раз обращаю внимание на то, что эти слова были написаны через две недели после путча, когда все были в упоении от ельцинской победы, и у Дмитрия Фурмана не было сторонников. Он был один против всех. Впрочем, такой же подвиг свободомыслия совер-

шил и Виталий Третьяков, редактор «Независимой газеты». Он напечатал эту крамолу, хотя был тогда с нею не согласен.

Но наш Фурман не унимается, и 8 октября 91-го года в той же «Независимой газете» пишет: «В историю как бы вставлен механизм наказания на моральные проступки, и новый авторитаризм — это всегда расплата революции за ее грехи и ослепление. И для нас грядущий авторитаризм будет наказанием — за то, что у нас борьба за принципы демократии подменилась борьбой против союзного центра и компартии, за то, что мы были готовы выбрать в депутаты любого проходимца, если только он объявлял себя демократом и антикоммунистом, за то, что мы издевались над человеком, больше, чем кто-либо сделавшим для русской демократии, — Горбачевым (наслаждаясь собственной псевдомужественностью и зная в глубине души, что это — совершенно безопасно, ибо и человек он не мстительный, и власть от него уходит), за то, что мы воспользовались провалом путча для того, чтобы окончательно развалить Союз, совершенно не думая о последствиях, в том числе и последствиях для только зарождающейся русской демократии, и за многое другое».

В ноябрьском номере за 91-й год журнала «Век XX и мир» Фурман подводит итоги:

«Дальнейшее уже более или менее ясно — это новая авторитарная система во главе с Ельциным, которого даже нельзя ни в чем обвинять — его несет историческая волна, подхватившая его, пронесшая через демократически-популистскую стадию и сейчас выносящая к роли “великого князя”, опирающегося на преданное ему “демократическое движение”, в идеологии которого все более доминирует риторический антикоммунизм и русский национализм. Как в 1917 году, так и

сейчас, революция “проскакивает” в своем цикле от авторитаризма к новому авторитаризму (или тоталитаризму) стадию демократии, отвергая “нерешительные” фигуры Милюковых, Керенских, Горбачевых.

У меня практически нет сомнений, что в недалеком будущем люди типа Невзорова поймут, что Ельцин и есть новый русский царь, о котором они мечтали, и идеалисты, оставшиеся в демократическом лагере, будут «вышвырнуты» и у себя на кухнях (это еще хорошо, если на кухнях) будут мутить: “За что боролись, на то и напоролись”».

Воздав должное журналу «Синтаксис» и его лауреату Дмитрию Фурману, зададимся исконным русским вопросом: «КТО ВИНОВАТ?»

Сегодня у меня ответ такой: интеллигенция и самодержавие. Вспомним советскую историю. С молодых ногтей товарищ Ленин сражался с царизмом. Победил. А между тем, в конечном итоге, сам того не желая, пришел к самодержавию — господству одной партии и ее лидера, то есть царя этой партии.

В 1921 году один из видных коммунистов-ленинцев — Адольф Иоффе — написал Ленину письмо. Там он жаловался, что ЦК партии — это единоедержавное «я» Ленина. Ленин страшно удивился и ответил, что все это результат нервного переутомления Иоффе и что тому необходимо лечиться. На самом деле к 21-му году Ленин мог бы сказать не только «ЦК — это я», но, как Людовик XIV, мог бы воскликнуть: «Государство — это я!» Конечно, формула «государство — это я» не была произнесена тогда, но была теоретически обоснована и претворена на практике самим Лениным. Ленин дал научную (подчеркиваю: научную!) формулировку советской государственной власти. «Научное понятие диктатуры, — утверждал Ленин, — означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами,

никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть».

Разумсется, Ленин был не обычным царем. Это был царь, который лично для себя ничего не желает, но работает по 16-ти часов в сутки, вмешиваясь во все детали и мелочи государственного организма, который он приводит в движение. А вместе с тем, читая последние тома Полного собрания сочинений Ленина, читая все эти бесконечные телеграммы, поправки и указания по всем проблемам, исходившие лично от самого Ленина (вплоть до того, кого надо арестовать, а кого следует выпустить из тюрьмы), поражаешься громоздкости и нелепости государственного аппарата, который был им создан. Сами по себе люди ничего не решают и боятся решать, ожидая, что скажет главный специалист по государственному устройству — Ленин. И лезут к нему за инструкциями по любому поводу. И сам он лезет с инструкциями по всем вопросам. Все зависит от царя, но царь при этом обязан во все вникать и единолично распоряжаться. И Ленин вникает и распоряжается, хотя сам уже еле ноги носит и близок к смертному часу.

Между прочим, недавно московские спириты звали дух Ленина и поздравили его с победой коммунистов на выборах в Думу. Ленин ответил, вернее сказать, простучал, что Зюганов, с его точки зрения, не коммунист. А настоящие коммунисты еще родятся в народе в начале XXI века. Тогда, обнадежил Ленин, крови не будет. Но, вообще, Ленин шел на контакт очень неохотно и был немногословен.

Прошло много лет. Давно нет царя, Ленина тоже нет, объявлена демократия, а писатель Анатолий Приставкин в своем интервью газете «Собеседник» (№ 4, январь, 1996) говорит:

«В России все замкнуто на одного человека — на

его авторитет, на его личность, на его силу и большую власть. Практически Ельцин ... пришел с этим. Замашки “хозяина” остались. И главное, народ эти замашки воспринимает, принимает... Эта замкнутость на одну личность, когда приходится решать вопросы от спичечного коробка до космоса, — это же колоссальная нагрузка! И не потому, что Президент так захотел, а потому, что все мы не можем иначе». Как это похоже на Ленина!

Преемник Ленина, Сталин прекрасно понимал природу власти, в особенности природу государственной власти в России. В секрете править и властвовать он более откровенно, чем Ленин, опирался на давнюю в России традицию — традицию самодержавия. Вскоре после смерти Ленина Сталин (на партийном обеде) проговорился, что России необходим царь. «Не забывайте, — сказал Сталин, — что мы живем в России, стране царей. Русский народ любит, когда во главе государства стоит какой-то один человек». На эту реплику тогда не обратили внимания. Но эта странная для коммуниста фраза неожиданно сбылась, и притом в невероятных масштабах. Сталин скрестил ленинскую традицию (централизованной и ничем не ограниченной власти, опирающейся на насилие) с монархической традицией. Из русского прошлого Сталин усвоил, что царь в России обязан быть грозным и даже страшным. А вместе с тем он должен время от времени дарить народу улыбку, как высочайшую милость. Не случайно в разгар репрессий 30-х годов, в условиях обнищавшей деревни, Сталин бросил народу лозунг: «жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее». И страна подхватила эту улыбку Сталина радостными песнями. Старая революционерка Олицкая, которая принадлежала к партии эсеров и почти всю жизнь при советской власти провела в тюрьмах, рассказывает,

как однажды — уже при Сталине — ее посадили в тюремный вагон вместе с молодыми женщинами-коммунистками. Едут по широкой Сибири, едут в лагерь. И старая арестантка с удивлением слышит, как новенькие зэчки самозабвенно поют:

Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.

Можно сказать, что это сталинский гипноз, распространившийся на всю страну.

Помимо кровожадности было в Сталине нечто и от юродства грозного царя. Дочь Светлана утверждает в мемуарах, что в 52-м году отец «дважды просил новый состав ЦК об отставке. Все хором отвечали, что это невозможно, — комментирует Светлана. — Ждал ли он иных ответов от этого стройного хора? Да и хотел ли он в самом деле отставки? Это напоминало о хитростях Ивана Грозного, временами удалявшегося в монастырь, жалуясь на старость и усталость, и приказывавшего боярам избрать нового царя». Кстати сказать, сходство с грозным царем и другие монархические реликвии, им возрожденные, заставляют обожать Сталина нынешних националистов и даже коммунистов. При Сталине, вздыхают они, был настоящий порядок...

Как-то в конце жизни, в добрую минуту, Сталин сказал одному из своих маленьких соратников, Николаю Булганину: «Эх, Колька! Вот помру я. Ведь все вы без меня пропадете!..» Можно думать, Сталин верно предчувствовал и смотрел как в воду. Но что именно он имел в виду, трудно определить. Узкий круг будущих вождей, партию коммунистов или свою великую и страшную империю? Долгое эхо жизни и личности Сталина доносится до нас до сих пор...

Демократы, разумеется, терпеть не могут ни Лени-

на, ни Сталина: Но что-то их понуждает заклиниться на фигуре очередного вождя, пускай и не такой авторитетной, какие мы имели прежде. И когда Ельцин сказал, что ему нет и не может быть никакой альтернативы, демократы с этим радостно согласились. И уже несколько лет мы слышим это заклинание: «Нет альтернативы! Нет альтернативы!» Особенно страшно прозвучала эта формула после расстрела Белого дома, когда большая часть интеллигенции поддержала Ельцина. И главным доводом наших оппонентов опять стало то обстоятельство, что у демократической России якобы не было и нет никакой альтернативы Ельцину, что Ельцин — это единственное олицетворение демократии в России. И если бы Ельцин не расстрелял Белый дом, к власти пришли бы коммунисты и фашисты. Или тогда в России началась бы гражданская война. То есть из двух зол предлагают выбрать меньшее.

Меня эта логика категорически не устраивает. Когда выбирают только из двух зол, то добро вообще — заведомо, изначально — исключают из предмета выбора. Тогда человеческая мысль и свобода исчезают.

Неожиданного единомышленника я вдруг нашел в лице Станислава Говорухина, когда в одном из его выступлений прочел:

«Однажды иностранные корреспонденты говорят мне: “Согласитесь, ведь нет альтернативы Ельцину”. Я тогда ответил: “Давайте подойдем к окну (дело было у нас на квартире)”. Подхожу к окну и вижу, что никого нет. Как назло. Потом мужик какой-то идет с авоськой. И я говорю: “Вот, смотрите. Вот — альтернатива Ельцину. Давайте подойдем к нему и спросим: он наверняка не был членом Политбюро, вполне возможно, что даже непьющий. Значит, уже не хуже”.

А вообще-то говоря, когда меня спрашивают где-то в зале, а есть ли альтернатива Ельцину, я всегда гово-

рю: “Да, есть. Любой из вас альтернатива Ельцину. Любой, потому что хуже не бывает. Хуже просто не придумаешь”. Для меня Ельцин всегда был неким собирательным образом. Так же, как и Гайдар» (Пер., 94).

Итак, два несчастья губят Россию и погубили перестройку: самодержавие вообще и интеллигенция в частности, которая никак не может изжить реликты самодержавного мышления. Очень показателен в этом отношении репортаж с собрания творческой и научной интеллигенции в центральном доме литераторов в Москве 18 марта 1993 года, где рассказывалось:

«VII съезд разбудил президента, — заявил на собрании в ЦДЛ Вячеслав Костиков. — На вчерашнем заседании Президентского Совета я увидел его таким, каким помню по августу 1991 года. Он полностью воспринял все призывы к решительности, которые вчера прозвучали на президентском совете, и готов исполнить свой долг перед Россией и перед реформами». На собрании в ЦДЛ в целом доминировала идея поддержки прямого президентского правления. Интересно, что при этом литераторы высказывались более радикально, а политики, как, например, Галина Старовойтова, напоминали о необходимости гарантий дальнейшего демократического развития. Привлекло внимание выступление Тимура Гайдара (не Егора, а его папы). Оговорившись, что высказывает чисто личное мнение, он выступил с идеей прямого президентского правления на четко ограниченный срок» (радио «Эхо Москвы», 13.03.93, 19:06).

Другими словами почти по Крылову: «Царя, кричат, царя! Пришли с царем...»

Кстати, одно маленькое замечание о российской душе. Довольно часто я слышу, что, расстреляв Верховный Совет, Ельцин сокрушил и наконец-то уничтожил власть Советов, то есть ненавистную всем нам Совет-

скую власть. В этом рассуждении сказывается свойственное людям — в особенности русским людям — магическое отношение к слову. Слово понимается слишком буквально и затемняет сущность явления. И уже никто не помнит, что Советы никогда не играли существенной роли в Советском государстве. Советы были сугубо формальной стороной той государственной власти, в которой руководящая роль принадлежала даже не партии, а узкой партийной элите в виде Политбюро и ее вождя, царя. Расстрелянный Верховный Совет был первым за 75 лет парламентом, который посмел иметь свой голос. Голос народа не понравился ни царю-Борису, ни русской интеллигенции. А через несколько дней после расстрела Ельцин убрал часовых у мавзолея Ленина и этим бросил интеллигенции символическую мозговую косточку: дескать, кончилась Советская Власть с кремлевскими часовыми у гроба. Но все это лишь декорации — и Советы, и часовые. А суть — единодержавная власть безо всякого контроля со стороны парламента. Поэтому русский философ Георгий Федотов на заре советской истории утверждал, что «новый советский человек не столько вылеплен в марксистской школе, сколько вылез на свет Божий из Московского царства...» («Новый град»).

И еще одна необходимая оговорка. Когда я говорю о властолюбии нынешней интеллигенции, о ее вине перед народом, то имею в виду лишь привилегированную ее часть, которую условно называю придворной, проправительственной — людей именитых и знаменитых. Все это народ столичный, избранный, который с первых же дней перестройки имел колоссальное влияние на умы. Им было многое дано, и поэтому именно с них я сегодня спрашиваю. Приветствуя идеи перестройки и горбачевские новации, элита отшумела в гневных статьях о проклятых временах сталинизма и

застоя, а потом занялась только собой, стала решать лишь свои проблемы — материальные и творческие. «Меня издают, и я могу сколько угодно ездить за границу подрабатывать, — сказал мне недавно один махровый интеллигент, очень известный и очень всеми (в том числе и мной!) любимый, — поэтому я буду поддерживать этот режим. А демократии в России все равно никогда не было и не будет». От этих слов несет цинизмом, пока еще частным, бытовым, но следом пришел цинизм общественный, и интеллигентская элита потянулась во власть. Зачем? По-моему, — ради одной цели: чтобы использовать, если нужно, власть как родового: то с просьбой закрыть ту или иную неудобную газету, то защитить от журналистов певца Кобзона. Они словно забыли старое правило, которое недавно напомнил писатель Андрей Битов: «Интеллигенция потому и интеллигенция, что с властью не сближается... Я вообще не понимаю, почему интеллигенция должна сближаться с какой бы то ни было властью... Интеллигенция беспомощна, потому что заставить непонимающего понимать нельзя, а потерять себя в сотрудничестве с такой властью можно. Поэтому выражать свою точку зрения можно и нужно печатно, публично — как угодно. Но я не вижу способов сотрудничества с властью» (ЛГ, 28.2.96). Именно та часть интеллигенции, которая вошла во власть и стала сотрудничать с ней, оказалась способна заботиться только о своих интересах. Власть же ее использует по своему усмотрению, как своего рода благородное, демократоподобное облако.

Споря с этими избранниками и подрядчиками власти, я ни в коем случае не хочу задеть интеллигентских подвижников, какие тысячами разбросаны по столичным и провинциальным школам, заводам, библиотекам, больницам. Они разбросаны по большим и ма-

леньким городам, деревням и поселкам. Эта, условно говоря, низовая интеллигенция по-прежнему остается почти безгласной, бессловесной и за вину перед народом, за грехи, совершаемые высокопоставленной элитой, ответственности не несет.

Война в Чечне поколебала престиж Ельцина. Из Президентского Совета вышел ряд известных деятелей, и среди них наконец ушел правозащитник Сергей Ковалев. В открытом письме Президенту, которое звучит почти как обвинительное заключение на судебном процессе, Ковалев заявил: «Ваша сегодняшняя политика способна лишь в кратчайшие сроки воссоздать государство, открытое для бесправия... Вы клялись построить государство народа и для народа, а выстроили чиновничью пирамиду над народом и против него. Иной наивный человек и сейчас думает, что в Кремле у власти находятся “демократы”. Ваша политика скомпрометировала само это слово» (И, 24.1.1996).

Однако когда Ковалева спросили, не была ли война в Чечне продолжением расстрела Белого дома, тот ответил, что здесь была не прямая, а только косвенная связь. Напомню, что в свое время Ковалев решительно поддержал расстрел Белого дома, чем вызвал у меня, в частности, негодование, потому что именно кровь Белого дома развязала Ельцину руки для войны в Чечне. И здесь я усматриваю не косвенную, а самую прямую связь.

Из Президентского совета вышли всего четыре человека. Другие члены Президентского совета поспешили, однако, отмежеваться от Ковалева. Среди них режиссер Марк Захаров, писатель Даниил Гранин, филолог Мариэтта Чудакова. Они испугались победы коммунистов в Думе и ухватились за президента, как утопающий за соломинку: «Президент остается главной опорой демократии в России и гарантом ее

Конституции. Этот несомненный факт приобретает сейчас особое значение в виду резко возросшей угрозы большевистской реставрации» (И, 7.2.1996).

Из этой среды раздаются голоса, не отменить ли вообще в России выборы и не оставить ли Ельцина пожизненным президентом. Марк Захаров в «Известиях» спрашивает себя и других: «Так ли необходимы нам в 1996 году выборы президента?» (И, 13.1.1996). И сам же отвечает на этот риторический вопрос названием статьи «Нам не нужны судьбоносные выборы». Но поскольку любые выборы в России становятся сейчас судьбоносными, статью Захарова можно озаглавить короче «Нам не нужны выборы». Так русская демократия пришла к своему отрицанию. Иногда даже хочется предложить сегодняшним «демократам»: а не восстановить ли нам в России монархию? И заодно крепостное право, чтоб народ сдуру не выбрал коммунистов. Говорю я о Марке Захарове и чуть не плачу: ведь какой режиссер прекрасный, зачем же он так свое имя позорит? Тем более что не сегодня от страха перед коммунистической реставрацией начал он прислуживаться власти. Я недавно прочел его известинскую статью 92-го года о встрече с Ельциным. Он говорит о начальнике государства с теми же, примерно, благоговейными интонациями, как в свое время писали о Ленине или о Сталине. «Простой, очень простой и вместе с тем загадочный».

Режиссеру Марку Захарову вторит писатель Анатолий Приставкин. Он сейчас в Комиссии по помилованию и поэтому вхож к Президенту. Его спрашивают, изменился ли Ельцин в последнее время. И Приставкин отвечает с почтительным придыханием:

« — Иногда я вспоминаю его на балконе Белого дома (то есть в августе 91-го года. — А.С.). Молодое лицо, хорошие глаза — какой-то, я бы сказал, близкий че-

ловек. Потом я наблюдал его на приемах, на банкетах. Не подтвердились, по моим наблюдениям, слухи, что он много пьет (так, рюмку-две), но происходили какие-то физические изменения, может быть, в организме, отражавшиеся на здоровье... Я полагаю, от чрезмерно большой нагрузки» («Собеседник», № 4, 1996).

Известный советолог Юлия Вишневская справедливо отмечала в журнале «Синтаксис»-36, что сходство верноподданнического восторга русской интеллигенции начала 1990-х годов с тем, что известно о поведении людей в 30-е годы, в общем-то поразительное. (Кстати, целый ряд материалов об интеллигенции попал в этот доклад из досье Вишневской с очень характерным названием: «Brown-noser».) Но чем больше думаешь об этих параллелях в нашей новейшей истории, тем сильнее бросаются в глаза различия между тем поколением и нашим, и эти различия отнюдь не в нашу пользу. Ведь если у отцов и дедов еще были какие-то причины заблуждаться относительно истинной природы новорожденного сталинского режима, то для наших с вами современников подобный приступ коллективного безумия совершенно непростителен.

Во-первых, не было в наши дни такого террора, чтобы «мозг нации» вдруг ни с того ни с сего окончательно потерял всякий разум. Во-вторых, их извиняет хотя бы то обстоятельство, что у них, поколения 20–30-х годов, не было опыта людей 20–30-х годов. А в наши дни заобожали секретаря Свердловского обкома «как родного Сталина», люди, которые всю жизнь только и занимались, что изучением опыта тех поколений и его последствий. Мариэтта Чудакова, например, Кронид Любарский.

И, наконец, третье, самое существенное. Интеллигенты той эпохи еще могли заблуждаться относительно современной им ленинско-сталинской власти, ибо

та была властью первопроходцев, пришедших на эту землю для того, «чтобы осуществить вековую мечту человечества», совершить нечто беспрецедентное в мировой истории.

А с чем обратилась к народу нынешняя российская власть? «Поддержите Ельцина, и будете жить как в Америке!» Так вот: можно было сообразить, коли ты интеллигент и в силу этого обязан хоть что-то знать об окружающем тебя мире, что Америка не «вековая мечта», а страна вполне реальная и хорошо изученная. Как можно было не видеть, что делается-то все в России не «как в Америке» (или во Франции, или в Швеции) — а как в Уганде при президенте Иди Амине?

Кстати, обратите внимание, что у этого феномена, — «интеллигенция в свите Президента России», — есть еще одна поразительная особенность. Во всех этих бесчисленных интеллигентских кампаниях в поддержку Ельцина почти не принимали участие представители точных наук — но преимущественно актеры и литераторы. Это особенно примечательно — учитывая ту огромную роль, которую сыграли физики и математики сперва в правозащитном движении 60–80-х гг., затем — в эпоху горбачевских преобразований.

Подхалимства к Ленину, Сталину, Брежневу и, наконец, к Ельцину было выдано интеллигенцией сверх меры. Но акции Ельцина сегодня упали, в любви ему объясняются уже меньше, а ставки делают все-таки на него. Правда, иногда в очень странных выражениях. Послушайте, как агитирует за Президента известный журналист Олег Мороз в «Литературной газете»:

«Скрежеща зубами. Продолевая тошноту, но — поддержать. Как меньшее зло.

Да, конечно, Ельцин развязал войну в Чечне и не знает, как из нее выпутаться... У ельцинского режима много очевидных провалов. Собственность досталась

не народу и не “частных толков” хозяевам, а главным образом начальству и мафии.

При Ельцине разбухло и совершенно обнаглело чиновничество. Масштабы коррупции, воровства — фантастические...

Еще более обнаглели преступники. Милиция разбежалась по ларькам, по банкам. А та, что осталась, воюет в Чечне. Больше некому, видите ли, воевать...

Ельцинский режим оказался совершенно не в состоянии регулировать доходы граждан — попридержать их планку у наиболее обеспеченных и приподнять у самых малоимущих. Еще более вопиющее — допустил повсюду по стране многомесячную невыплату заработанного...

Главную вину за все это, естественно, несет сам Ельцин, явно не способный к ежедневной, последовательной, целеустремленной работе, к тому, чтобы довести до ума хотя бы одно из задуманных дел, проконтролировать выполнение собственных решений.

И все же... И все же надо ли доказывать: как бы ни был Ельцин слаб в качестве высшего руководителя, замена его президентом-коммунистом — перспектива для страны в тысячу раз более мрачная. Это просто катастрофа. Просто дорога в пропасть. Страна больше не выдержит коммунистического эксперимента. Ни в материально-вещественном, ни в духовном плане» (ЛГ, 31.1.1996).

Небогатый выбор. Сталина ведь тоже поначалу мысленно выбирали (разумеется, только мысленно) по сравнению с Троцким. Выбирали как наименьшее зло. А он потом оказался страшнее черта.

У другого безусловного демократа, бывшего диссидента и лагерника Льва Тимофеева свои представления о демократии. Он предлагает избрать президентом Александра Солженицына, который стоит вне

партий и над партиями, либо, на худой конец, оставить президентом Ельцина. Да вот беда: конституция страны не позволяет Александру Исаевичу рваться на эту высокую должность, поскольку слишком долго он жил за границей. Так не отменить ли конституцию?

Но, слава Богу, еще не все потеряно, кое-какие демократы без кавычек еще есть, и Льву Тимофееву возражает обозреватель «Общей газеты» Игорь Шевелев:

«Выдвижение Александра Исаевича в качестве лидера страны выглядит нелепо, отражая поиски тех ценностей и авторитетов, которых давно уже не существует в реальности... Может, отсутствие явных фаворитов на роль “отца нации” и есть наша главная сегодняшняя ценность? Может, просто выберем человека на казенную должность и забудем об этом на несколько лет? Главное, чтобы жить нам не мешал. Может, выберем президента не для чуда и избавления, не для прогресса и светлого будущего, а чтобы глотки наконец друг другу грызть перестали? И когда нам самим это надоест, тогда и президент будет нормальным. Какой он — коммунистический, демократический, капиталистический или еще какой — забудем. Нормальный. Без высших ценностей. Для высших ценностей — Церкви достаточно» (НГ, 12.1.96).

Мне лично эта позиция близка. Но демократия в России, обдумывая президента, все время ищет человека, на котором свет клином сошелся. Как если бы мы выбирали царя. Единственного и навсегда. У нас отсутствуют нормальные представления о демократической власти, что власть эта — не царь, и не Бог, и не «отец нации», что демократическая власть — сменяема. Притом периодически. Регулярно. И почему же интеллигенция так цепляется за Ельцина, хотя не ждет от него ничего особенно хорошего? Единственная корысть, единственная ценность — свобода слова, кото-

рую нам даровал Горбачев и не отобрал еще Ельцин. Я много раз слышал от самых разных людей: «Пока можно писать все, что хочешь, мы будем за Ельцина». И ради свободы писать журналист Лев Сигал в 1992 году был готов на все:

«Если бы автор этих строк мог перенестись в 1986 год и вновь стать перед выбором: “Ты получишь свободу говорить, читать и писать все, что вздумается, но вместе с этим придет нищета, национальное унижение (имея в виду под нацией советский народ), дробление государства с возникновением в его прежних границах “горячих точек”. Готов ли ты пережить такой виток истории, не сказав себе: “За что боролся, на то и напоролся”? Я бы выдержал паузу, глубоко вздохнул и процедил сквозь зубы: “Да, пусть все-таки свершится все, чему быть суждено”» («Век XX и мир»).

Между тем сама эта свобода слова в России за последние годы невероятно упала в цене. Произошла девальвация слова, более страшная для интеллигента, чем девальвация рубля. И обесценилось слово сразу с двух сторон: его цена упала и в глазах власти, и в глазах интеллигенции. Российское правительство, которое когда-то так серьезно и болезненно относилось к слову, что за слово сажало, вдруг догадалось, что можно просто плевать на все, что пишут в газетах, журналах и книгах. Оно поступило по известной басне дедушки Крылова «Кот и повар». Уж как только велеречивый повар (независимая пресса) не честит злостного Ваську (власть), укравшего с кухни цыпленка. «А Васька слушает да ест». Впрочем, кое-какие когти правительство уже показывает: «Вчера куратор СМИ, вице-премьер Виталий Игнатенко по прибытии в Краснодарский край объяснил местным газетчикам, полиграфистам, радио- и тележурналистам, что “при всей своей независимости российские средства массовой

информации должны выражать прежде всего государственные интересы России и подчиняться этим интересам»» (С, 2.3.96).

Аналогичная история произошла и с моей родной интеллигенцией. Как только исчезли цензурные препоны, она перестала (или почти перестала) читать прессу. И теперь, когда я у себя «за французским бугром» читаю русскую газету — оппозиционную или проправительственную, все равно — я никогда не знаю, а читали ли это мои друзья в Москве? А если читали, поверили или нет? Сравнительно недавно мы пытались рассказать бывшей политической ссыльной, известной правозащитнице, можно даже сказать — бабушке диссидентского движения, Ларисе Богораз о голодовках учителей и о бедственном их положении (информация была почерпнута из «Учительской газеты»). Многолетняя мастерица борьбы за свободу слова, с которой мы раньше жили в одном информационном пространстве, сегодня сказала: «Этого не может быть! Мало ли чего напишут в газетах!» В этом «мало ли чего напишут» такое пренебрежение к свободе слова, что невольно возникает вопрос: а стоило ли приносить за нее столько жертв? А может быть, закроем все газеты и вернемся к самиздату? Помните, как интеллигенция рвала друг у друга из рук «Хронику текущих событий». Невольно вспоминается анекдот из брежневских времен про то, как приходит одна дама к машинистке и просит отпечатать на машинке «Войну и мир». Машинистка в изумлении: зачем? это же безумно дорого! к тому же продается в любом книжном магазине. «Понимаете, — говорит заказчица, — мой сын кроме самиздата ничего не читает, а мне бы хотелось, чтобы он прочел еще Толстого».

В значительной мере Россия продолжает оставаться закрытым миром, несмотря на гласность и свободу

слова. Никто до конца не знает, почему и какие решения принимаются на самом верху. И даже толком не знает, кто и как управляет Россией. У очень интересного журналиста Глеба Павловского я встретил поразившее меня определение Ельцина. Павловский утверждает, что Ельцин — это «коллективный псевдоним», а кто управляет Ельциным, остается неизвестным. Можно предположить, что Ельцин, как типичный секретарь обкома, на самостоятельные решения не способен. Ему по должности положено подчиняться тому, кто сильнее, и давить на тех, кто слабее. Но это, конечно, только предположения, вызванные общей непрозрачностью картины российской жизни. В стране происходят многозначительные политические убийства. Не говоря уже о непрекращающихся убийствах на ниве бизнеса. И все эти убийства остаются не раскрытыми. Кто и почему убил, теряется во мраке.

Всем известно, что чиновничество пронизано коррупцией, но ни одного глубокого расследования, ни одного серьезного судебного процесса на этот сюжет не было. КГБ в очередной раз сменил табличку и называется сейчас по-другому, но как далеко простираются его влияние и власть и чем оно вообще занимается теперь — неведомо. На этом мутном фоне возможны появления самых скорбных мелодий и гипотез, порою фантастических. Вплоть до того, что во всем виновата опять-таки Америка, как утверждают российские национал-патриоты, ибо Америке выгодно ослабление России и превращение великой державы в полуколониальный рынок сбыта для западного дерьма.

А теперь, в заключение, я буду вас пугать. Исследователи очень любят сравнивать потенциалы разных стран: территориальные, демографические, геологические, военные, культурные и так далее. Появилось понятие «организационный потенциал», где первенство

традиционно отдается Соединенным Штатам. Но в этой связке обсуждаемых потенциалов нет одного очень важного, о котором, как мне кажется, все забыли. Это — потенциал криминальный. А он у разных народов — разный.

Тридцать лет тому назад, когда меня судили, весь процесс судья с прокурором полоскали фразу: «Россия — страна воров и пьяниц». Я тогда имел в виду воровской потенциал русского народа, который недоучел Горбачев, начиная перестройку. Этот потенциал всегда был достаточно велик, и забывать о нем крайне опасно. Ведь свободами быстрее и оперативнее других воспользовались преступники. Говоря о задачах перестройки — «раскачать общество, разбудить его, вытащить из социальной апатии и безразличия», Горбачев имел в виду дать «обществу возможность контролировать власть тех, кого оно избирает» (Пер., 102). Но в результате власть контролируется и направляется вовсе не обществом, а преступным миром — исторически самой инициативной частью России. Почему самой инициативной? Да потому, что в предельно централизованном и нормативном советском обществе, где полностью исключалась какая бы то ни было личная инициатива, проблески самостоятельного мышления зародились (или сохранились) только у преступников перед властью — у политических, то есть диссидентов, и чисто уголовных. Но, как это ни печально, криминальное мышление и криминальные программы оказались крепче диссидентских. Поэтому очень жаль, что проблема «Россия и демократия» интересует социологов и политиков больше, чем проблема «Россия и преступность».

Когда-то великий русский писатель Александр Исаевич пугал человечество коммунизмом. «Скоро все увидим без телевизора», — заявлял он, объясняя,

что «третья мировая война уже проиграна» и коммунистический Советский Союз завтра-послезавтра захватит весь мир. И всем было очень страшно. Америка бросала колоссальные средства на поддержку борьбы разных смельчаков с тоталитарными режимами. Другие страны тоже не отставали. Разнообразные демонстрации, комитеты и Интернационалы сопротивления украшали человечество.

Но стоило коммунистам назвать себя демократами, как мир тотчас перестал нас бояться. И сегодня во всем мире я слышу русскую речь. И уже не только русская интеллигенция прогуливается по западным музеям, книжным магазинам или читает лекции в Сорбоннах и Колумбиях. Контингент слегка изменился, и великобританский министр внутренних дел Майкл Хауэрд в отчаянии заламывает руки: «Сделаем, — заявляет он, — все возможное для прекращения “визового рэкета”, из-за которого криминальные элементы из бывшего Советского Союза заполонили Соединенное Королевство». И не только Королевство. Они «отмывают» огромные суммы через банки и компании всех западных стран, продают русское оружие, швыряются наркотиками (ЛГ, 31.1.96).

Начался почти беспрепятственный захват иностранных территорий. И каких! Один из самых ярких примеров — это оккупация американской радиостанции «Свобода». Вспомните, как несколько десятилетий с ней сражалась Советская власть, как ее разоблачали во всех советских газетах, как много раз внедряли туда советских агентов, которые отравляли и разрушали ее жизнь изнутри, и как отдел безопасности «Свободы» пробовал каждого сотрудника на цвет, вкус и запах — не тянет ли коммунизмом...

А сегодня? Без боли, без крови, без сопротивления американская радиостанция в значительной степени

практически оказалась в московских руках и на большой процент подыгрывает русскому царю, достаточно часто повторяя то, что вещает в средствах массовой информации московский официоз, ту же пропаганду. Недавно я спросил старую приятельницу, историка искусства, доцента Московского университета, как случилось, что она проголосовала за ельцинскую конституцию, отдавшую власть в одни руки? И она мне чистосердечно ответила, что политика и демократия — это не ее профессии, но она привыкла прислушиваться к радиостанции «Свобода», а тамошние знатоки всю убеждали ее, какая это прекрасная конституция.

Аналогичная история происходит в Англии на Би-би-си.

И, анализируя происходящее, мне вдруг захотелось заговорить на родном языке моего alter ego — одесского бандита Абрама Терца:

— Мы не успокоимся. Мы как саранча пройдем по всем вашим богатым землям. Пройдем и пожрем. Нам не привыкать к чужому золоту и чужой крови. Мы прикарманим ваши банки, ваши замки, ваши Лазурные берега и Сан-Франциски. Нас много и мы сильнес. «Да, Скифы — мы! — как сказал незабвенный Абрам Терц. — Да, азиаты мы, — С раскосыми и жадными очами!»

Февраль 1996.

СОКРАЩЕНИЯ:

Пер. — «Перестройка. Десять лет спустя». М., 1996

И — «Известия»

КП — «Комсомольская правда»

ЛГ — «Литературная газета»

МК — «Московский комсомолец»

НГ — «Независимая газета»

ОГ — «Общая газета»

П — «Правда»

РМ — «Русская мысль»

С — «Сегодня»

Т — «Труд»

“ОСНОВЫ СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ”

Маленькая справка

Эта книга (ее первая часть — восемь глав и послесловие) вышла на многих языках. Первое (французское) издание — в 1988 году, потом английское, испанское и т. д. Легкомысленные итальянцы ее слегка сокращали, а тяжеловесные немцы, напротив, оснастили подробными комментариями. В основу книги был положен курс лекций, который А. Синявский читал в Сорбонне в 1979, 1982 и 1984 годах.

Русское издание не предполагалось. Много лет Синявский считал, что советский читатель всю эту цивилизацию изучил на собственной шкуре — и про Дзержинского, и про коммунальную квартиру, и про нищий народ самой богатой в мире страны. А ученого учить — только портить.

Когда началась перестройка, совершенно естественным стал вопрос: а можно ли перестроить Пирамиду советской власти в Парфенон демократии. И если в первые (горбачевские) годы вопрос этот обсуждался в интонациях надежды, то в постперестроечные (ельцинские) времена стало ясно, что Парфенону на Руси не бывать. Обстрел Белого дома покончил с демократическими иллюзиями, а Синявский начал собирать материал для второй книги про ту же самую цивилизацию: сюжет, к сожалению, стал опять актуален. И не только для иностранцев. Тогда и возникла идея русского издания «Основ».

Вторая часть «Интеллигенция и власть» — это три лекции, прочитанные А. Синявским в феврале 1996 года

в Колумбийском университете (Нью-Йорк) по материалам недописанной книги.

Неоценимую помощь в подготовке рукописи к печати оказала любимый друг Андрея Синявского Наталия Рубинштейн, за что ей низкий поклон.

М. Розанова (Синявская)

СОДЕРЖАНИЕ

I

Основы советской цивилизации

<i>Предисловие</i>	5
<i>Глава первая. Революция</i>	8
Религиозные корни русской революции.	10
Роль народной стихии	22
Стихия в собственном ее — народном — осмыслении	28
Стихия и власть	32
<i>Глава вторая. Осуществленная утопия</i>	
Власть идеи.	40
Потеря смысла в истории и новое его обретение . .	48
Фантазии и рационализм революции.	55
Революционная утилитарность.	60
<i>Глава третья. Государство ученых. Ленин</i>	
Примат науки и разума в духовной организации Ленина	75
Ленин — практик и утопист.	83
Насилие как основание новой государственности.	89
Единодержавие	95
Метафизика и мистика Советского государства . .	101

Глава четвертая. Государство-церковь. Сталин

Сравнение: Ленин и Сталин	110
Иррационализм Сталина	115
Сталин — главный герой и художник сталинской эпохи.	127
Тайна и магия сталинской власти	141
Традиции самодержавия в культе Сталина	147

Глава пятая. Новый человек

Эпоха перестройки и перековки человека	156
Проблемы нравственности.	168
Святой палач	180
Роль и место интеллигенции	193
Человек массы	205

Глава шестая. Советский быт

Постоянное непостоянство	220
Быт эпохи революции	222
Утрированная простота	230
Новый быт	234
Борьба с мещанством	243
Великий Комбинатор	249
Преступный мир и правящий слой	259

Глава седьмая. Советский язык

Переименованный мир	273
Речевая стихия	282
Бюрократизация языка	288
Народное речетворчество	301

Глава восьмая. Национальный вопрос 324

Мы — русские люди!	358
Постскриптум к восьмой главе	376

Послесловие

Можно ли пирамиду перестроить в Парфенон?	383
--	------------

II

Интеллигенция и власть

1. Интеллигенция и народ	391
2. Интеллигенция и хлеб	408
3. Интеллигенция и демократия	430
<i>Сокращения</i>	455
<i>М. Розанова (Синявская). «Основы советской цивилизации». Маленькая справка</i>	456

Андрей Донатович Синявский

ОСНОВЫ СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Редактор *О. Булаева*
Компьютерная верстка и дизайн *Г. Егорова*

ИД № 03974 от 12.02.01 г.
Подписано в печать 05.04.01.
Формат 84x108/32 Печать офсетная.
Гарнитура «Times NR Суг МТ».
Усл-печ.л. 24,36
Тираж 1500 экз. Заказ № 3780.

Издательство «Аграф»
тел. (095) 189-17-22, 189-17-35
129344, Москва, Енисейская ул., 2
E-mail: agraf.ltd@ru.net
<http://www.ru.net/~agraf.ltd>

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов на ГИПП «Вятка»
610033, г. Киров, ул. Московская, 122

Не дадим житья врагам Советского Союза

Письмо советских писателей

Враги хотят уничтожить культуру, выродить ее в варварство, превратить в варваризацию. Враги хотят уничтожить лучшие люди нашей страны, выродить их в варваров, превратить в варваров. Враги хотят уничтожить лучшие произведения нашей культуры, выродить их в варварство, превратить в варварство. Враги хотят уничтожить лучшие произведения нашей культуры, выродить их в варварство, превратить в варварство.

Враги хотят уничтожить культуру, выродить ее в варварство, превратить в варваризацию. Враги хотят уничтожить лучшие люди нашей страны, выродить их в варваров, превратить в варваров. Враги хотят уничтожить лучшие произведения нашей культуры, выродить их в варварство, превратить в варварство.

НКВД и тов. Н. Н. Ежов раскрыли центр шпионов и мерзавцев. Писатели СССР требуют у Верховного Суда Союза Советских Социалистических Республик осуществления статьи 133-й Сталинской Конституции.

Мы требуем расстреля шпионов! Мы вместе с народом в едином порыве горим — не дадим житья врагам Советского Союза!

Вл. Ставский, Лазуты, Вс. Ивашкин, Вс. Вишневский, Фадеев, Леонид, Малышкин, Панфилов, Новиков-Прибой, Федин, Павленко, Шолохов, Толстой, Тихонов, Погодин, Д. Бедный, Гладков, Бахметьев, Тренев, Сурков, Безыменский, Ильинко, Юдин, Кирилоти, Микитанко, Серафимович, Кирилленко, Луговской, Сальвинский, Голодный, Пастернак, Шагинин, Маршавель, Макаренко, Гидаш, Бакер, Вайнерт, Вольф, Слонимский, Лавренко, Прокофьев, Н. Асеев, В. Гарасинова, Биллы-Белоцерковский и др.

Редакция журнала «Звезда» и коллектив писателей: М. Ланда, Вс. Вишневский, С. Рейзин, П. Павленко, А. Новиков-Прибой, С. Вавенцев, В. Луговской, К. Паустовский, Л. Рубинштейн, Л. Славин, С. Кирсанов, Ал. Исбах, Н. Вирта, Вл. Курочкин, Б. Ромашов, Е. Петров, Б. Лапин, Геннадий Фиш, Вс. Гроссман, З. Хавренин, Е. Довлатовский, В. Шкловский, М. Алигер, В. Парцов, В. Гусев, П. Антокольский.

Литературной газеты» с материальной помощью первой годовщине со дня рождения, выйдут 18 июня

Наша жизнь — на социализм! Мы требуем расстреля шпионов! Мы вместе с народом в едином порыве горим — не дадим житья врагам Советского Союза!

Николай ТИХОНОВ, Мих. СЛОНИМСКИЙ, Александр ПРОКОФЬЕВ, Борис ЛАВРЕНЕВ, Мих. ЗОЩЕНКО, Г. МИРОШНИЧЕНКО. Ленинград.

Вот он, Ленин, вот он какой — вождь революции, который до того не мог представить себе, как же выгладит удивительный человек, шагавший на вышине.

ЗАПОЗДАЛЫЕ ПРИЗНАНИЯ

На общем собрании коллектив театра им. Мейерхольда

С 22 по 25 декабря коллектив театра им. Мейерхольда обсуждал выступления Три дня люди коллективно относились к нему. Мейерхольд к искусству, как нарушитель, творился в волактыве, как нарушитель, творился в волактыве, как нарушитель, творился в волактыве.

Связать хотели и на бойню! Всех вместе, под единый нож! Тебя, восставшую на ложь, Страны Советов молодежь! Вас, матерей, клянущих войны И в бой зовущих сыновей За дело братьев и мужей! Вас, сестры, молодых и стройных, Вас, дети родины моей!.. "Вы их продать хотели?" — "Да". "В Госбанке воровали?" — "Да". "Страну распродавали?" — "Да". "Чья директива? — Троцкий?" — "Да".

Далее конференция объявляет: «Если враг не сдастся, его уничтожат!». Эти слова великого гуманиста А. М. Горького отражают мнение всех трудящихся нашего великого народа и всех работников во-

Михаил Голодный

ISBN 5-7784-0177-9



9 785778 401778 >

